

84/901
H=417

МАРТИН
АНДЕРСЕН ТЕКСЕ



Мартин
АНДЕРСЕН НЕКСЕ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ
ТОМАХ



МОСКВА

Государственное Издательство
Художественной Литературы
1954

БЫСТРО БЕГУЩЕЕ ЛЕТО

Петер и Карл были два малыша, выросшие в подвале, куда редко заглядывало солнце. Там, в этих трущобах, людем только и остается, что светить собственным светом, и они всюду носят его с собой, — вот почему всем казалось, что Карл и Петер баловни судьбы, да и сами они считали себя обладателями всех сокровищ мира. Впрочем, жили они со своей матерью в мрачной дыре, каких много в домах, построенных Обществом врачей; одному из мальчиков было посемь, другому — девять лет. Это означало, что прошло уже немало времени с тех пор, как Петер и Карл вступили в необъятный мир и стали нести свою долю ответственности за жизнь семьи. Их не дожидались оловянные солдатики в коробках, но если счастье милостиво к человеку, то оно дается ему в руки хотя бы в виде хлебных корок. Не много времени понадобилось детям, чтобы уяснить себе свое положение: они рано поняли, как бесцельно требовать чего-нибудь криком, и стали сами о себе печься.

Понять свое положение было немудрено: следовало лишь знать, что всего не хватает, — а это Петер и Карл усвоили чуть не с пеленок. Тем больше внимания уделялось ими самоснабжению.

Что касается виновника их появления на свет, то он оставил ребят на произвол судьбы и, скрывшись, облекся в покров тайны — как некое божество, лишь на короткий миг посетившее землю. Не могло быть сомнений в его существовании — это он наглядно доказал своей бессовестной продажей, произведя на свет двоих детей; но затем он испа-

рился, не оставив по себе никакого следа, даже своего имени. Кто бы он ни был, он поступил, как бог: наслаждался часом созидания и уклонился от дальнейшей ответственности; теперь он величественно витал где-то в невидимом мире и забавлялся тем, что сделал жизнь двух малышей зыбкой и необеспеченной. Даже звание вдовы, которое носила их мать, не было им защитой, так как соседки при упоминании о ее вдовстве ехидно кривили губы, и, повидимому, мать сама в него не очень-то верила. Она тосковала по радостям и мукам, быть может еще более трагическим, чем ее нынешнее тягостное существование, и поэтому сила, которая пришла и ушла, разорвав надвое ее жизнь, парила над ней каким-то неопределенным обещанием. Она, эта сила, нависала над семьей то как гроза, которая вот-вот разразится и унесет в ломбард жалкие остатки их скудных пожитков, то как воплощение счастья, которое явится к ним из-за синя моря.

Зато мать была для Петера и Карла сама определенность — единственная, на которую они могли положиться при любых обстоятельствах. Она была добра и надежна, как земля, которая носила их. Остальное пока еще оставалось пустотой, которую они наполняли сообразно своим силам и способностям.

Природа наделила их неиссякаемым запасом терпения, и пока мать была на работе, они сидели, подоткнутые со всех сторон, каждый в своем углу старого дивана, и пилились один на другого с тем выражением глубокой серьезности, которое нищета придает детям с самой колыбели. Они произносили «ба-ба», вкладывая в свой лепет всевозможные оттенки чувств, вытаскивали своими крошечными пальчиками морскую траву из спинки дивана и хлопали себя по лбу старой деревянной ложкой, об которую можно было чесать десны, чтобы поскорее выгнать наружу прорезывавшиеся зубы. И все это они проделывали для заполнения пустоты. А когда становилось невмоготу, они плакали, пока не засыпали. Время от времени мать прибегала с работы, чтобы приглядеть за ними, и каждый раз обнаруживала, что детки сделали какой-то новый замечательный шаг вперед в своем развитии.

Однажды старшему показалось слишком скучным сидеть и видеть вокруг себя все одно и то же, он начал сползать с

дивана, упал вниз головой и поднялся, держась за ножку стола. К тому времени, когда вернулась мать, на голове у него вскочила большая шишка, но зато он научился ходить! А вскоре после этого он уже сделался разносчиком газет.

Теперь мальчикам было, как уже сказано, восемь и девять лет, и они давно уже вносили свою долю в расходы по содержанию семьи.

Казалось, это был совсем обыкновенный день. Солнце сияло так неистово весело, что радость с неудержимой силой охватывала даже стаи воробьев, порхавших во дворах. Вообще же все было, как всегда. Мать, по обыкновению, пошла на работу в пять часов утра; в шесть соседка, мадам Хюгум, постучала в стенку. Мальчики встали и начали день в самом лучшем расположении духа: Петер убрал комнату и сбегал к лавочнику за покупками, а Карл отправился на Роостаде, где он поднимался, по поручению газетчицы, на самые крутые и высокие лестницы.

Теперь утренние обязанности были уже выполнены; Петер и Карл сидели в тесной кухоньке и поглощали хлеб с салом. Как рукой сияло бодрость, переполнявшую их потру, умолкли беспечные разговоры; мальчики уже не болтали ногами в бессильном стремлении чем-нибудь занять себя, а сидели удрученные, с хлебом в руке, — будто вдруг попили, как бессмысленно двигаться. Вся радость жизни улетучилась! И в этом не было ничего необыкновенного, это повторялось ежедневно: в один и тот же час на них нападало внезапное и полное изнеможение.

Но не усталость. Они были уже закалены и утреннюю работу воспринимали как веселое начало дня. Ведь каждый час этого дня можно было употребить на сотни великолепных дел — ради сохранения их собственного «я» и бедного маленького дома. Они с матерью создали для себя на пустом месте свой мирок, дорого купленный и состоявший из осколков великой солнечной системы; этот мирок не был включен в целое, он двигался в мировом пространстве собственным путем, пользуясь собственными жалкими средствами. Направлять движение этого маленького мира и ограждать его от столкновений стоило напряженных и неослабных усилий. Братья уже несли на плечах каждый свою долю

общего бремени и при этом чувствовали себя счастливыми.

Но недавно в их мир вторглась властная рука извне, и братья уже не имели права идти собственным путем, им пришлось включиться в общую систему; теперь они впервые узнали, что еще некто печется о них, об их семье. Пока что эта забота обрекала их на мучения: они были обязаны каждое утро молча и неподвижно сидеть на скамье и вдыхать пыль от творений, созданных в течение веков другими, тогда как их собственные дела оставались несделанными. И от них еще требовалось, чтобы они считали это вмешательство благодеянием. Когда их, наконец, отпускали на волю, дома накапливалась уйма работы, и они принимались за дело, стряхивая с себя осевшую на них пыль.

Оба паренька знали по собственному опыту, что существует нечто, именуемое человеческим обществом. Это в их представлении были люди, которые имели возможность за целую неделю вперед определить, что они будут готовить на обед. Мальчики с самого начала ясно понимали, что сами они стоят вне этого общества, и устраивались соответственно; смутное чувство справедливости подсказывало им, что те, кто с рождения собственными силами борется с голодом и нищетой, решительно ничего не должны обществу.

Но за этим неопределенным знанием притаилось другое, даже не приобретенное, а сидевшее где-то очень глубоко, — знание слишком большое и неудобоваримое для таких маленьких ребят. Оно было непонятно, как страх перед темнотой; оно поднималось из глубины сознания, как предостережение от невидимых опасностей, угрожавших со всех сторон. Именно оно заставляло мать и ее двоих детей избегать, как чумы, всяких благотворительных учреждений и самим искать выхода, когда на них наваливалась даже самая лихая беда. Бесчисленное множество людей участвовало в создании этого смутно брезжившего понятия, которое не опиралось на разум отдельных личностей, а как бы парило над их миром и позволяло даже ребенку разглядеть человека во всей его красе и увидеть глубоко внутри его паутину, в центре которой сидит паук, карауля свои жертвы. С тех пор как наши малыши научились ползать, они всегда были начеку и с одинаковым врожденным недоверием принимали и хорошее и плохое, если оно приходило извне. Они сами

управлялись со своими невзгодами, были ли они смертельно больны, или лежали под открытым небом без крова над головой; и огромное чудовище не замечало их. И вдруг оно схватило мальчиков под тем бессмысленным предлогом, что им уже минуло семь лет!

Но Карл и Петер не дали проглотить себя без борьбы. Их божественное внутреннее чутье говорило им, что если общество вдруг так торопится облагодетельствовать их, то для них в этом нет ничего хорошего. При первой же попытке заманить их в школу они удрали, как дикие жеребята, и матери пришлось тащить их туда силой. Начались бесконечные прогулы, за которыми следовали колотушки; у матери были из-за них вечные неприятности. Долго ей приходилось, пренебрегая работой, отводить детей в школу, пока они, наконец, не смирились,— главным образом из жалости к ней.

Но эта покорность была лишь кажущейся; к их услугам было оружие, которым пользуются, спасаясь от опасности, слабые: они прикинулись мертвыми. Все, что с ними ни делали, отскакивало от них, ударяясь о толстую броню непроходимой глупости. Надлежало выполнить священный долг перед этими двумя мальчиками-пролетариями, и долг этот выполняли, не жалея сил; вся педагогическая наука была мобилизована для того, чтобы два несчастных паренька могли проследить сквозь века и пространство чудесный бег жизни. И даже у этого предела им не было нужды останавливаться: они, не имевшие права на колос ржи, растущей здесь, на земле, могли своей детской душой вознестись ввысь, через все границы и слиться со всеблагой любовью — с богом; кроме того, им даны были все возможности составить себе собственное понятие об истинной ценности человека.

Но мальчики не были от этого в восторге. Ведь теперь у них было еще меньше еды, которой они могли бы набить себе брюхо, и оставалось меньше времени для отдыха, так как они не хотели взваливать всю работу на мать. Вот чем они были озабочены, когда со скучающим видом слушали о великих подвигах героев и путешествовали вокруг света, водя палочкой по географической карте. Ведь они уже и сами не раз отправлялись в путь, полный приключений; в темные вечера, когда сторожа спускали собак, они перелезали через высокие дощатые заборы, чтобы попасть в угольный склад: холод крепко кусался, а печь дома зияла

пустотой. Бывали у них еще более трудные походы, когда они пытались раздобыть еду для большой матери, — походы в самую глубь неведомого и темного материка. Это была их тайна, в которую не могла проникнуть даже мать. Но все это мальчики раз навсегда взяли на собственную ответственность, и этим объяснялось их отношение к новой мудрости, которую в них вколачивали, — ведь эта новая мудрость бесспоротно осуждала то, что два неукрошенных мальчика делали из чувства самосохранения: эта новая мудрость рассматривала голодную смерть как проявление самой высокой честности со стороны бедняка.

У Карла и Петера были собственные, купленные дорогой ценой, взгляды на счастье и на жизнь вообще; на эти взгляды они опирались и кое-что на этом выигрывали. Каким-то необъяснимым образом они ухитрялись находить мед в простиравшейся вокруг них пустыне и претворяли свой тяжелый житейский опыт в мужество, которое, быть может, объяснялось недостатком чувствительности и не совсем гармонировало с десятью заповедями, но зато имело то преимущество, что оно было их собственным и что оно помогало жить.

Все это они глубоко затаили в себе, прикидываясь тупицами. Когда на уроке говорилось о скрижалях завета, данных человеку господом богом, или о том, как ангел возвестил рождение спасителя, они тупо смотрели в окно, будто все это свершилось на пользу другим, а их ничуть не касается. Уставая в одну точку потухшим взглядом, а в уме кипят планы: как найти новые источники дохода или улучшить старые. Надо было хорошо знать, что делается на стройках во всем городе, чтобы точно рассчитать, где в данную минуту легче всего набить щепками свои мешки; и нужна была целая наука, чтобы затем сбить эти щепки с наибольшей выгодой и без лишней беготни. Тут было о чем поразмыслить.

Вся хитроумная механика обучения действовала вхолостую, через головы мальчиков, стремившихся с непоколебимой серьезностью, вернее — тупостью, обеспечить себе собственную черствую корку хлеба, которую они предпочитали запаху богатых даров жизни. Ничего с ними не поделаешь, ведь это духовно неполноценные личности! Два несчастных идиота, прозябающих где-то на задворках

жизни... как ни бейся, разве способны они вобрать в себя отблески того великолепия, которое, к слову сказать, вызывал у бедняков лишь чувство пустоты.

Поняв, как бесплодны их усилия, мучители Петра и Карла, наконец, успокоились и мальчиков оставили, или почти что оставили, в покое. Не было оснований предполагать, что отношение к ним изменится, за что мальчики были очень благодарны. Они ничего не имели против того, чтобы прослыть более глупыми, чем они были на самом деле, раз не было иного средства оградить себя и свой мирок от чужих посягательств; и поэтому Петер и Карл опять стали смотреть на жизнь весело и бодро. Но когда приходило время отпрапляться в школу, на душе у них все же скребли кошки, пока они сами не успокаивали себя, готовясь к предстоящему утру.

Так было и сегодня. Утренний завтрак служил как бы границей, отделявшей одно их бытие от другого. Они покорно склонялись перед ожидавшим их злом и тихо отошли от кухонного стола. Не проронив ни слова о том, чего изменить нельзя, они заперли дверь и положили ключ под соломенную подстилку; затем они придали своим лицам глупое выражение и медленно, неохотно отправились навстречу неотвратимому.

Когда мальчики, пройдя свой узенький переулок, вышли на Страндвэй, младший вдруг как-то неожиданно для самого себя повернул за угол — в сторону от школы, и побежал что было мочи. Петеру стало страшно, и он пустился вслед за братом, чтобы вернуть его. Но когда он догнал малыша, ему тоже показалось, что этот путь единственно правильный, и он забыл, с какой целью погнался за Карлом. Солнце, стоявшее высоко в небе, бездушно изливало на все и всех свои сверкающие лучи, и от этого привычные представления рассеивались, как дым. На миг ожили, пугая и грозя, воспоминания о прежних побоях, но тут же устало угасли. Завтрашний день казался таким далеким, что не верилось в его реальность. Зато прямо перед мальчиками лежал морской берег с ослепительно белым песком, сверкавшим в солнечном сиянии, — о, тут все обещало сказку, приключения!

Здесь была другая жизнь — расточительная, роскошная, вечный праздник! Люди жили в волшебных замках,

в кольце зеленых садов, а в каждом саду, за столом, покрытым белоснежной скатертью, сидели люди; они ели, распивали вино, и каждый мог с улицы любоваться этой картиной. Случалось даже, что они зазывали какого-нибудь босоногого мальчугана и давали ему до отвала насытиться вкусной едой, так что его после рвало, — такие чудеса бывали не раз. Кроме того, в заборах были лазейки, через которые ловкий мальчик мог проскользнуть, чтобы самому обеспечить себе свою долю этих благ. А там, в смутной, бесформенной дали, раскинулся целый мир — большой лес, в котором водятся олени. Люди отправлялись в этот лес и веселые, довольные возвращались домой с красными шарами, которые так забавно пищали.

Все это проносилось в воображении двух малышей, когда они бежали по морскому берегу. Полицейский по привычке взял их на заметку, а большой дворовый пес дерзко подошел, остановил их и обнюхал; он почти с отвращением ткнулся мордой сначала в голые икры, а затем в штанишки, как бы говоря, что лохмотья всегда подозрительны, даже если их носят мальчики, умеющие не мигая смотреть своими голубыми глазами в сверкающее небо. На этот раз пес отпустил их на волю — пусть их бегут.

А бегать босиком — это тоже особое умение. На пальцах ног у них были раны от черепков, попадавших на дороге, а на коленках — шрамы; по земле два юных пирата ступали с каким-то странным недоверием, будто подозревая, что она еще не совсем остыла. Но она лишь была усеяна осколками стекла, которые попадались как раз там, куда ступала нога.

Что касается их одеяния, то они носили его с удовольствием, не подозревая, какое жалкое оно производит впечатление, и даже, казалось, гордились им. Оно, надо сказать, было единственным в своем роде; шилось из обносков, которые мать подбирала в господской прачечной, зорко присматриваясь к тому, что выбрасывалось за негодностью в мешок с тряпьем, или же из лоскутьев, которые мальчики выскивали возле Лерсэ, где находилась свалка, — этот сказочный сад нищеты.

Об их головках — как самой важной части тела — позаботился сам господь бог, покрывший их густой золотистой шапкой волос, которая даже на самых мрачных задворках

вызывала воспоминание о желтом, как золото, колосящемся поле. Как мы уже говорили, эти головки вобрали в себя немало серьезного опыта; он-то и зажег плутовской огонек, то и дело мерцавший в глазах мальчиков. Их лица, казалось, были только что вылеплены из глины и еще не совсем доделаны; и все же эта глина смеялась. На каждом из лиц, еще так неопределенно очерченных, ярко сияли два кусочка голубого неба, как неусыпаемый источник надежды.

Глядя, как они несутся куда-то в солнечном сиянии и весело взвизгивают ножками песок, их можно было принять, — перенеся их из реальной действительности в иное бытие, — за двух молодых богов, которые беспечно создали самих себя. А раз они явились в мир и увидели, что все источники радости уже захвачены другими, они ограбили собственную нищету и повесили на себя всю свою добычу. Не удивительно, что они чувствовали себя богатыми. Это ведь пока было их первым подвигом, и вот они идут куда-то идаль, облачившись в свои рваные трофеи, чтобы завоевать этот день; их детские тела кое-где сверкают сквозь лохмотья, подобно молодому солнцу, оставляя простор воображению. Две самосветящиеся звезды, два юных пролетария, двое из тех существ, которых никто не изучил, так как они держатся на большой глубине. На минуту они вынырнули на поверхность, чтобы поиграть в свете сверкающих солнечных лучей, и сами они сверкают, играя всеми редкостными красками, какие рождаются в темной пучине.

В общем итоге они были богато одарены, что они и сами знали; это сознание пластически отражалось в движениях двух юных тел. Жизнь была к ним щедра и в последнем порыве расточительности поместила их на самом дне, — может быть, для того, чтобы в тот день, который все перевернет, они оказались на вершине.

Мальчики неутомимо шли вперед, стараясь шагать по самой пыли, действовавшей на израненные ноги как теплый компресс; все, что они видели, наполняло их неистовым восторгом. В сердцах у них было много свободного места, и каждый пустяк разрастался в большое переживание.

В Хеллерупе они почувствовали, что их мучает голод. «Вот что значит чистый воздух», — важно сказал Петер; на этот раз он нашел великолепное объяснение для весьма обыденного факта, — ведь за завтраком они проглотили

только два бутерброда с салом, а до возвращения из школы домой они обычно ничего больше не получали.

Куском проволоки они выудили две пачки шоколада из одного хитроумного автомата и, жуя, пошли дальше; из-под их ног мелкими клубами поднималась пыль. Последний кусочек шоколада они размазали по всему лицу, на случай встречи с товарищами, — ведь это было не хуже, чем носить скальпы: воинственная раскраска будет принята за вызов всему миру. Весело горлая, с измазанными лицами и смело поднятыми головами, они все шли, шли и жадно искали взглядом новых приключений.

Навстречу им катила огромная телега, нагруженная пивными бочками, она окутала обоих вояк облаком пыли; когда пыль улеглась, стало видно, что они уже сидят верхом на бочках, висевших на железных цепях между колесами. Дети качались на них, рискуя сломать себе шею, как двое малых бесенят, и издавали дикие крики, заглушаемые лязгом тяжелой телеги, или же озорничали, волоча ноги по земле, чтобы посмотреть, по силам ли им будет задержать бег могучих коней. Так мальчики добрались до опушки леса, — здесь кучер обнаружил их и, замахнувшись на них кнутом, прогнал.

Каким-то неизвестным путем они сумели целыми и невредимыми пролезть между колес и прыгнуть в придорожную канаву. И это было большим счастьем, так как они нашли здесь пакетик с бутербродами, брошенный, должно быть, каким-нибудь школьником; бутерброды были с сыром и колбасой, — вероятно, мальчики были уже у входа в сказочную страну, где реки текут молоком и медом. Не теряя времени, они растянулись на земле и стали наслаждаться жизнью; еду они разделили поровну, но Петер, как старший, оставил за собой право облизать бумагу.

Нелепо было бы утверждать, что теперь они насытились, — этого с ними еще не случилось ни разу в жизни. Но когда Петер и Карл с новыми силами пустились в путь, они были ближе, чем обычно, к этому неизвестному состоянию.

Теперь, когда мальчики, набравшись смелости, шатались по берегу, они напоминали настоящих бродяг, но только в миниатюре. Петер засунул руки в карманы штанишек, а Карл, у которого еще не было карманов, спрятал свои маленькие лапки в две соответствующие прорехи вдоль

пшов. Удивительные это были прорехи: каждый вечер мать их зашивала, а наутро оказывалось, что они тут как тут,— вероятно, штанишкам было известно, что на этом месте должны находиться карманы. Единственное, чего не хватало этим бродягам, был рост; еще ни одна дама, завидев их, не перебегала и испуге на другую сторону дороги. Как бы то ни было, они чувствовали себя в своей стихии и, подгоняемые легким ветерком, брели куда глаза глядят.

Точно ведомые рукой волшебника, они обошли сады, которые тянулись вдоль вилл, и попали на самый берег моря; здесь они увидели дощечку с надписью: «Частное владение», и Петер стал добросовестно, по складам, разбирать трудные слова, но отказался от этой попытки ради более интересных вещей. Другое дело, если бы на дощечке было написано: «Берегитесь! Злые собаки!» Но здесь о собаках и речи не было.

В мгновение ока они сбросили с себя свое отрепье и с криком нырнули в голубой Эресунд. С веранды, выходившей на морской берег, дамы с удовольствием смотрели на двух последователей мира, резво катавшихся по песку, веселых и бесшумных, как порубьи и лужки. Но вот на веранду вышел хозяин дома. Он был членом клуба «Народное благо» и тотчас понял, что здесь нарушаются законы нравственности; мальчуганов прогнали, а дамы поспешно скрылись.

Что же, земля ведь велика, и мальчики ничего не имели против того, чтобы ознакомиться с какой-нибудь другой частью ее. На бегу они снова натянули на себя свои лохмотья и весело понеслись вперед. Вдали синел лес,— им захотелось забраться в самую глубь его, чтобы увидеть зверей и получить представление о конце света.

Вдруг Карл остановился:

— Петер, гляди-ка!

В саду виллы посреди зеленой лужайки стояло вишневое дерево. Оно поникло под тяжестью вишен, и сотни воробьев шумно чирикали в его ветвях; они взлетали, а затем целой тучей снова опускались на него, ссорились и опустошали дерево, так что ягоды и листья густо сыпались на землю. Это было чистым мотовством, так как всякому ясно, что им уже не хочется ягод.

— Вот обжираются! — сказал Петер и облизнулся.

Он вспомнил, что в этом году уже ел вишни: сосед-извозчик купил за две кроны целую тележку полугнилых ягод и перепродавал их на улице; за какую-то услугу он отсыпал Петеру полную шапку из того остатка, который уже никак нельзя было сбыть. До чего же они были вкусны! И слов таких нет, чтобы передать... Для пущей выразительности Петер щелкнул языком.

Карла при этом не было, и поэтому он не мог теперь предаваться воспоминаниям и просто завидовал воробьям.

— Что за свиньи! — сказал он с обидой в голосе. — Не едят, а только портят добро. Всю верхушку очистили! Интересно, тут кто-нибудь живет?

— Никто не живет, разве не видишь, осел ты этакий? Ведь ставни-то закрыты.

Мальчики нашли небольшое отверстие в изгороди и пролезли внутрь. Сначала они аккуратно собрали с земли вишни, оброненные воробьями, — их приучили к тому, что ни крошки не должно пропадать зря, — затем влезли на дерево и удобно уселись на нем. Веселая болтовня вскоре утихла, мальчики молча, почти торжественно, предавались наслаждению пиршеством. Одной рукой они рвали вишни, а другой набивали рот сразу целыми горстями ягод. Косточек они не выплевывали, — это они отложили до другого раза, когда у них будет больше времени.

Карл вдруг остановился и глубоко вздохнул: он был в том возрасте, когда переживания, чтобы почувствовать их реальность, надо облечь в слова.

— Вот это вишни! — воскликнул он, и его голубые глаза засветились восторгом. — Знаешь, если нам теперь разрежут живот, в нем окажутся камешки, как у волка! — И он опять принялся за вишни.

Петер только хмыкнул.

Кто-то повернул ключ в замке, заскрипела калитка; дети ничего не слышали и не видели; они были слишком увлечены пиршеством.

Хозяину виллы, семья которого в этом году уехала на курорт, захотелось хоть разок взглянуть на свой загородный дом и на свое любимое вишневое дерево.

Увидев, как расправились с вишнями воробьи, он крепко выругался, но тут же вспомнил, что он член Общества покровительства животных, и сдержался. Зря он вспылал!

Лицо его разгладилось. Вольные пташки в поднебесье — боже мой, ведь им тоже хочется жить! Он добродушно ворчал, обходя дерево, чтобы уяснить себе размеры убытка.

Вдруг взгляд его упал на двух мальчиков, крепко прижавшихся к стволу в безумной надежде, что их не заметят.

— Вот что, там еще пара юных преступников! — громко вскрикнул он. — Я подросел как раз во-время. — Слезайте, да поскорее, негодяи, воришки! — Голос его уже гремел.

Мальчики соскoczyли с дерева и сделали неудачную попытку улепетнуть. Один рывок — и разгневанный хозяин схватил их за шиворот и тут же выпустил; не желая касаться грязных лохмотьев, он зажал их ручки в своей левой руке, точно в тисках, и грозно замахнулся на детей палкой.

Хозяин виаллы совсем не желал самолично расправляться с мальчиками, — он уважал закон и находил, что карать преступников надлежит властям. Именно потому, что он ненавидел маленьких негодяев-воришек, которые бог знает откуда берутся и никогда не становятся полезными членами общества, он не считал нужным собственноручно наказывать их; он лишь намеренался, прежде чем сдать их полиции, по возможности призадумать, усмирить их и тем самым снять с себя ответственность. Не плохо будет, если они когда-нибудь, при всей своей закоснелости, вспомнят эту минуту как луч света, как предостережение и почувствуют, что земное правосудие радеет о них — «ударяет, чтобы освободить», как гласит одно превосходное изречение.

Но мальчики страстно желали только одного, чтобы хозяин, бросив нудные увещания, хорошенько поколотил их, — лишь бы только он не отвел их в полицию. Побои — это еще куда ни шло, это дело знакомое, но при мысли о земном правосудии их трясло от неодолимого ужаса. Если они жалались и вздрагивали под грозно занесенной над ними палкой, то лишь от страха перед полицией.

И желание их исполнилось. На этот раз двум маленьким оборванцам улыбнулось счастье: хозяин виаллы так разгорячился от собственного красноречия, что почувствовал необходимость тотчас же, немедленно дать выход своему гневу, — и все мудрые правила были позабыты. Мальчики судорожно извивались под ударами его палки, и когда он достаточно сурово расправился с ними, то понял, как нелепо

было бы еще раздуть это дело, и позволил им удрать. Конечно, он мог бы все-таки передать их властям, но, в сущности говоря, он был само добродушие.

К дальнейшим размышлениям хозяина, пожалевшего о своей неуместной снисходительности, которая, думалось ему, приведет этих двух мальчиков прямой дорогой в исправительный дом, дети были бы до ужаса равнодушны, если бы даже узнали о них. Теперь они на воле — и не так-то легко снова попадутся.

В таинственный лес, где водятся олени, они на этот раз не проникли, конца света так и не увидели. Все это пришлось отложить до более удобного случая, ведь впереди у них было много времени. А сегодня они извели жуткие чувства, которые послужат пряной приправой к их будничной действительности; они заглянули в пропасть и чуть не свалились в нее, земное правосудие разверзло перед ними свою чудовищную пасть и едва не поглотило их.

Но они побывали в волшебной стране, где молочные реки и кисельные берега.

Теперь ребятам захотелось домой.

Испуг подстегнул их, и они понеслись рысью, как пара хорошо обвезженных лошадок. В желудке они ощущали некоторую тяжесть — то были вишневые косточки, залог того, что все происшедшее было явью. Да еще где-то глубоко внутри теплилось и волной разливалось чувство радостного удовлетворения. Да, они, без сомнения, прожили чудесный день.

КАЗНЬ

В дождливый летний день, лет десять тому назад, мы подкатали к крестьянскому двору, на востоке Ютландского полуострова, где хотели провести летние каникулы.

Первое живое существо, замеченное нами в момент приезда, была Расмина — высокая и довольно грязная женщина. Она усердно работала на грядках, засаженных брюквой, и видно было, что земля, над которой она трудилась, была твердая и глинистая.

Вся ее фигура казалась как бы незаконченной. Глядя на нее, можно было подумать, что дети, забавляясь, вылепили ее из сырого и липкого песка. Однако это примитивное создание обладало божественной способностью быть постоянно веселой и довольной.

Она смеялась и в ту минуту, когда мы подъехали к ее дому, несмотря на то, что дождь усиленно поливал ее с головы до ног и прокладывал затейливые следы на всей той грязи, которая накопилась на ней за долгое время. Ее лицо походило на замерзшую земляную глыбу, начавшую внезапно оттаивать. И эта глыба смеялась.

Духовный уровень Расмины полностью соответствовал умственному развитию нашей двухлетней девочки; и потому первая улыбка этой женщины была обращена к ребенку. Обе они почувствовали взаимную симпатию, и позднее их можно было видеть вместе всякий раз, как у Расмины оказывался хоть малейший досуг; часами ходили они, держась за руки и посвящая значительную часть своих бесед и даже

деятельности элементарным жизненным отправлениям, причем штанишки малютки играли немаловажную роль.

— Тюля сегодня не намочила,— лепетала девочка.

— Да, сегодня ты не мокрая, Тюленька,— нежно отвечала ей Расмина.

Такой разговор они вели чаще всего.

Мы, взрослые и культурные люди, имели насчет этой дружбы свое особое мнение. Но было нелегко ей помешать, зная, что в окрестностях, в нескольких жалких лачугах, размещено шестеро ребят Расмины, заботиться о которых она не имела ни времени, ни средств. У нее было шесть человек детей, но она всякий раз с радостью принималась менять белье нашему, чужому для нее ребенку.

Своих собственных детей Расмине удавалось видеть крайне редко: путь к ним был не близкий, а она почти бесменно была запряжена в тяжелую работу. Когда батраки и служанки, закончив трудовой день, шли, обнявшись, вдоль поля домой, громко распевая песни, у Расмины все еще было много дела то здесь, то там. В свободное время она шила и вязала для своих детей; и по меркам для чулок, которые ей присылали, она могла судить, насколько каждое ее чадо подросло.

Йенс Петер был на тридцать лет старше Расмины. Раньше его собственный сын был другом ее сердца. Но он уехал за море после того, как Расмина родила ему четверых детей, поглощавших весь его заработок. Отец, стыдясь бесчестного поступка сына, решил загладить его вину и назвал Расмину своей невестой перед богом и людьми.

Йенс Петер был человек довольно смелый, умевший постоять за себя и обладавший твердым характером. Если кто-нибудь пытался оскорбить Расмину, он умел хорошо проучить нахала. Но, с другой стороны, в его характере была одна странная особенность: стоило ему столкнуться с вещью ему чуждой или непонятной, как он моментально съеживался и становился подозрительным. Он испытывал, например, чуть ли не трепет при виде каждого клочка исписанной или напечатанной бумаги; никто не мог бы его заставить прикоснуться к моим рукописям. Чиновники и власти казались ему дьявольской выдумкой.

— Они существуют только для того, чтобы губить нас, маленьких людей,— говорил он.

Как и все бедняки, он предпочитал лучше терпеть и страдать, чем обращаться за помощью к властям. Несмотря на свои шестьдесят пять лет, он был еще вполне здоров и крепок и в работе соперничал с молодыми.

В летние вечера, очень поздно, когда весь двор уже вкушал покой, а я сидел еще за своей работой, он приходил к окну своей возлюбленной и любезничал с ней, словно ему было двадцать лет.

Они обсуждали главным образом вопрос о том, как им устроить совместную жизнь, и часто советовались со мной.

— Тогда, — говорил Йенс Петер, — мы смогли бы взять домой детей — постепенно, в соответствии с обстоятельствами. И это было бы очень хорошо.

Но это пламенное желание не избавляло его от колебаний.

У Расмины, конечно, крепкое тело, — прибавлял он, — чтобы показать, что его опасения не были грубо материальными, — а вот с головой дело гораздо хуже.

Он намекал этим на ее неспособность воспитать детей...

В результате этих разговоров и размышлений у них появилось решение устроить себе собственное гнездо.

Йенс Петер купил маленькую хибарку, и они зажили как муж с женой, то есть поселились вместе. Детей они взяли к себе и стали их учить всему, что сами знали и умели. Ребятишки, казалось, были созданы для работы, ибо родительская наука давалась им легко. Как только они начинали сидеть, они уже помогали соседям и копались вместе с ними на огородах и на полях.

— Они у меня настоящие работнички, — говорил Йенс Петер, с гордостью поглядывая на свой выводок.

Расмина занималась поденщиной или прислуживала в бедных семьях, нуждавшихся в постоянной или приходящей служанке. Она стирала белье, донла коров, варила обед, скребла и чистила и ходила за детьми. Хозяйки брали ее охотно, потому что она была крепкой, работоспособной, неприязнительной женщиной и, следовательно, очень выгодной. Кроме того, ей доверяли больше, чем другим, она должна была работать, когда другие отдыхали, и браться за дела, которых другие старались избегать.

Тем не менее, когда она поселилась вместе с Йенсом Петером, чтобы создать себе нормальные условия жизни

и устроить для своей семьи скромный угол, людям показалось, что эти бедняки позволяют себе слишком большую роскошь,— они могли иметь детей: этого им не вменяли в вину, ибо такие вещи встречались на каждом шагу, особенно в низших слоях населения; они могли воспитывать собственными силами своих мальчиков и девочек: это было даже хорошо,— но гордиться своим позором, выставлять его как добродетель и считать благопристойным — этого права за Йенсом Петером и его Расминой признать не хотели. Расмина жила на дне, и должна была там оставаться. Ведь лучше всего, когда грязь лежит на том, на ком она менее всего заметна...

Как и следовало ожидать, людское недовольство проявилось внезапно. Трудно было установить его источник, но оно распространилось с быстротой чумы. В один злосчастный день, под предлогом спасения невинных малюток от гибели, был послан куда следует донос о предосудительном сожительстве Расмины и Йенса Петера.

Они ничего об этом не знали. Они поступали так ради блага детей, которыми они жили и дышали, ибо, несмотря на свои очень скудные достатки, они давали им все, что могли. Им и в голову не приходило, что их поведение могли истолковать превратно... Вскоре они заметили, что на них надвигается какая-то опасность, и жизнь их стала беспокойней. Они напоминали лесных зверей, которые, выйдя из своих берлог, не могли найти обратного пути. В их добродушных взорах стал светиться скрытый страх.

Постепенно Йенс Петер понял, что общество относится к нему враждебно, и ему стала немила его маленькая, крытая соломой избушка.

— Ох, уж хоть бы ты сгорела, несчастная хибарка! — восклицал он иногда. — Ты никому не мозолила бы глаза.

У него явилась даже мысль: уж не приглянулся ли его домик,— а может быть, и сама Расмина,— начальнику округа или другому власти имущему человеку, которые задумали его устранить, чтобы завладеть его сокровищами?

— Нам следовало бы подумать о том, чтобы отсюда уехать,— часто говорил Йенс Петер Расмине и детям.

Но куда? Опасность угрожала не с той или другой стороны — она была повсюду. Их преследовало общественное мнение! Если возле их избушки появлялся человек, они

запирались и не выходили из нее, пока неприятель не исчез из виду. Но на бегство у них не хватило решимости. Как овцы, которых бьют, они лишь поджимали под себя ноги, жмурились и терпели.

Полицейский чиновник часто навещал местность, где жили Йенс Петер и Расмина, и, собирая о них сведения, подходил иногда к их избушке. Но каждый раз он находил ее на запоре и через незанавешенные окна мог только видеть, что там стояла лишь одна кровать для взрослых. И вот однажды, встретив Йенса Петера у опушки леса, он приветливо у него осведомился:

— Ну, как, Йенс Петер, доволен ты своей экономкой? Ведь на тебя, наверно, лгут и клеветуют, утверждая, что она для тебя человек более близкий?

Йенс Петер, уловив насмешливый блеск в его глазах, понял, что его хотят поймать на этом и что не надо поэтому говорить правду.

— Нет, она для меня только экономка,— отгетил он.

— В таком случае каждый из вас имеет свою кровать и отдельную комнату, согласно предписанию закона?

Конечно,— произнес Йенс Петер, мысленно благодаря этого человека, как бы внушавшего ему ответы на столь тягостные для него вопросы.

Но в то же мгновение полицейский словно преобразился и набросился на Йенса Петера с обвинениями: он дает ложные сведения и издевается над представителем власти; он виновен не только в греховной жизни, но еще и в умышленном искажении фактов.

— Завтра же потрудитесь явиться в суд, и тогда...

Полицейскому нечего было добавлять: Йенс Петер и без того ясно видел, что ему предстоит тюремная камера с грубым надзирателем, пытка допроса, ужасный приговор, который, несомненно, ему угрожал при малейшем и даже случайном отклонении от истины.

Весь остаток дня Йенс Петер без усталости бродил вокруг своей хижины. Он не знал, на что ему решиться. От страха он не мог усидеть на месте. Он походил на человека, захваченного маховым колесом машины и вынужденного вертеться вместе с ним. Его взор был неподвижно устремлен в пространство и полон страха. В конце концов будущее показалося ему таким страшным и гнетущим, что он не вытерпел.

Когда стемнело, он достал веревку, пошел на чердак и повесился.

Расмина, изведав счастье собственного угла, уже не смогла больше пойти в услужение. Когда я увидел ее в следующий раз, она собирала в приходе подавание для себя и для своих сирот. Люди жалели ее и подавали ей. «Она несчастное создание,— говорили они.— Нарожала множество детей и не может найти для них отца...»

Все вышеописанное действительно случилось с двумя людьми в Дании в 1908 году.

1908

ПО ТЕЧЕНИЮ С ПЛАВНЫМИ СЕТЯМИ

Многие, верно, сидя за завтраком и снимая золотистую кожу с настоящей борнхольмской селедки, пытливо обращали свои мысли к тем глубинам, где гуляют косяки сельдей. Я последовал за их мыслями, отправился однажды ночью в море с рыбаками, и вот мой улов — отрывок саги о счастье.

И пришел после обеда в рыбацкую деревушку на восточном берегу острова; там рыбачил один из товарищей моих детских игр, с которым я уговорился заранее. Он много переменял профессий с тех пор, как мы с ним после конфирмации разошлись дорогами, — побывал в ученье у ремесленника, плавал матросом и одно время жил в работниках у крестьян. Но жизнь ему не улыбалась; бедняга мог заранее с точностью предсказать, что ему везде не повезет. И вот он с год назад вступил в рыбацкую артель. Ловить рыбу — все равно что каждую ночь впотьмах протягивать руку за хлебом насущным, испытывая судьбу; в любую ночь счастье может попасться в сети и позволит втащить себя в лодку!

Было три часа, светило солнце, но из-за слишком свежего ветра нельзя было выметывать сети в открытом море. Рыбаки бродили возле своих хижин и позевывали, выжидая, когда ветер немного стихнет. Все они были заспанные, хмурые. Море отнимало у них ночь, а большую часть утра они приводили в порядок снасти.

Ханс Хольм встретил меня на пороге своей хибарки.

— Ты еще успеешь прогуляться, — сказал он. — Раньше как часа через два не стихнет.

Я понял, что ему не хотелось приглашать меня в дом,— заметно было, что живут они с женой очень бедно. Как раз в эту минуту жена вынесла остатки его обеда: картофель с подливкой. На руках у нее был ребенок, упирившийся голыми ножками в ее выпяченный живот; другой малыш, чуть побольше, с ревом волочился за матерью, держась за ее юбку. Вид у женщины был усталый, безнадешный.

— Это жена моя,— сказал Ханс Хольм,— а это, значит, двое ребятишек наших. И третий скоро появится.

Женщина протянула мне руку дощечкой и попыталась улыбнуться.

— Может быть, зайдете к нам? — спросила она тихо.

— Нет, он лучше погуляет по берегу,— решительно ответил Хольм.

Я и пошел бродить вдоль берега, развлекаясь, как умел.

Часам к пяти ветер несколько ослабел, и четыре крытых рыбацких бота — весь флот деревушки — приготовились выйти в море. Женщины и дряхлые старики катили в тачках рыболовные снасти и грузили их на лодки. Рыбаки шли сзади, неся лишь свои торбы со съестным; некоторые вели за руки детишек. Шли грузной, вялой поступью; плохой летний улов наложил отпечаток уныния и усталости на их лица и всю осанку.

Наш бот вышел в море последним: двое рыбаков и я долго поджидали третьего их товарища. Все паруса были подняты, и «Мари» нетерпеливо рвалась с причала. Наконец, он показался — молодой краснощекий парень с белокурым хохолком на лбу. Он держал за руку веснушчатую молодую рыбачку, и они неторопливо брели по молу, раскачивая руками. Не глядя друг на друга и ничего не говоря, они стояли еще с минутку, держась за руки и стыдясь своего счастья, затем он прыгнул в лодку и взялся за руль. Мы отдали причал, и «Мари» понеслась по волнам.

Лицо молодого парня сразу стало серьезным, рука его крепко, напрягая мускулы, обхватила румпель, глаза впились вдаль, а зубы отхватили большой кусок жевательного табаку. Несмотря на свои восемнадцать лет, он выглядел таким солидным, когда сидел на руле, — настоящий мужчина, способный в две-три минуты выкинуть из головы женщину и все с нею связанное.

Мы лежали врастяжку на палубе и болтали о том о сем, а больше всего, разумеется, о сельди. И куда только она подевалась в нынешнем году? Все лето бороздили рыбацьи лодки море вдоль и поперек без всякого толку.

— Когда я был мальчишкой, ее пропасть ловилось. Хоть бы теперь маленько и для нас осталось,— сказал Ханс Хольм.

Да, в былые времена сельдь валом валила к берегам Борнхольма, окружая остров серебристым венком. В иные дни поверхность моря так и сверкала синеватыми молниями,— это сельдь, поднявшись из глубины наверх, играла на солнце. В самый разгар лова не спалось даже нам, ребятишкам, и мы вставали с зарею. Самые прекрасные воспоминания детства связаны у меня с такими летними утрами, когда все население поселка напряженно глядело с берега вдаль, туда, где брезжила зоря. И вот, из-за края восточного горизонта медленно выплывали лодки с надутыми легким бризом красными парусами, волоча за собою солнечный шлейф и сверкая серебром рыбьей чешуи на палубе, заваленной сельдями чуть не до половины высоты мачты. Женщины и девушки в передниках и, разумеется, мы, мальчишки, становились с ножами в руках у солилен,— и целый день на большой, залитой светом площади в гавани прилежные голосистые работницы потрошили и солили сельдь около больших чанов. Сельдь, сельдь и сельдь! С утра до вечера все пропитывалось запахом сельди и соли, и даже неровная мостовая поселка блестела от селедочной чешуи.

В те времена еще не было такого спроса на сельдь, как теперь, зато каждый порядочный борнхольмец ел селедку по крайней мере дважды в день: за обедом и за ужином. Около Иванова дня крестьяне выкатывали свои сельдяные бочки на двор и, когда слух о большом улове облетал остров, запрягали лошадей в самые вместительные телеги и ехали на берег запастись едой на зиму. Десять олей¹ селедок на каждого взрослого едока и по три-четыре — на каждого малолетнего,— меньше уж нельзя было запастись. Но иногда сельдь ловилась в таком изобилии, что людям ее никак не съесть было,— приходилось продавать ее возами на корм свиньям или просто выбрасывать.

¹ О л ь — связка из восьмидесяти селедок.

Это уже было и жалко и грешно, и некоторые додумались было слегка поджаривать излишки улова на больших сковородах и сбывать в Германию. Но это дело не пошло, так же как и вывоз свежей рыбы во льду. Борнхольмская сельдь мелкая и ценится на внешнем рынке лишь в копченом виде — да и то, если коптят ее борнхольмцы: никто в мире не умеет так хорошо коптить селедку, как борнхольмцы!

Теперь этот промысел налажен: по всему берегу острова раскиданы сотни коптильных печей грушевидной формы, которые поглощают серебристых рыбок и выбрасывают золотистых. Эти печи могут пропустить сквозь свои жерла куда больше, чем в состоянии наловить рыбаки. И на белом свете потребляется настоящей борнхольмской селедки в десять раз больше, чем ее коптится в этих печах, — так велик на нее спрос на внешнем рынке. Теперь борнхольмский рыбак хозяйничает по-новому. Едва только суда с богатым уловом подойдут ранним утром к берегу, как сельдь поступает в коптильни, а после обеда ее уже укладывают в ящики и отправляют на пароходе. На следующее утро копенгагенец ест ее за завтраком.

Но теперь, когда рыбакам нечего бояться, что рыба застигнет их врасплох, она перестала устраивать им сюрпризы. Далеко разносится молва, когда редкий раз какой-нибудь бот вернется с сотней олей, и ночь за ночью возвращаются рыбаки домой с пустыми сетями. Всего двадцать пять — тридцать лет тому назад ловился здесь и лосось в таком изобилии, что борнхольмская рыбацкая артель могла заработать до пятисот крон в одну ночь; теперь же ловля лососей почти совсем свелась на нет, а чтобы кормиться продажей сельдей, борнхольмскому рыбаку приходится месяцами бороздить море, весной доходя до берегов Пруссии, осенью — до Бельтов¹ и Гедсэра².

— Теперь все идет шиворот-навыворот, — сказал староста артели, низенький рыжебородый человек лет пятидесяти. — Но так всегда бывает: если товар есть, то цена низкая, а когда цены держатся, так продавать нечего. Бед-

¹ Малый Бельт и Большой Бельт — проливы: первый между островом Фюном и Ютландским полуостровом, а второй между островами Фюном и Зеландией.

² Гедсэр — мыс и гавань на южной оконечности датского острова Фальстер.

ному человеку всегда плохо,— пляши под чертову дудку, как знаешь.

— Да, да, ну сегодня-то ведь нам повезет! — подбадривающим тоном говорит Ханс Хольм.

Все растроганно поглядывают на меня: я и есть то необычное, что должно принести им сегодня ночью счастье. Рыбак суеверен, — промысел его подвержен игре случайностей и заставляет его цепляться за приметы. Рыбак держится особняком от крестьянина, он предприниматель без гроша, питающийся одним хлебом, но умеет считать. Через его осмеленные руки в его лодку может в одну ночь пройти сельди на две-три сотни крон; и в одно мгновение море может разорить его на тысячу крон, уничтожив рыболовную снасть.

Бот прыгает по бурным волнам, с виду похожим одна на другую, куда ни взгляни. Но рыбаки уверенно держат курс туда, где им предстоит выметать сети сегодня ночью; чуть ли не каждый кусочек моря носит у них свое название, вся поверхность моря разделена и размечена, как земельные участки в деревне. Мы проплываем над песчаными мелями — «Клювами», и рыбаки сговариваются, что закинут сегодня сети на Северо-западных мелях. Мы идем туда с юга; другие лодки идут с запада на восток, нам наперерез, направляясь к Восточным мелям или к Церковной мели, — это так похоже на копенгагенских хозяек, любящих покупать провизию непременно на другом конце города.

Меня интересуют истинные побуждения рыбаков: знают ли они, где сельдь больше держится по ночам, или выбирают место наугад?

— Почему именно на Северо-западных мелях? — спрашиваю я.

— А вчера ночью одна из лодок здорово там наловила, — отвечают мне.

— Стало бы, вам известно, что косяки сельдей по долгу задерживаются на одном месте?

— Нет, — отвечает староста, — мы ничего не знаем толком. У нас столько же шансов взять хороший улов там, как и в любом другом месте. Но ведь где-нибудь да надо закинуть сети.

— Вот, если бы наука могла тут прийти на помощь, про-
светить бродящих во тьме ошупью! Разве не бросается в
глаза в наш практический век эта беспомощная братия, что
каждую ночь закидывает наугад сети в глубь морскую и
шесть дней в неделю добывает лишь самую малость, а то
и вовсе ничего!

В семь часов вечера мы добираемся до Северо-западных
мелей; они в трех-четыре-х милях от берега. Отыскиваем
течение: с четверть часа бот снует взад и вперед, словно
зверек, разнюхивающий, где бы устроить себе логово на
ночь. Мы меняем курс, поворачиваем против ветра, убираем
паруса, валим мачту.

Мы становимся бортом к волнам; крышки люков отки-
нуты, против них становятся трое рыбаков и выбирают
сети. Бот покачивается, прыгает в высоких и коротких вол-
нах и тычется носом во все стороны. Я бы охотно помог
рыбакам в их трудной работе, но не могу. Я вообще не
могу устоять на ногах, да и усидеть не в силах; мои брюш-
ные мышцы недостаточно упруги, чтобы препятствовать
внезапному сгибу туловища; когда бот вдруг останавли-
вается посередине прыжка и дергается в другую сторону,
мне приходится лечь на спину и крепко держаться за что-
нибудь.

А трое рыбаков инстинктивно угадывают каждое дви-
жение судна и поддаются ему, не прерывая своей работы.
У них как будто одна воля с ботом и с волнующимся мо-
рем, так естественно встречают они каждый его каприз.
Ровно выметать сети с борта судна на глубину десяти саже-
ней — труд, требующий напряженного внимания и ловкости
даже в тихую погоду. Один человек расправляет нижнюю
подбору и вставляет грузила в петли; другой — верхнюю и
выравнивает поплавки, которые вместе с грузилами должны
удерживать сети вертикально в воде; третий выбирает сети
из трюма и осторожно выметывает их одну за другою.
С промежутками саженьей в десять летят в море вместе с
сетями прикрепленные к общему канату большие наплав-
ы или пустые бочонки, которые препятствуют сетям пойти ко
дну. Сажень за саженью спускаются сети за борт и погру-
жаются вглубь, бочонки непрерывно летают в воздухе и
падают с плеском в воду; они да веха первой сети отмечают
наш путь.

Боты виднеются по всему морю насколько глаз хватает, в расстоянии четверти мили один от другого. Они тоже убрали мачты и паруса и похожи на белых птиц, усевшихся на ночной отдых.

Опустилась ночь; над морем плывет по небу луна, выделявая невероятные курбеты, словно у нее пляска святого Витта. Я попрежнему лежу на спине и крепко держусь, чтобы не полететь в воду. Работа идет своим неустанным ходом, и льется ровная, мирная беседа — о чужих странах и землях и о том, как хорошо бы иметь много-много денег. И принужден бросать слова прямо в небо, и мне кажется, что они падают обратно и бьют меня по затылку, — так прыгает и вертится бот.

А наплавыв все летят в море, сети скользят и скользят между проворными руками и исчезают за бортом; мы уже больше не видим вежи, она осталась далеко. Течение растянуло капат с бочонками в одну прямую линию к югу и тихонько увлечает и сети и нас. Наконец, через три часа непрерывной работы закинута последняя сеть. Конец каната прикрепляется к штевню и удерживает нас на течении.

Выметано шестьдесят сетей, каждая в восемнадцать сажений длины. На глубину десяти сажений спущена в море отвесная стена длиной свыше четверти мили и высотой в десять сажений, — дело не шуточное! Не уйти теперь от нас косякам сельдей!

Десять часов. Мы лежим на спине и предоставляем сетям буксировать нас. Как раз в эту пору сельдь подымается со дна и идет на тех глубинах, где находит себе пищу. Ранним летом сельдь подымается до самой поверхности, но с наступлением жары сельдяная пожива уходит глубже, за нею следует и сельдь. Около Иванова дня она держится на глубине четырех-пяти сажений и постепенно опускается все глубже, до десяти — двенадцати сажений. В августе же вновь подымается или, наоборот, уходит в такие глубины, что ее и не достать.

— То есть достать-то можно, — говорит старший из рыбаков. — Я еще мальчишкой помогал выметывать сети на четырнадцать — пятнадцать сажений вглубь. Но потом это бросили: вода так давила там на сети, что их едва можно было вытянуть; слишком скоро изнашивалась рыболовная

снасть, и расходы не окупались... Ну, теперь нам пора опять за дело браться — до полуночи недалеко.

Люди встают и с помощью бортовых лебедок начинают вытягивать сети. Работа прямо лошадиная; выметывание сетей — игра в сравнении с этим. Трое людей тянут и тянут, судно поддается в воде под их напором, сети так натягиваются, что бечева поет. Людям приходится вырывать снасть из волн, словно она приросла к ним, тянуть дюйм за дюймом, а ведь длина ее три тысячи локтей.

Я перевернулся на живот и напряженно ожидаю результатов ночного лова. Каждый раз, как сеть выбрана и ее кидают в трюм, рыбаки говорят, сколько в ней запуталось рыбы: одна, две, три штуки. Раз насчитали до девяти — и рассмеялись горьким смехом. Теперь они работают молча. Настроение у них упало: стараются они все так же упорно, но тянут пустые сети! Вершок за вершком выбираются сети на борт, и кажется — конца им не будет.

На востоке показывается облако, оно растет и несется против ветра; слышен отдаленный глухой рокот. Рыбаки то и дело оборачиваются и поглядывают в ту сторону, еще усерднее налегая на работу. Слишком темно, я не различаю их лиц — и радуюсь этому: мне стыдно — стыдно за себя, что не принес я им в эту ночь счастья, стыдно за то, что вообще никто ничего не сделал для этих людей.

— Вы так много знаете... у вас и книги... и время есть... Не скажете ли вы нам, куда же девалась сельдь? — вдруг обращается ко мне Ханс Хольм.

Вопрос попадает прямо в цель: я как раз сам об этом думал; но не знаю, что ответить. Да Хольм и не ждет ответа, а тянет и тянет бесконечные сети.

Три часа изнурительной работы — и она окончена. Ставим мачту и один гафель. Ветра нет, но мы не смеем прибавить парусов: буря может налететь на нас в одну минуту, и опомниться не успеем. Море притихло перед надвигающейся грозой; тяжело катятся длинные свинцово-серые волны, в их матовом блеске отражается утренняя заря. Мы берем курс домой и медленно скользим со слабо натянутым парусом. Позади нас, там, где должно взойти солнце, клубится иссиня-черный адский мрак, заволакивает небо и пожирает нашу волновую струю.

Рулевой сидит, не сводя глаз с края горизонта за кормою. Вдруг двое других вскакивают на ноги и быстро убирают последний парус и мачту; едва они успели повалиться, как налетает шквал, приподнимает бот на волнах, скидывает его и с невероятной силой снова швыряет в бездну. И опять штиль. А молнии так и полосуют небо огненными бичами, с грохотом ударяют в волны вокруг нас, в воздухе пахнет серою. Около часа длится непогода — попеременно то налетают шквалы, то слышатся раскаты грома. Затем все вокруг светлеет, небо широко улыбается, — можно поднять паруса.

В семь часов утра мы подходим к скалам при чудеснейшей погоде. Я прощаюсь с тремя рыбаками и поднимаюсь на скалистый берег. Жены рыбаков выбегают из хижин, кланяются мне и торопливо бросают на ходу вопросы о том, каков улов. Я только киваю в ответ, — у меня не хватает духу сказать правду.

ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЯКОБА

Как-то раз, перед очередным рейсом в Германию, шкипер Мортен Андерсен еле припелся домой и сразу повалился на кровать. Дорожная супруга шкипера положила на стол кухонный нож, с которым никогда не расставалась, и, старательно обтерев руки о толстый живот, помогла обессиленному мужу раздеться и лечь поудобнее.

— Тебе что, неможется, Мортен? — участливо спросила она и засунула руку под перинку — пощупать, есть ли у него жар.

— Конец мой пришел, вот и все, — тоскливо прошептал Мортен Андерсен.

Тогда, потеплее укутав ему ноги, верная супруга поспешила к пономарю, гробовщику и мяснику, чтобы заблаговременно заказать все необходимое.

Дело обычное и даже заурядное, однако этому ничем не примечательному событию суждено было всколыхнуть размеренное течение жизни маленького городка. Здесь не принято было сказываться больным по пустякам. И уж если мужчина укладывался в постель не для того, чтобы вздремнуть после обеда, — хорошего не жди. Раз шкипер Мортен Андерсен пришвартовался к дому, держась рукой за поясницу, — надо было спешно подыскивать кого-нибудь другого, кто поведет двухмачтовую шхуну «Андреас».

Казалось бы, чего проще найти капитана в стране, где, можно сказать, каждый мужчина рождается с румпелем в руках. Борнхольмцы все в одинаковой мере превосходные

моряки, каменотесы и землепашцы и не раз в своей жизни меняют одно ремесло на другое. Здешним крестьянам моря и морские пути знакомы чуть ли не с пеленок; прежде чем осесть на земле, все они — или во всяком случае большинство из них — побывали в Китае и на Малабарском полуострове, — и это ведь в доброе старое время, когда морское дело было настоящим искусством. Ну и любили же мы, мальчишки, слушать воркотню наших стариков, когда, едва юлоча сведенные ревматизмом ноги, они после дневных трудов собирались на молу и, тыча пальцем на видневшиеся вдали суда, начинали вовсю честить нынешних моряков за то, что они и паруса ставить толком не умеют и не могут держать курс.

Однако теперь, когда представился такой великолепный случай показать свое собственное мастерство и умение, каждый скромно прятался за спину соседа. Настоящие моряки ушли в дальнее плавание — в южные моря или в Гренландию битть тюленей, и похоже было, что «Андреас» с его грузом гранита так и простоит на приколе до самой зимы. А тогда уж, конечно, какой-нибудь вернувшийся из дальнего плавания юнец, к стыду и сраму всех мужчин поселка, изню переправит груз в Германию. Да, не очень-то весело было думать об этом.

Правда, так уж на свете повелось, что всюду, где предстоит трудное дело, всегда находится и человек, которому оно по плечу. Да что толку! У нас в городке, например, жил Якоб. Каждому было ясно, что уж кто-кто, а он сумеет повести галеас в Германию, для него это проще, чем взять щепоть табаку. В молодости Якоб плавал в пассатах, был капитаном пиратского корвета, занимался работоторговлей и между прочим бил китов, — недаром в столице его имя занесено в черные списки! И хотя с тех пор прошло лет двадцать, если не больше, — теперь Якоб содержал бакалейную лавочку и понемногу рыбачил, — он все еще был овеян романтической славой своих необыкновенных приключений. Якоб был старый холостяк, сам себе стряпал и рыбачил в одиночку. Будь у Якоба жена, которая с утра до ночи стрекотала бы у него над ухом, возможно он и не был бы таким нелюдимым и замкнутым. Но по этой ли, по другой ли причине — характер у него был необщительный, и, подобно всем великим людям, он своей неприступностью

внушал уважение и страх, и никто по собственному почину не осмеливался вступать с ним в разговор.

Казалось, он бережет силы для какого-то необычайного подвига, предоставляя другим тратить свою энергию по пустякам. Зато уж когда Якоб принимался говорить, не было человека красноречивее его. Рассказы один другого увлекательнее и чудеснее лились из его уст, завораживая слушателей и унося их далеко от привычных будней захолустного городка в широкий мир необыкновенных приключений и авантур.

Как уже было сказано, Якоб разъезжал по свету по крайней мере лет двадцать тому назад. Но стоило ему раскрыть рот и заговорить об океане, как каждый, чувствуя свое ничтожество, тотчас умолкал: Якоб казался китом, которого прибило к берегу, но даже мелководье вокруг него бурлило, как океан. Черт побери! В каких только делах не участвовал он в свое время! Каких удивительных приключений не пережил! Правда, в маленьком городке не было простора для подвигов, но рассказы о приключениях Якоба скращивали досуг взрослым, а у нас, ребят, вызывали желание поскорее вырасти и стать отважными моряками.

Когда по утрам он шествовал к берегу, гордо выставив обнаженную волосатую грудь — все равно будь то лето или зима, — казалось, что мимо низеньких окон проплывает распутивший паруса корабль, в кильватере которого идут вереницы видений. Все, что за многие годы пережили в дальних плаваниях несколько поколений молодежи маленького городка, — все каким-то непостижимым образом воплотилось в нем. Когда акулы съели кока в Тихом океане — это Якоб бросился в воду с ножом в зубах и столько их искромсал, что вся маленькая бухта за коралловым рифом окрасилась кровью; это он был взят в плен королевой Помарэ и, женившись на ней, несколько лет правил целым островом людоедов. На теле королевы не было ничего, кроме роскошной татуировки, и она съедала своих детей, как только им исполнялось три-четыре недели. Вот какую счастливую семейную жизнь пришлось ему там вести! Да! Недаром поехал по свету Якоб! Он испытал все ужасы крушения у скалистого берега Южной Америки, — там Якоба вытащили на сушу ковбои при помощи лассо.

И только счастливая рука Якоба провела барку через водоворот там, где океан низвергается в бездну.

О его путешествиях знали только то, что он находил нужным рассказывать сам, когда бывал в настроении,— но больше никто и не требовал: не такой человек Якоб, чтобы ссылаться на свидетелей, спорить или позволить усомниться,— да никому бы это и не взбрело в голову. Якоб сказал — значит так оно и есть. Самые невероятные чудеса превращались в его устах в будничные события.

Не удивительно, что мысли всех невольно обратились к Якобу, когда старый галеас стоял в порту и черпал воду под тяжестью своего каменного груза. Один Якоб мог повести его в Германию, для него это так же просто, как взять щепотку табаку. Однако никто не осмеливался заикнуться ему об этом хоть словечком — «Андреас» ведь не был корветом!

Но однажды утром все устроилось само собой. Казалось, делу помог благодетельный ночной сон, который и прежде не раз выручал маленький городок. Бог знает, как это случилось, только утром разнесся слух, что Якоб собственной персоной поведет галеас в Германию.

Новость была ошеломляющей, и вскоре в лавке Якоба пабллась уйма народа. Все-таки следовало кое-что обсудить. Каким бы их земляк ни был знатоком, да и другие ведь тоже кое-что смыслили по этой части. Некоторые, осмелев, прямо завели об этом разговор с Якобом, но тот сразу же их осадил:

— В Германию? Ха-ха! Спросите мадам Юнгеманн! Она каждое утро переплывает две сточные канавы, когда ходит за молоком!

Делать нечего, пришлось замолчать. Но втихомолку все заранее радовались предстоящему плаванью. Путешествия Якоба всегда превращались в легендарные подвиги, насыщенные романтикой и приключениями; и, конечно, он и на этот раз совершит что-нибудь блистательное.

А Якоб как ни в чем не бывало продолжал заниматься своей торговлей, пока не настал субботний вечер. Тогда он сунул ключ в карман и отправился на корабль вместе с хусманом Косом, который когда-то плавал в качестве корабельного поваренка и умел готовить клецки по-немецки.

Весь город был на ногах, когда они выходили в море: наконец-то они увидят Якоба за работой,— уж очень все

были высокого мнения о нем. И надо сказать, что он не обманул всеобщих ожиданий: команда Якоба гремела, как гром, и можно было диву даваться, глядя, как забегал у него хромой старик Кос.

Когда «Андреас» благополучно вышел в море и попутный ветер наполнил его паруса, Якоб взял курс и посадил на румпель старого Коса. «Главное, держись курса», — сказал он. — Плыть будешь по звездам, а если они скроются, держи по верхушкам мачт. Увидишь Германию — зови меня наверх». — И с видом капитана фрегата, чувствующего себя на корабле, как дома, преспокойно отправился спать.

Кос вел судно вперед и зорко высматривал Германию. Звезды пришли в некоторый беспорядок, но он держал верхушки мачт в створе и с восхищением думал о своем удивительном капитане. Всю ночь он правил и стойко нес вахту, а когда рассвет заявил о себе белым туманом и уже нельзя было ничего разглядеть, он стал напряженно вслушиваться. Помимо всего прочего, Кос немного понимал по-немецки и не сомневался, что он тоже лицом в грязь не ударит, когда они окажутся в Германии.

Ближе к утру ему послышался впереди какой-то неясный шум. Он топнул о палубу, и несколько мгновений спустя наверх поднялся Якоб, закутанный в плащ.

— Ну, вот мы и прибыли, — сказал он и прислушался. — Да! Так я и знал! А ты-то слышишь, Кос? Это немцы. Пока не взойдет солнце, нам лучше бросить якорь.

Кос уступил румпель Якобу, а сам заковылял к якорному шпилю. Но прежде чем якорь коснулся дна, судно село на мель.

— Стоп! Стоп! — воскликнул Якоб. — Мы подошли слишком близко к Германии. Да! Ну что ж, братец, измерим глубину... Бери лот!

В безмолвном восхищении Кос заковылял с лотом от борта к борту. Ну и молодчина же этот Якоб! На все-то у него найдется средство! Измерив глубину со всех сторон, Кос точно выяснил, насколько они засели. Затем путешественники расположились на крышке люка, закурили трубки и стали ждать, пока не рассеется туман.

Время от времени они рассуждали о звуках, доносившихся с берега, и недоумевали, что бы они могли означать, — уж очень они им казались знакомыми.

— Тачка скрипит. Ну в точности, как у нашего Расмуса Келлера,— сказал вдруг Кос и прислушался.— Эх, дорого бы я дал, чтобы снова очутиться дома.

С берега доносился гул голосов, но слов разобрать было невозможно.

— Это немцы,— сказал Якоб.— Они всегда говорят так, точно у них каша во рту.

Вот из тумана, высоко над землей, показался шпиль церкви.

— Посмотри-ка! — воскликнул Кос.— Флюгерный пестух висит на одной ноге! Ну совсем как у нас дома!

— Ей-богу, верно! А посмотри-ка на мол, Кос! Это они с нашего собезьяничали! Он тоже в десять локтей — в точности как у нас!

А туман все редел и редел, и перед изумленными глазами двух мореплавателей постепенно вырисовывался совершенно такой же, как у них, маленький городок с тропинкой вдоль берега, с цветущими кустами бузины в саду Марты и со всем прочим. А окна одного из домов, очень напоминавшего дом шкипера Мортена Андерсена, были снаружи завешены белыми простынями. Это было похоже на сон. Кос открыл рот, чтобы сказать что-то, Якоб тоже — да так и остались оба сидеть, разинув рты и тараща друг на друга глаза. Толпа на берегу все росла, и каждый человек был им знаком.

По лицу Якоба пробежала мрачная тень. Он тяжело поднялся и пошел спустить кормовой ялик. Кос, не осмеливаясь заговорить, сполз следом за ним в ялик и стал грести к берегу. А там, запрудив всю пристань и берег, стояли жители городка. Якоб прошел прямо сквозь толпу — и домой! И никто не осмелился произнести ни звука, никто даже не засмеялся.

Но по мере того, как время шло и путешествие все дальше отодвигалось в прошлое, Якоб начал сам рассказывать о нем. А так как не в обычае было поправлять Якоба, все снова стало на свое место. И постепенно путешествие Якоба с грузом гранита в Германию и обратно за одну ночь было вписано в число его прочих подвигов.

Оно стало считаться даже необычайнее всех других вместе взятых!

ИДИОТ

На другой день после моей конфирмации я опять сидел под соломенным щитом и разбивал в щебень кучу камней, а отец немного поодаль тесал булыжник для мостовой. Все было так же, как и третьего дня, как и неделю назад. Голова у меня с похмелья не трещала, и конфирмация вовсе не была торжественным вступлением в новую жизнь.

Вдруг отец отложил в сторону молоток и сказал:

— Вот что, парень, ступай-ка ты искать себе место. Пора самому добывать кусок хлеба.

Слова эти он сопровождал многозначительным кивком; и хоть я и был предоставлен самому себе чуть ли не с тех пор, как научился ползать, но воспринял речь отца как суровый приговор: мне казалось, что он сбросил со своих плеч тяжелое бремя и взвалил его на меня. Я сложил инструмент, прикрыл его соломенным щитом и послушно побрел под осенним дождем куда глаза глядят.

В Поульскере, куда я добрался в тщетных поисках работы, мне, наконец, посчастливилось зайти на хутор, где, не глядя на мой тщедушный и заморенный вид, меня наняли в скотники. Хутор был довольно большой, и я должен был ходить за всей скотиной; платить мне за это хозяин пообещал двадцать крон за полгода. Теперь в скотники берут здоровых, знающих дело мужчин; труд этот считается тяжелым и ответственным и оплачивается он куда лучше, чем другие крестьянские работы. Но тогда времена были иные!

С детского возраста я приучился окупать трудом каждый проглоченный кусок, и хоть был мал ростом и сложением

жидковат, зато приобрел выносливость: мог подолгу ра-
ботать не уставая и не отлынивал ни от какого дела. И все
же должность скотника была мне не по плечу. Зимой с че-
тырех или с трех утра работаешь без передышки до девяти
вечера что есть силы, а то и сверх всяких сил. Но стоит
упустить какую-нибудь мелочь или, отчаявшись, повесить
нос хоть на минуту, как тотчас вокруг тебя вырастают
непреодолимые горы работы. Начинаешь метаться как уго-
релый, чтобы наверстать упущенное, но скотина — тварь
требовательная: попробуй не задай ей во-время корму —
подымет такой рев и мычание, прямо беда! Тут хозяин,
оставив молодую жену и теплую постель, выскакивает в
одном исподнем на двор и творит над тобой суд и рас-
праву.

Тяжелое то было время; но жалости к себе я не искал
и покорно тянул лямку, как несут свое проклятое ярмо все
подневольные: раз жизнь облегчить нельзя, надо стараться
самому быть нечувствительным к страданиям. Однако я
смутно припоминаю одну вспышку протеста... Вижу себя
в хлесту с веревкой в руках... ищу места, где бы повеситься.
Что-то мне помешало — бык, что ли, сорвался с привязи, не
помню точно. И мне пришлось, как не раз уже приходилось,
поступиться личными желаниями ради долга.

Соседний с нами хутор принадлежал крестьянину, у ко-
торого не мог ужиться ни один батрак. Хозяин был ленив,
ничего не желал делать, но любил сладко попить и поесть,
работников же своих кормил впроголодь и платил гроши.
Под конец он взвалил все хозяйство на деревенского дурачка,
за пропитание которого ему еще вдобавок платил приход.

Я хорошо знал этого несчастного еще в дни моего дет-
ства, — тогда он был молодой сильный парень, моряк и хо-
дил в дальние плавания. Иногда зимой он приезжал на
родину, веселый, жизнерадостный, полный впечатлений
о чужих краях. Но вот однажды прошел слух, будто бы его
сильно ударило по голове сорвавшимся парусом, когда он
в шторм стоял у руля. Конечно, он мог бы увернуться, но
тогда ему пришлось бы выпустить из рук штурвал, а это
грозило бы гибелью судну. Моряк остался на своем посту,
ему проломило череп, и он лишился рассудка. Примерно
так гласила молва. И действительно, его вскоре привезли
домой в тяжелом состоянии, беспомощного, как младенца.

Он уже не мог ничего зарабатывать, и община поместила его на хлеба к тому, кто всего меньше запросил за его содержание.

Ничем не выделяясь с виду, он походил на обыкновенного деревенского батрака, отупевшего от работы, с ним даже можно было поговорить о многих вещах. Но он ничего не помнил о том, что было с ним до несчастья, и ничем на свете не интересовался, кроме водки. Поля обоих хуторов отделяла только узкая межа, и я часто встречался с ним. Завидя меня, он всякий раз спрашивал: «У тебя водка есть?» За стакан водки я, конечно, мог бы приобрести себе хорошего помощника, но в ту пору у меня были основательные причины ее ненавидеть.

В трезвом виде идиот был злым и подозрительным; тогда он всем внушал страх, даже хозяин и тот боялся к нему подступиться. Может быть, в омраченном рассудке парня теплилось неясное стремление к иной жизни, и он заглушал его алкоголем. Хозяин всегда заботился о том, чтобы запас водки не переводился, и постоянно подпаивал несчастного. Но во всем остальном он с ним обращался хуже, чем со скотиной, кормил отвратительно, а для ночлега отвел ему угол в хлеву.

Идиот ничего не требовал, ни на что не жаловался — было бы только хмельное. Это был плотный, широкоплечий малый, и работал он за двоих, а то и за троих — только давай работу и присматривай за ним.

Как-то надо было доставить на пароход молодого быка. Животное было с норовом, и ни сам хозяин, ни батрак не хотели вести его в город. Тогда это дело поручили мне: я уже привык обходиться с этим быком. Хозяин раздобылся и отпустил меня до вечера.

А я, нанявшись на хутор, еще ни разу не побывал дома и такому счастливому случаю, конечно, обрадовался: уж очень я истосковался по матери. Дорогой я горланил все песни, какие знал, и так рьяно подгонял быка, что ему некогда было выкинуть какую-нибудь из своих штук.

Сдав быка, я стрелой помчался домой. Младшая сестренка, свесившись с полатей, подтягивала и опускала за веревку скамеечку для ног; с минуту она смотрела на меня, потом выронила скамейку и подняла рев. Из кухни выбежала встревоженная мать.

— Господи, да это ты, милый мой мальчик! — воскликнула она, всплеснув руками. — Как же ты исхудал! Совсем на себя не похож! Ах, чего только не приходится терпеть беднякам! — Она ходила вокруг меня и любовно оглаживала; и по тому, как она прикасалась ко мне своими дрожащими пальцами, я понимал, что мать мною гордится, — и это придавало мне немного бодрости.

Вечером отец не вернулся с работы домой, и мы чудесно провели время. Мать латала мне рубашку, а я с сестренками вырезывал из старых игральных карт мчащуюся во весь опор русскую тройку и волка, норовящего вцепиться в горло кореннику. Потом на краю стола появилось еще несколько волков, и немного погодя они сожрали сперва ехавших в санях мужчину, а затем женщину с ребеночком на руках. Я совсем позабыл, что пришел к родным только в гости и что пора отправляться на свою каторгу.

— Милые вы мои, да ведь уж скоро девять, а тебе идти-то сколько! — Мать с тревогой выглянула в окно: на дворе стояла непроглядная тьма, бесновался ветер и с берега доносился грозный рев моря.

Странная действительность внезапно обрушилась на меня со всей своей жестокостью.

— Мама! — прошептал я, умоляюще глядя на мать.

Она вздрогнула.

— Господи, боже мой! Неужели тебе так плохо там живется? — воскликнула она. — А что скажет отец, сынок?

Больше ей ничего не нужно было говорить, я молча собрал свою одежку и простился. Когда я плелся по дороге, мать стояла у окна, пытаясь ободрить меня улыбкой, но у нее получалась только жалкая гримаса.

На хутор я решил не возвращаться — что угодно, только не это! Я выскочил на темную улицу лишь для того, чтобы успокоить мать. Но какая-то сила направляла мои шаги в сторону хутора. Видно, это толкало меня проклятое чувство долга, которое крепко засело в сознании бедняков и неизменно заставляет их взваливать на себя все тяготы мира, тогда как блага его достаются другим. Я не собиравшись возвращаться к своему хозяину — и все-таки бежал туда, тихо всхлипывая в виде протеста.

Больше полумили я пробежал, не отдавая себе отчета, куда и зачем бегу. Должно быть, мой детский ум утратил

всякую восприимчивость и на меня нашло то отупение, которое и поныне слишком часто служит единственной защитой обездоленных от несправедливости и обид. Я даже не заметил, как миновал еловый лес и страшную вересковую пустошь. Но затем ночь властно предъявила свои права: я очнулся, увидел обступившую меня темноту, и у меня подкосились ноги.

Есть люди, которые рады оставаться в неведении и поэтому любят мрак, — для них он великий утешитель, заглушающий все резкие контрасты жизни. Но для меня тьма всегда была населена страшными призраками действительности, с которой я отчаянно боролся, особенно в ту пору, когда физические силы мои далеко отставали от умственного развития. Еще в детские годы темнота помогала мне разглядеть то, что так хорошо скрыто от глаз в ярком дневном свете, и, подобно китайским крысоловам, проводящим большую часть жизни в клоаках, я обрел необычайную способность — видеть во тьме. И вот теперь этот страшный мир обрушился на меня, передо мной отчетливо предстали все его ужасы, а я был беззащитен против них. Все, что в детстве меня терзало и мучило, теперь ожило во мраке, приняв самые невероятные и причудливые образы, и готово было поглотить меня, жалкую человеческую песчинку.

Как в припадке, я весь судорожно сжался в комок, но продолжал бежать, бежать без оглядки. Единственное, что меня поддерживало, была мысль о хуторе, скотный двор в те минуты представлялся мне чудесным, спасительным прибежищем. Вдруг мне показалось, что где-то поблизости должен быть человек; на бегу я всматривался в темноту и внезапно упал, наткнувшись на что-то мягкое и большое.

У меня хватило сил чиркнуть спичку. Поперек дороги, мертвецки пьяный, лежал идиот. Я попытался было поднять его, но мне это не удалось. Весь мой страх как рукой сняло, и я пошел дальше.

Вскоре мне попался наш батрак, он проводил свою девушку и возвращался домой. Вместе с ним мы вернулись к пьяному. Вдвоем мы его кое-как поставили на ноги, но заставить его сделать хоть шаг оказалось немислимо: он был настолько пьян, что только мычал что-то, бессильно свесив голову на грудь. «Моя водка... — разобрал я, — где

Это только один из многих эпизодов моего детства. В то время я казался себе тайным преступником и долго еще терзался от страха, что власти доберутся до меня, как до подлинного виновника пожара. Позднее, когда на основе впечатлений детских лет и накопленного жизненного опыта сформировалось мое мировоззрение, образ идиота стал для меня более значительным и вся эта история переросла рамки частного случая.

Мне потом всегда казалось, что был какой-то скрытый смысл в том, что именно я отнял у несчастного водку и, косвенно заставив его поджечь ферму, положил конец издевательствам над человеком.

1909

ПОЕЗДКА АНН-МАРИ

Поздним зимним вечером добрался я до маленькой железнодорожной станции в Западной Ютландии, намереваясь отправиться ночным поездом в Копенгаген, а оттуда дальше — на юг. Погода была отвратительная, дула по-земка, тьма стояла кромешная. В пассажирском зале тоже было темно, висят лампа с приспущенным фитилем горела не ярче ночника, — должно быть, сэкономили керосин. Но зато было тепло.

В углу возле ржавой железной печки приотлилась крестьянская семья: муж, жена и паренек лет семнадцати — восемнадцати. Это были низкорослые кряжистые люди, какие обычно встречаются на тощих землях между дюнами, где природа не балует человека; застывшие лица и угловатые фигуры производили впечатление, какое бывает, когда видишь карлика, — словно в тесную оболочку набили слишком много материала.

Женщина сидела откинувшись в угол, глаза у нее были закрыты, возле рта залегла глубокая складка, которая появляется у людей, привыкших подавлять нестерпимую боль, лицо было мертвенно бледное; мужчины сидели по обе стороны от нее, поставив локти на колени и подперев голову. Когда я вошел, они робко вскинули на меня глаза, но не пошевельнулись, а потом начали шептаться. На всех трех лежал отпечаток необычайного уныния и подавленности.

Я принялся ходить из угла в угол: от закрытого окошечка билетной кассы к противоположной стене зала и обратно. Мужчины перешептывались, наклоняясь друг к

другу над неподвижно торчавшими коленями женщины, и украдкой поглядывали на меня. Наконец, старший поднялся и нерешительно направился ко мне.

— Позволь спросить, ты не в Копенгаген ли едешь? — тихо проговорил он, с волнением глядя на меня.

— Да, в Копенгаген. А что?

Удрученное лицо его прояснилось.

— Вот это повезло! Значит, мы можем попросить тебя прихватить с собой мать, ей нужно в клинику.

Он говорил негромко, вероятно чтобы не разбудить спавшую жену, но в голосе его звучало облегчение. Кивком головы он подозвал сына.

— Этот добрый человек едет в столицу и довезет мать, слышишь, Ханс? Вот гора-то с плеч! — Он проговорил все это буквально захлебываясь.

Им и в голову не приходило, что я могу отказаться; ведь я ехал туда же, куда ехала и женщина, — какой же тут нужен ответ? По одному этому я определил, что они за люди: им, конечно, приходилось вести жестокую борьбу с непомерными трудностями, вот они и считают естественным, чтобы один помогал другому, чем может.

Это были степняки-старожилы из района Ворбассе, хозяйничавшие, вероятно, на одном из жалких маленьких участков, нескончаемым трудом отвоеванных у вереска и тотчас же опять зараставших вереском, стоило им лишь минуту опустить в отчаянии руки. Да, я хорошо их знал, этих людей, не имеющих ничего, кроме голых рук и неистощимой готовности к самоотречению, а потому и загнанных в пустынную степь — с расчетом, что они превратят песок в плодородную землю для будущих помещиков. Необходимость уехать за несколько миль от своего гнезда представлялась им сущим несчастьем — столько забот по хозяйству связывало их неразрывными узами с родным очагом. Они мирились с любой болезнью, лишь бы хворать дома; поездка же в Копенгаген перерастала для них в бедствие, грозившее уничтожить плоды их многолетних трудов. Долго, видно, ломали они себе голову над этой поездкой — даже лица у них одеревенели и скорбно поджались губы. Луч надежды озарил их озабоченные лица: дело как-то улаживалось, — мать попадет в город, и это не будет таким уж большим уроном для хозяйства.

Положение больной было, наверно, серьезно, если они решились на такой необычный для них шаг, как поездка к столичным врачам. Я спросил, что у нее за болезнь.

— Рак, и надо его вырезать, — ответил сын. — Доктор уже давно советовал ей ехать в город, но до самого последнего времени она не соглашалась. Она очень ослабла, и мы с радостью продержали бы ее дома, сколько бы ни пришлось, но сейчас она вдруг набралась храбрости и хочет испытать последнее средство. — Голос его сорвался, и он умолк.

— Нас ведь только трое и есть, и мы всегда жили дружно, — сказал отец, как бы в оправдание взволнованности сына.

Женщина тем временем проснулась, и я подошел поздравиться с нею.

— Смотри, какого знатного кавалера мы тебе нашли, Ани-Мари, он проводит тебя до столицы, если ты будешь с ним ласкова, — шутливо сказал крестьянин, усаживая ее поудобнее. — Это ведь ее первая большая поездка, — добавил он, обращаясь ко мне, — ну, понятно, она немножко треможится.

Женщина улыбнулась мне, но ничего не сказала. Вид у нее был измученный, но глаза необыкновенно живые; несомненно, болезнь подтачивала ее не один год.

В окошечке кассы зажегся огонь, и я пошел брать билет. Крестьянин поспешно нагнал меня и, порывшись в жилетном кармане, протянул мне билет третьего класса.

— Может быть, ты возьмешь вот этот? — сказал он. — Мы купили его Хансу, он стоил, как сам видишь, пять крон тридцать эре, но тебе я отдам его за пять крон ровно. Да возьми заодно и билет матери, — добавил он с мягкой улыбкой.

Я удивился, что они уже успели запастись билетами, но объяснялось это очень просто: боясь опоздать, они выехали из дому сразу после полдника, — ведь расписания поездов у них не было и приходилось ехать наугад. Поезд и в самом деле вскоре пришел, но направлялся он не туда, куда им было нужно.

Касса была открыта, и мы купили билеты, чтобы уж сразу отделаться.

Я содрогнулся от мысли, что больной старухе, уже просидевшей шесть-семь часов на станции, предстоит еще ночь

езды в вагоне третьего класса; но сама она, повидимому, мирилась с этими неудобствами. Она отдохнула и с детским нетерпением ожидала прибытия немного запаздывавшего поезда, при каждом шуме она вставала и хваталась за свои вещи; в манерах ее была какая-то восторженность, представлявшая резкий контраст с ее обликом степенной крестянки,—быть может, предстоящие новые переживания вызвали в ней этот лихорадочный подъем? Она никак не могла успокоиться.

Мужчины, как по уговору, отбросили свое уныние, и все шутили с нею, словно она собралась в увеселительную поездку и они ей немножко завидуют. Так продолжалось, пока мы не сели в поезд, и тут выдержка изменила им.

— Смотри, поправляйся там хорошенько и приезжай поскорее, мать,—сказал муж, протягивая ей дрожащую руку.

Она взяла его руку в свои и, улыбаясь, смотрела на него.

— Вот я и еду одна,—сказала она.—Еще когда мы с тобой были молодыми, ты обещал мне, что мы прокатимся в столицу вместе, а теперь вот я еду одна,—а то бы никогда туда и не попала!

Но тут ей, вероятно, вспомнилась цель поездки, и лицо ее омрачилось. С минуту она сидела с закрытыми глазами, судорожно сжимая руку мужа.—Ну, прощай. И поезжай домой, как бы там чего не случилось,—вдруг проговорила она и выпустила его руку.—А ты, Ханс, подойди и поцелуй на прощанье мать.

Ханс поставил на скамейку корзинку с провизией, положил на нее подушку и смущенно нагнулся.

— Послушай-ка, что я тебе скажу,—услышал я ее шепот: —если у тебя с той девушкой что-нибудь было — женись на ней!

Потом наш поезд тронулся.

Подумав, что больной нужно отдохнуть, я расстелил на лавке свой плед и, положив подушку, предложил своей спутнице прилечь. Но она и слышать об этом не хотела,—может быть, стеснялась. Она сидела совершенно прямо, не прислоняясь к спинке, и покачивалась при каждом толчке вагона.

— Ух-ты, как же мы летим,—повторяла она поминутно, слегка приподымаясь; глаза ее лихорадочно блестели.

Я сложил тогда плед и подушку в угол купе и чуть не насильно усадил больную поудобнее.

— Меня только насильно и заставишь! — сказала она как-то по-детски, доверчиво прислонившись к мягкому углу. — Я ведь упрямая. Отец и Ханс очень уж меня балуют. В тот раз, когда они хотели меня отправить в город, я упиралась; а теперь, когда они хотят, чтоб я осталась дома, я вздумала непременно поехать. Скажу тебе по правде, не верю я в эту операцию, вот ни на столечко! Но мне захотелось посмотреть Копенгаген, пока жива. А далеко до него?

— Не очень, миль сорок.

— Все-таки много! И мы проедем одну только ночь! А какие там дома? Правда это, будто они гораздо выше леборгской церкви и людей в них поднимают на канатах? А проливы, через которые надо переправиться, чтобы попасть в столицу, — они очень большие и глубокие? А острова Фюн и Зеландия? Если ехать днем, будет их видно?

Она откинулась в угол, слушая мои ответы; от волнения, вызванного необычайным событием, ее глаза заблестели, мертвенно бледные щеки покрылись румянцем. Когда я умолк, она широко открытыми глазами вопросительно посмотрела на меня, как бы настойчиво требуя новых диктировок. Но время от времени оживление ее вдруг гасло и лицо становилось землисто-серым. Тогда больная, крепко прижимая руку к животу, застывала в каменной неподвижности и на лбу ее проступали капельки пота. Как только боль отпускала, она снова улыбалась, даже не желая слышать о том, что больна.

— Прямо стыдно показываться в таком виде... это вместо благодарности за то, что ты взялся меня проводить, — промолвила она с трогательной улыбкой, говорившей о том, как хороша была в свое время эта старая женщина.

Она никогда еще не ездила по железной дороге — случая не выдавалось. С того самого времени, когда совсем молодой она вышла замуж, жизнь ее протекала в постоянной борьбе с суровой природой, бок о бок с мужем. Чтобы не погибнуть с голода на своем бесплодном участке, она по колена в холодной воде, выбиваясь из сил, копала летом торф на болоте и что ни год рожала детей. Господь

прибирал малюток, и некогда было даже и поплакать о них. Все-таки мало-помалу им стало житься немного легче, и Ханс, самый младший из детей, уцелел, хотя он и хворал часто. Семеро покоятся на кладбище, но все же остался один, на кого они могут опереться в старости. На участке у них две исландских лошадки и пять коров. За истекшие годы они подняли тридцать тонн¹ целины и теперь добились того, что при большой экономии могут сводить концы с концами. Они получили от сельскохозяйственного союза премию за образцовую обработку земли, о них даже писали в газетах, называли их пионерами...

— Может быть, и тебе тоже попадались эти газеты? — спросила старушка.

Я не решился сознаться, что не читал этих газет.

— А вот теперь вы даже пустились в путешествие, — сказал я.

— Да! И я ничего не делаю, мне прямо ни к чему не позволяют притронуться! — воскликнула она и в подкрепление своего горького торжества откинулась назад и сложила руки на впалой груди. — Доктор сказал, что обо мне надо хорошенько позаботиться, а не то они очень скоро могут меня лишиться. Мне даже нельзя противоречить, все должно делаться по-моему. И пишу мне нужно давать только самую легкую. — Она улыбалась, глядя на меня, сама восхищенная тем, как ей, наконец, повезло. Жизнь пронеслась, оставив нетронутой ее детски-нежную душу, но уже обвела предсмертной тенью лихорадочно-блестящие глаза.

Больших трудов стоило мне втащить ее на паром, она цеплялась за мою руку и ни за что не соглашалась ступить на трап.

— Да ведь мостки так и ходят подо мною, — жалобно твердила она, а на палубе в ужасе вздрагивала при каждом стуке, доносившемся из машинного отделения.

Только когда мы снова сели в поезд, она почувствовала себя в безопасности, ритмический стук колес оживлял ее. Она пронесла мечту об этой поездке через всю свою тяжелую и безрадостную жизнь. Это была прекрасная греза пылкой юности, казавшаяся ей столь же несбыточной, как

¹ Тонна — старинная датская мера земли, около 0,5 гектара.

сказочное путешествие на ковче-самолете. И теперь, когда нагон мягко подпрыгивал, ей казалось, будто она и в самом деле летит.

— Я лечу, я лечу! — то и дело повторяла она одну и ту же фразу.

Наконец-то Анн-Мари полетела, и не одна, а со спутником, в неведомую даль, отрешившись от постоянных и утомительных дел и забот. Поля острова Фюн проносились по мраке за окнами вагона, — самое название острова Анн-Мари произносила с особой торжественностью. Теперь между нею и родными краями пролегла вода — значит она и вправду на чужбине! Остров Фюн! Это здесь такая щедрая земля, а у женщин мягкие руки; здесь стоит только сунуть в землю палку, как из нее вырастает дерево; здесь собирают два лиспунда¹ ягод с одного куста черной смородины; а женщинам, говорят, здесь больше нечего и делать, так только миловать своих сердечных дружков.

Но Анн-Мари мчалась душой дальше, опережая поезд, минуя цветущий Фюн. Минуту назад она равнодушно и молча выслушала, что я собираюсь ехать на юг, а теперь вдруг смело ринулась вперед. Меня немножко огорчало, что она с такой легкостью пустилась в путь одна, — ее мысли были далеко от дома и близких; но, очевидно, она все окончательно выяснила с ними за время своей долгой болезни, со всеми простилась и всем распорядилась — раз никакая, даже самая малая обязанность не привязывала ее больше к дому.

Душа ее со странной непоседливостью стремилась только вперед, во все более светлые края, глаза ее разгорались все ярче и ярче. Ее оживление начинало меня тревожить: я смутно ощущал, что развязка близка. Кроме нас, в купе никого не было, и я решил на первой же станции позвать кондуктора, чтобы не оставаться одному, если с ней что-нибудь случится. Но в следующую минуту я отказался от своего намерения, признав его глупым: ведь в сущности у меня не было никаких оснований для такого беспокойства, кроме того, что она больна раком и едет на операцию, — она даже не проявляла признаков усталости, тогда как я...

¹ Лиспунд — датская мера веса, около восьми килограммов.

Сам я был сильно утомлен и, откинувшись назад, закрыл глаза, собираясь вздремнуть. Она сейчас же замолчала, и немного погодя я почувствовал, как ее рука подсунула мне под голову подушку.

— Тебе хочется спать, — сказала она, когда я открыл глаза. — Чего ради молодому человеку сидеть всю ночь напролет со старухой...

По ее огорченному лицу я понял, что спутником в свое желанное путешествие она избрала меня, я был ее суженый. И этот суженый чуть не изменил ей. Но как ни странно, это меня не оттолкнуло от нее. Ни жизнь, полная лишений, ни заботы не помешали ей сохранить свои невинные девичьи мечты; наивная вера в сказочную прелесть путешествия светилась в ее глазах и придавала ей неувядаемую красоту.

— Уж не поехать ли нам вдвоем на юг? — шутиливо сказал я, погладив ее бескровную руку.

И, боясь, чтобы путешествие бедняжки не оказалось таким же тусклым и безрадостным, как и вся ее жизнь, я стал рассказывать ей о полуденных странах под вечно голубым небом, стараясь изобразить их еще прекраснее, чем в действительности, — такими, как они нам представляются лишь в мечтах.

Когда я умолк, Анн-Мари улыбалась. Она забросала меня ребяческими вопросами, из которых видно было, как своеобразно преломляется у нее в сознании все чуждое ее привычному миру.

— Хорошо лететь с милым дружкой за море, — сказала она, обращаясь к образному народному языку. — Будь я помоложе, я поехала бы с тобой. И, наверное, сумела бы тебя приласкать и приголубить. Но ты не жалея, молодому да здоровому везде хорошо — на свете много нежных рук, которым любо будет перебирать твои шелковистые кудри.

Отсылая меня к счастливой молодости, украшенной любовью, эта чуткая душа пыталась, как видно, сгладить тяжелое впечатление, которое могла оставить по себе.

— Ты не погнушался проводить меня, хворую старуху, в последнее странствие, в награду за это тебя ждет счастье там, куда ты едешь, — сказала она и вдруг взглянула на меня с таким лукавством, каким светятся запавшие глаза людей, отмеченных смертью, дарующей своим жертвам на краткий миг всеведение и мудрость. Глубокие морщины

на щеках обозначались еще резче, словно тоже желая участвовать в этой улыбке,— когда-то на их месте появлялись нежные ямочки.

Но, наконец, Анн-Мари все же впала в забытие. Ночь прошла благополучно, мрак волнующей пеленой окутывал все чуждое ей и незнакомое. Теперь же, когда солнце вставало над далекими башнями столицы, Анн-Мари тихо лежала с закрытыми глазами, и у нее уже не было сил радоваться действительности. Дневной свет словно разрушил волшебство. Приехавшим за нею санитарам пришлось вынести ее из вагона на руках, а меня она не узнавала.

На операционный стол ей попасть не пришлось, она продолжила свое путешествие в далекий, неведомый мир. Прочитав об этом заметку в газете, я не удивился. Анн-Мари столько лет мечтала об этом путешествии, и если оно продолжалось так же, как началось,— не очень уж важно, что оно оказалось для нее единственным.

КАЛИФ НА ЧАС

Мы работали на лесах втроем: я, мастер Ольсен и подмастерье. Моей обязанностью было стоять у блока и кричать вниз: «Подымай! — Потрави немного! — Стоп! — Еще подай!», а потом принимать на шаткий помост кирпич, цементный раствор и распределять все это на двоих. Мой напарник внизу у подножья трубы не успевал наполнять подъемную бадью и ругался. Он был чахоточный, его то и дело одолевала кашель, и ему часто приходилось бегать за штабеля кирпичей, потому что его рвало. Тогда начинали ругаться и мастер и подмастерье, — им не хватало камня или цемента, а я, перегнувшись через леса, передавал их бранные слова по назначению.

Работали мы усердно — впервые нам, борнхольмским каменщикам, привелось строить такую высоченную фабричную трубу, — и дело у нас шло споро и весело. Мы поднялись уже на сто футов, завтра к вечеру должны были довести трубу до ста двадцати футов, приделать колпак и снять леса.

Ольсен выкладывал внутреннюю стенку трубы. Это был низенький пожилой мастер старого закала. Видно было, что он весь поглощен рискованным делом, волнуется и не очень-то уверен в себе; его лицо, обычно спокойное, на этот раз то озарялось самодовольной улыбкой, то выражало растерянность и страх: никогда он еще не работал на такой большой высоте. «Здорово качает!» — восклицал он всякий раз, когда резкий октябрьский ветер ударял о трубу. Если проглядывало солнце, тень от трубы зловеще двигалась

взад-вперед по пустырю, словно огромный палец, выводящий какие-то письмена.

— В другой раз будем строить без лесов, — сказал подмастерье Людвиг. — Поведем кладку изнутри. Так оно пойдет быстрее.

Мастер только покачал головой.

От работы Людвиг зависело почти все. Посвистывая, он смело перегибался через леса, орудуя своим отвесом. Это был бойкий парень и замечательный мастер своего дела. Обучался он ремеслу в столице и, приехав на родину года два тому назад, сразу все повернул по-новому. На простой стене он за день выкладывал три-четыре тысячи штук кирпичей; и старые каменщики, любясь его сноровкой, стояли разинув рты. Но зато и сам он высоко ценил рабочего человека и считал, что давно уже пора поставить рабочих на одну ногу с образованными людьми. Сейчас у него возникла мысль объединить молодежь в клубе, где ставили бы на обсуждение и разбирались социально-экономические проблемы. «Прежде всего, и это самое главное, уяснить себе, чего нам недостает», — захлебываясь, говорил он.

Он был великий фантазер и в свои выдумки вносил широкий размах. Он был глубоко уверен, что рабочий класс ожидает светлое будущее.

— Стоит только захотеть и дружно взяться, — говорил он, улыбаясь ясной улыбкой. — Думаешь, я хуже бы разбирался в книгах и в музыке, чем какой-нибудь коммерсант или чиповник? Все дело в том, что при теперешнем положении вещей у меня нет на это ни денег, ни времени. Нам обязательно нужно организовать рабочих, слышишь, Мортен?

Обслуживая всего двух каменщиков, я подолгу простаивал без дела и так промерзал на лесах, что только и думал о том, как бы поскорее спуститься вниз.

На дороге у пустыря показался парнишка на велосипеде, он помахал нам бумажкой.

— Черт побери, это лотерейная таблица! — уверенно воскликнул Людвиг. — Наконец-то дождались!

И в самом деле, это оказалась таблица выигрышей, и по этой таблице Людвиг выиграл сорок пять тысяч. Он даже выронил инструмент.

— Я, кажется, сейчас смоюсь, мастер — рассеянно промолвил он; и по его взгляду и голосу можно было заключить, что он уже витает где-то и увлечен чем-то новым...

Мастер Ольсен стал было жалобно упрашивать его:

— Да нам без тебя никогда не справиться! И работа-то нам не под силу, и в конце концов ведь ты же нас втравил в это дело.

Но Людвигу было не до того, ему некогда было даже спускаться по лестнице — ухватившись за конец троса, он уже летел вниз, и только колеса блока скрипели под его тяжестью. В тот же вечер он уехал на пароходе в Копенгаген. Какие у него были планы, не знал никто. Ольсену и мне пришлось заканчивать верхушку трубы в меру нашего умения.

Людвиг словно в воду канул; никто не знал, где он и что с ним. Но вдруг имя его вынырнуло в весьма странной связи, снова затерялось и опять вынырнуло, — на этот раз прочно застряв у всех на устах. Кто-то из вернувшихся на Борнхольм видел Людвига в театре страшно расфуфыренным; другой слышал о его связи со знаменитой актрисой; солдат из казармы на Серебряной улице рассказывал, что господа, у которых его милашка служила кухаркой, дали роскошный обед в честь Людвига. Короче говоря, Людвиг ничего не делал, водился только с господами и разгуливал в высоком цилиндре и перчатках! Люди вообще болтали кому что вздумается. Фантазия их заработала вовсю, они клялись и божились, что он стал важным барином; и они готовы были поверить чему угодно.

Я же немного приуныл. Еще зимой мы учились с Людвигом в местной Высшей народной школе; мы поклялись в дружбе по гроб жизни — оба ведь были зелеными юнцами! — все лето работали вместе, вместе переходили с одной работы на другую, вместе жили и столовались и решили, подработав, вместе поступить в крупную ремесленную школу и продолжить свое образование. А теперь он удрал и хоть бы слово черкнул о себе! «Ты-то должен знать, — постоянно говорили мне, — ведь вы были закадычные друзья». И мне, как ни совестно было, приходилось признаваться, что Людвиг так ни разу и не написал мне. В глубине души я рассчитывал, что он не только напишет, но и вышлет мне денег на дорогу в школу, — ведь теперь

он, слава богу, богат. Но он совершенно забыл о моем существовании.

Со временем стало ясно, что светская жизнь совершенно захватила его. Он жил словно в чад и ничего не соображал — большие деньги вскружили ему голову. «Пропапа парень!» — говорили люди. Рассказывали, что он держит экипаж и всюду показывается вместе со своей актрисой; она ввела его в аристократическое общество и даже заставила переменить фамилию. Он выдавал себя за шведского барона — борнхольмский диалект пришелся ему кстати.

К святкам мне удалось прикопить денег и отправиться на трехмесячные курсы при одной ремесленной школе на острове Зеландия. Весною я поехал домой искать работу. Как ни соблазнительно казалось остановиться на денек в Копенгагене, но денег на это не было, и прямо с вокзала я направил свои стопы на пристань, взять билет на первый же пароход.

Я не спеша шел по Главной улице, останавливаясь у витрин магазинов, и глазел по сторонам. Впереди меня шли под руку господин с дамой, по всему видно — влюбленный парочка: такие веселые и счастливые, что я не мог отвести от них глаз. Мужчина был в пальто и цилиндре, а голова дамы совсем утопала в огромном боа не то из меха, не то из перьев, отчего она походила на зобастого голубя; она ворковала и ластилась к своему кавалеру. Я прибавил шаг, желая взглянуть в их счастливые лица, — и узнал... Людвига!

Они как раз входили в подъезд барского особняка, Людвиг оглянулся, узнал меня и кивнул. Я был обижен на него и притворился, будто не заметил, но у Новой Королевской площади он нагнал меня, сильно запыхавшись, видимо он очень обрадовался встрече.

— Вот это здорово! — сказал он, сердечно трясая мою руку. — Я боялся, как бы ты от меня не ускользнул. Понимаешь ли, мне нужно было сперва проводить мою даму.

— Актрису, наверное? — съязвил я.

— Нет, что ты, с ума сошел! Это моя невеста. Чудесная девушка, скажу я тебе! Отец — владелец старинной маклерской конторы, дает большое приданое. Мы скоро поженимся, я войду компаньоном в фирму; мы соединим оба состояния и расширим дело.

— Значит, ты заработал здесь кучу денег?

Он на это мне не ответил и продолжал болтать — ни дать ни взять прежний наш подмастерье у бадьи, — болтал и смеялся, как будто спешил наговориться за все годы молчания, потом затащил меня в роскошное кафе при самом большом отеле, где были лепные потолки, золоченая мебель и громадные зеркала.

— Не правда ли, здесь недурно? — спросил он, удобно располагаясь на диване.

Я признался ему, что чувствую себя лучше в простом трактире.

— Вот она, печать рабства, дружище! — смеясь, сказал он. — Но погоди, я сейчас угощу тебя кое-чем, что тебе наверняка понравится. — Он подозвал официанта и заказал какой-то напиток, названия которого я никогда и не слышал.

В общем, я не мог не подивиться, до какой степени он привык к новому образу жизни. Поминутно он вставал и раскланивался с дамами аристократического вида и вел себя так, будто всю жизнь был графом.

Когда мы собрались уходить, он испуганно схватился за нагрудный карман.

— Послушай, одолжи мне, пожалуйста, десять крон, — шепнул он, смущенно улыбаясь, — у меня нет мелких.

Старый, хорошо знакомый довод, к которому мы всегда прибегали на лесах.

— Да ведь ты такой богач! — изумленно воскликнул я.

— Э, вздор! Те, брат, деньги быстро разошлись. Я давно живу на чужие. Помнишь, мы учили по физике, что кирпич, падающий с пятого этажа, может подбросить другой почти на такую же высоту — так сказать, силою падения. Так и здесь, понимаешь? Допустим, я просадил сорок пять тысяч и могу наделать долгов еще на столько же. А как только я женюсь...

Я дал деньги с условием, что он вышлет их мне со следующей почтой, — я ведь рассчитывал кормиться на них, пока не подыщу работу. Но он, разумеется, позабыл о своем обещании. Впрочем, на работу я устроился сразу же по приезде домой. После того как мы все же достроили фабричную трубу, мастер Ольсен расхрабрился и взял подряд на каменные работы при церкви, и я опять нанялся к нему в подручные.

Однажды в разгаре лета мы все сошлись на лесах передохнуть. Жара стояла нестерпимая, и мы распивали купленное в кооперативной лавочке пиво, поминая умершего на днях чахоточного товарища. Внизу на пыльной дороге показался какой-то малый с узелком подмышкой, он размахивал палкой и распевал во все горло.

— У этого парня, видать, глотка не пересохла, — пошутил мастер Ольсен; и мы все засмеялись. — Но кто это, черт побери! Уж не...

Ольсен не ошибся, это был Людвиг. В одно мгновение он, как белка, вскарабкался по мосткам на леса и, подбежав к нам, швырнул узелок на доски.

— Здорово, мастер! Может, и для меня найдется работенка? — весело спросил он.

Пять минут спустя он, уже в комбинезоне, лихо клаал кирпичи.

Когда мы опять, как бывало, разговорились, я не без некоторого ехидства спросил:

— Стало быть, ты тогда не женился?

— Ах, все это была ерунда! То есть кому это по вкусу... оно, может, и приятно, но что касается меня — благодарю покорно!.. Ну, а что с клубом?

— Клуб, понятно, развалился.

— Надо нам его опять наладить и вообще заняться агитацией. Потому что, должен тебе сказать, все дело в этих прожигателях жизни, все они с жиру бесятся, роскошествуют за счет бедняков.

Людвиг знал это теперь и по собственному опыту. Впрочем, он быстро оставил свои аристократические замашки, сохранил свой веселый нрав и никогда не жалел, что пустил на ветер сорок пять тысяч.

Он испытал жизнь «калифа на час», но, кажется, ему не меньше нравилось стоять на лесах и смело взирать оттуда на будущее.

РАЙ

I

Сразу же у восточного склона вересковой пустоши, в доброй полумиле от морского берега, расположено очаровательное маленькое поместье, носящее название «Рай»; оно спрятано в углублении горного плато и занимает всю крошечную долину, образуя цветущий оазис среди синеющих горных просторов. Долина засеяна зерновыми, корнеплодами и травой, как в обычном крестьянском хозяйстве, но дальше высокий, похожий на кипарис, древовидный можжевельник стоит, как часовой, у подножия отвесных горных громад; чья-то умелая рука любовно взлелеяла все созданное природой, окружила заботой пышно разросшиеся дикие растения и насадила новые.

Все экзотические виды растений, представленные борнхольмской флорой, отлично привились здесь. Жимолость не стелется по земле, а вытягивается до вершущек старых деревьев и оплетает лес висячими зелеными лианами, поднимая пламенеющие факелы цветов вверх, на солнечный свет. Ползучая ежевика и дикий плющ взбираются на крутые утесы, а на высоких каменных глыбах пылают цветы шиповника.

Все это создано здесь самой природой, а местами меж скал разбросано множество мелких невзрачных растений, ближайших родственников которых можно найти только у подножия южных склонов Альп. Бережная человеческая рука любовно похозяйничала здесь, убрала все сорняки и

превратила пустыню в естественный сад с карликовыми плодовыми деревьями на пологих, защищенных от ветра склонах и редкостными южными растениями, приютившимися в расселинах камней. В долине произрастают смоковница, тутовое и лакричное дерево; виноградная лоза раскинула гроздья по скале, где их припекает солнце; вечнозеленый японский плющ покрыл своей пятнистой листвой отвесные стены утесов.

Видимо, все это посажено не очень давно, даже самые высокие деревья еще не вытянулись настолько, чтобы листва их выглянула из расселин. Можно долго бродить по пустоши, так и не заметив, что совсем неподалеку находится маленький рай; внизу же, в городе, лишь очень немногим известно, что он вообще существует.

«Рай» принадлежит теперь старому, седому крестьянину-богатею из Горного хутора, расположенного по другую сторону пустоши, в полумиле пути отсюда. Свой хутор он передал младшему сыну, а сам поселился здесь. Он отлично понимает, что «Рай» на редкость превосходное поместье, и как нельзя лучше хозяйничает в нем. Но сам он ничего здесь не создал, а пришел на готовенькое.

Маленькая плодородная долина имеет свою историю возникновения, до странности совпадающую с историей самой земли.

Первоначально это ущелье, подобно встречающимся здесь многочисленным другим, представляло глубокую горную расселину с крутыми стенами, образовавшуюся еще в пору возникновения Борнхольма из расплавленной магмы. Гора здесь состояла из мягкой, податливой породы, а солнце, дождь и мороз еще в давние времена сделали то, что постепенно ущелье выравнивалось: под их воздействием наверху откалывались большие глыбы и скатывались вниз, так что постепенно склоны ущелья стали пологими, выветрившаяся порода засыпала ущелье, а на дне долины возник ручеек. С течением времени по обоим берегам ручейка раскинулись зеленые луга. Птицы и ветер принесли сюда семена и засеяли неприступные склоны ежевикой, терновником и дикой вишней. Появился ясень,— выбрав плодородные местечки на самых головоломных кручах, он разросся, широко раскинув густую листву под открытым небом, сетью своих корней оплел большие накренившиеся

каменные глыбы — кажется, стоит присесть на них птичке, и они потеряют равновесие и сорвутся. Следом за ним поползли вереск и белена, покрывая дно долины. И на этом закончилась первая глава истории возникновения «Рая», а заняла она примерно полмиллиона лет.

Почти полвека тому назад пришли и поселились здесь двое молодых людей, мужчина и женщина. То были крепкие, здоровые отпрыски батрацкого племени, служившего крестьянам с тех самых пор, как историей отмечено возникновение этого сословия. Пришли они с больших хуторов, разбросанных по окраинам вересковой пустоши и упорно въедающихся в нее. И сами эти люди и их предки всю жизнь свою потратили на то, чтобы возделывать землю для других.

У молодой четы — Мунка и его жены — зародилась дерзкая мысль: перестать работать на других и завести собственное хозяйство. Ради этой цели они трудились и экономили с самого дня своей конфирмации, а потом поженились. Вдвоем они обладали капиталом в шестьсот далеров. На эти деньги можно было купить маленький хусманский домик с клочком земли, достаточным для прокорма одной коровы и двух свиней, но слишком ничтожным для того, чтобы завести более крупное хозяйство. Они же чувствовали, что им по силам взяться бы и за большее, но так как на приобретение чего-либо получше денег не хватало, то они принялись за голую скалу.

По существу, избранная ими долина никому не принадлежала. Это была первобытная почва, остававшаяся нетронутой со времени сотворения мира и никого решительно не интересовавшая. Однако владельцы Горного хутора вдруг почему-то решили, что долина должна принадлежать им. Правда, у них бумаг на владение не было, но хуторяне на протяжении многих поколений собирали в этой долине вереск и пасли там овец, — начальство решило, что это доказательство не хуже любого другого. И тогда двое новоселов купили долину у владельца Горного хутора за две тысячи крон. Одну тысячу они выплатили наличными, а на другую выдали бессрочную закладную на участок, обязавшись платить проценты в размере десяти бочек овса в год. Таким образом, долина, где было около двадцати тонн земли, перешла в их собственность, и, предвосхищая

будущее, они называли ее «Раем». На оставшиеся у них двести крон они купили внизу в поселке старый дом из решетчатых ферм, разобрали его и вновь поставили у себя в долине. Прodeлали они все это без посторонней помощи; большую часть материалов Мунк перетаскал на собственной спине.

А потом оба рьяно принялись за дело. Были они совсем молодые, жадные на работу, вдобавок одержимые мечтой о счастье, — два таких человека пробились бы где угодно! Муж никогда не выпивал, даже не курил, — сама затея их служила достаточным стимулом для возбуждения энергии. Днем Мунку приходилось работать по хуторам и на строительстве дорог, а жена копалась в земле, и, вернувшись домой, он сейчас же принимался ей помогать. Они вставали чуть свет, работали от зари до зари, и в будни и в воскресенье, будто не зная усталости. Они расчищали заросли вереска, который шел на топливо и кровельный материал, выдергивали бурьян и кустарник, взрывали и раскидывали мешавшие валуны и обрабатывали узенькие полоски пашен между длинными грядами камней. Веками разраставшиеся, густо переплетенные корни стойко противостояли быстрому разложению почвы, однако перегной, уже образовавшийся к моменту прихода новоселов, был хорош. Они набирали его из трещин в склонах скалы и проращивали в нем семена, и то, что потом высаживалось в грунт, хорошо оплачивало затраченный труд.

Но дело подвигалось медленно — природа здесь неподатлива, вся пустынь восставала против них. Не успевали они порадоваться, что одолели какой-нибудь клочок земли, как изначальная ее природа уничтожала плоды их работы: дожди и солнце оживляли семена и корни сорняков, которые они считали давно погибшими, — и пустыня снова объявляла бой земледельцам, им опять приходилось отступать. И борьба начиналась вновь и вновь.

Требовались также деньги на орудия и удобрение, на наем рабочих лошадей; большая часть заработка мужа за поденную работу уходила в каменный грунт. И хотя Мунк с женой питались одним хлебом, сил у них хватало, — перед ними брезжила заря новой и счастливой жизни. Проливаемый ими пот орошал их собственную землю и точно обновлял неустанно их силы, так что они даже пели за работой.

Вся героическая история бедняка сложилась в его извечной борьбе за клочок земли — эти же двое чувствовали себя чуть ли не земельными магнатами. Они были попросту непобедимы и год за годом продолжали неутомимо работать — поднимали проросшую корнями целину и помногу раз переворачивали ее, взрывали скалу и на ее месте обрабатывали поля, пахали, боронили, сеяли. Крестьяне, неизменно из рода в род хозяйничавшие на собственной земле, с ужасом смотрели, сколько рабочей силы может поглотить пустыня, не обнаруживая при этом заметной перемены.

Все же мало-помалу дело налаживалось, и наступил, наконец, день, когда в благодарность за вложенный труд участок стал их прокармливать. И случилось это как раз во-время, потому что, хотя Мунку минуло всего лет тридцать пять, избыток его сил подходил к концу — выносливости его уже не хватало на то, чтобы работать днем на стороне, а ночью дома.

Около этого же времени жена родила сына; возня с ребенком отрывала ее от работы, но со временем это должно было окупиться, — они сосредоточили свои надежды на сыне и назвали его Петером.

Под пашней у них было десять — двенадцать тонн земли, и они держали для ее обработки пару кобыл, которых выгоняли пастись на вереск. Если бы у них была возможность вкладывать в землю необходимое количество минерального удобрения и труда, все было бы превосходно, урожай они снимали бы замечательный, но, отказавшись от работы на стороне, они лишились денег, а юношеская энергия и уверенность в собственных силах у обоих уже побавились.

У них зародилось некоторое сомнение в своей непобедимости, — с большой неохотой, но они все-таки допускали, что сил у них может и не хватить на все. «Будем лучше держаться того, чего уже добились, — говорили они друг другу, — и подождем распаивать остальное, пока не подрастет мальчуган». Они на опыте познали грозную силу пустыни и перешли к обороне. И это было умно — сил у них оставалось ровно столько, чтобы удержать свои позиции.

Так прошло несколько лет без особых перемен. Пустыня, затаившись, подстерегала их, выжидая малейшей

оплошности с их стороны или какой-либо незадачи. Они знали это и были всегда начеку; однако бодрости это не придавало.

Однажды, ворочая зимой каменную глыбу, которую надо было взорвать и разбить на щебенку для шоссе-рых работ, Мунк придавил себе палец. Жена промыла палец водкой, перевязала, и Мунк снова взялся за работу. Но рана воспалилась, и пришлось обратиться к врачу. Весь тот год он работал только вполовину против прежнего, и пустыня сейчас же воспользовалась этим, чтобы заявить о себе: там и сям на дальних полях появились вереск и папоротники; сначала они осторожно выглядывали на свет — и вдруг раскидывались целыми шатрами. Мунк упрямо обрушивался на сорняки, жена бросала работу в доме и спешила ему на помощь; все же справиться с бедой было невозможно: сорняки опять заплетали землю густой сетью своих корней, — казалось, они обладают не одной жизнью, а целыми семью. Новоселы же пока справились только с двумя полями — дела хватит еще надолго.

В один прекрасный день они решили забросить дальние поля. И вот с той поры природа стала осиливать их — медленно, но верно. Пришлось им отдавать обратно свой маленький участок клочок за клочком. Я не стану описывать это отступление, хотя известно оно мне, пожалуй, еще лучше, чем их завоевательное шествие, — да в те времена такой исход был как нельзя более естественным. Наконец, неудача сломила их — во всяком случае Мунка; возможно, в этом крушении он терял больше, чем его жена, — как бы то ни было, он запыл. По временам он брал себя в руки и отчаянно набрасывался на работу, не щадя своих сил, хотя такие порывы случались все реже и реже.

С того года, когда он забросил последнюю полоску перед домом и окончательно сдался, он перестал быть человеком, — понятное движение он совершал вместе со своей землей, превращаясь из дельного и полного надежд труженика в лодыря. В общем они с женой прожили здесь двадцать пять лет; чтобы снова стать пустыней, земле потребовалось столько же времени, сколько потребовалось им на то, чтобы превратить ее в пашню, — так упорна была их обоюдная борьба. Спуск под гору был во всех смыслах особенно трудным.

Немного подальше, за большим лугом, где я пас весной скотину, пока не ввели в эксплуатацию городской выгон, стояло длинное унылое строение с голыми окнами и множеством труб — дом призрения бедных. Он казался еще безотраднее оттого, что его поместили так далеко в стороне от всякого жилья, словно забросили в каменную пустыню.

Там супруги Мунк и жили во времена моего детства. Сын Петер стал взрослым и где-то служил, и у них родился еще мальчик; в тяжелом похмелье отец называл его «выродком». Мальчуган каждый день прибежал ко мне на выгон — мать прогоняла его из дому — и помогал мне присматривать за скотиной, а я щедро делился с ним своими припасами. Полагающуюся мне бутылку молока я отсылал с ним его матери, а когда бывало сыро и холодно, мне возвращали ее наполненную чудесным горячим кофе.

Звали его Ларс. Одиннадцатипалый Ларс — потому что на левой руке у него было шесть пальцев. Позднее наука установила, что лишние пальцы служат якобы признаком вырождения, но в то время мы просто-напросто думали, что лишний палец дан Ларсу затем, чтобы люди его остерегались: дело в том, что Ларс был нечист на руку и подводил под это некую моральную основу. Он никогда не унижался до нищенства, но считал непристойным для здорового мальчика голодать, пока на свете имеется достаточно еды.

Вообще-то говоря, он был кем угодно, но только не выродком. Закаленный малый, он оборонялся против суровых условий жизни крепкими кулаками. Мать носила его под сердцем в ту пору, когда хозяйство у них разваливалось, и первые удары он получил еще раньше своего появления на свет. Все же он выжил и, едва научившись ползать, сам выработал для себя правила поведения. В первые годы жизни он всегда старался скрыться с глаз, чуть только отец появлялся в фарватере; но в ту пору, когда я с ним познакомился, у него уже хватало храбрости не убегать и принимать на себя пинки, предназначавшиеся матери, и он часто ходил со следами расправы от свинцовых кулаков отца.

Силой он мог похвастаться — и не только физической. Окружавшие его бесправие и произвол помогли ему выработать в себе своеобразное и стойкое чувство справедливо-

сти. Деревянными башмаками он поддавал сильные пинки, но никогда это не случалось зря. Сам себя кормивший нищенскими крохами, набравшийся крепкого здоровья, не смотря на болтушку мать и спившегося отца, он предстает предо мною как доказательство неистощимой благодати жизни.

Мать он защищал просто потому, что она была слабой,— он не очень-то дорожил ею. Ко времени его рождения она совсем опустилась, погрязла в мелочах и постоянно сосала что-нибудь сладкое. Наверное, это были последние жалкие попытки подсластить свое существование. В мире бедняков судят о вещах не с исторической точки зрения, а ограничиваются установлением причины человеческих пороков: стало слишком тяжело жить. Но там же процветает и снисходительность,— вещи принимаются такими, каковы они есть; и люди утешаются тем, что могло бы быть еще хуже.

Прошлое Мунка было известно только крестьянам, жившим по соседству с пустошью; у нас в городке он слыл просто отъявленным пьяницей,— здоровенный верзила, он вечно бахвалился и предоставлял заботу о своей семье и себе самом попечительству о бедных. Взрослое население городка никогда не заглядывало на вересковую пустошь, мы же, мальчишки, забирались туда и, бродя в долине между скалами, видели полуразвалившийся дом, служивший теперь приютом пастухам, и только дивились полям и канавам, отчетливо проступавшим из-под вереска, как проступают контуры тела из-под наброшенной на него простыни; что там раньше было, мы не знали. Участок все еще числился за Мунком, так как никто не додумался его отобрать; и в полупьяном угаре Мунк этим хвастался. Случалось также, что он исчезал на несколько дней; это время он проводил на своем участке и копался в земле,— она все еще притягивала его. Возвращался он оттуда всегда под хмельком.

Между Ларсом и мною завязалась такая неразрывная дружба, какая возможна только в десяти-двенадцатилетнем возрасте. В силу своей большей опытности, верховодил он; я восхищался им, и оба мы восхищались его старшим братом. Тот служил где-то в полумиле пути к югу от наших мест, и я никогда его не видал, но рассказывали, будто он каждый

вечер выгонял в поле старика Валентина, бедного хусмана, жившего рядом с хутором, а сам шел ночевать к его молодой жене. Старик Валентин всю ночь бродил с заряженным ружьем вокруг дома и целился во все окна. Это было ужасно интересно, и мне очень хотелось увидеть героя этого романа.

Однажды Ларс сообщил мне, что брат вечером придет домой. Я никогда не бывал у них, ведь они жили в богательне, а туда заходят неохотно. Но я не мог совладать с собой. Едва пригнав домой скотину и заперев ее в хлев, я помчался к Ларсу, даже не съев каши с молоком, полагавшейся мне на ужин. Условия их жизни оказались самые жалкие: Ларс готовил себе на плите какую-то еду; мать его сидела на корзине с торфом и вяло следила за ним взглядом, посасывая кусочек ячменного сахара. Кофточка на увядшей ее груди распахнулась, и я с изумлением увидел, что она прячет свои лакомства за пазухой; от теплоты ее тела леденцы таяли, и, когда она двигалась, я замечал, как они липнут к ее коже и к платью. При малейшем звуке она вздрагивала и принималась говорить о муже наполовину насмешливым, наполовину злобным тоном.

— Слава богу, это ты, а не кто-то другой, — сказала она при появлении своего старшего сына. — Ты так топаешь, что мне стало совсем жутко.

Петер быстро прошел через кухню в комнату и бросил на стол узел с бельем.

— Вот тебе работа, мать, — заносчиво сказал он. — А деньги получишь после дождичка в четверг.

— Да, у тебя добрая душа, — с горечью ответила мать. — Грязь свою ты аккуратно приносишь домой, но ничего другого от тебя что-то не видно.

Петер засмеялся.

— На вот, черт поberi! — сказал он, швырнув на стол одну крону. — Она у меня последняя.

— Ты ведь немного побудешь у нас сегодня? — спросила мать, видя, что он не садится. — Хотя бы до тех пор, пока отец вернется и уляжется. Он все это время ужасно безобразничает.

— Мне некогда, я должен быть дома к одиннадцати.

— Ну да, верно у Валентиновой молодки?

Петер засмеялся:

— Спроси у нее, мать, тогда узнаешь.

— Уж что знаю то знаю. А тебе надо бы поостеречься его самопала. С ревнивыми мужьями опасно связываться, особенно с такими стариками.

Мне показалось, что, предостерегая сына, она как будто даже гордилась им.

Петер не ответил, а только многозначительно улыбался, продолжая стоять.

— Ну, надо мне собираться, — сказал он, наконец, взявшись за шапку.

Он был здоровый, толстощекий и румяный парень с маленьким вздернутым детским носиком, вырез круглых нешироких ноздрей был обращен кверху; весь он так и сиял задором.

— Да? Ну так смотри же поторапливайся, — язвительно воскликнула мать. — Сейчас может как раз явиться отец, а он посулил хорошенько с тобой расправиться.

— Ах, вот как, — нерешительно промолвил Петер. — Я, впрочем, должен ему несколько колотушек еще с детских лет. — Он стоял, все еще не решив, уходить ему или оставаться.

— Я посоветовала бы тебе попридержаться сдачу еще на некоторое время, а то ведь палка-то о двух концах. С отцом еще невыгодно мериться силами, — как он ни пьянствует и ни куролесит... А спрашивал он про тебя много раз. Так что не советую тебе попадаться ему на глаза.

— Да неужто? — спросил Петер и решительно сел. — Нет, прошли уж те времена, когда я принимал от него побои, и паверняка больше не вернутся. Ну-ка, свари нам кофейку, мать!

Мы, мальчишки, побежали в город за хлебом.

Когда все сидели за кофе, в комнату, пошатываясь, ввалился Мунк. Жена хотела поспешно убрать посуду, но Петер не позволил ей встать с места.

— Ага, вы тут сидите и угощаетесь, а мне ради этого приходится выбиваться из сил, — проговорил Мунк, наклонившись над столом. — Чего же вы молчите, а? — Он оглядел всех по очереди, заметил вдруг жену и грузно опустил кулак на ее плечо.

Она согнулась под его ударом.

— Не лучше ли тебе взяться за меня! — сказал Петер и быстрым движением повернул отца лицом к себе.

Вторично я встретился с Ларсом в годы ученичества, в главном городе острова. После работы все ученики-мастеровые собирались где-нибудь подурачиться — так же, как слетаются стайки скворцов. Собравшись, мы куролесили всю и страшно веселились; приятной компанией нас, конечно, нельзя было назвать.

Одиннадцатипалый Ларс обучался кузнечному делу и был у нас заводилой. Тень, омрачавшая его детские годы, неизменно сопровождала парня и теперь, — все знали, что он выходец из богадельни. Это обстоятельство отнюдь не поднимало его в глазах окружающих, — он возмещал недостатки своего социального положения личными качествами и не только завоевал уважение к себе, но и стал общепризнанным вожаком благодаря своим увесистым кулакам и смелым проделкам. В нем текла кровь древних викингов, он всегда был впереди.

В летние вечера нашим сборным пунктом была площадь перед гаванью или купальный пляж у южных дюн, а зимой — театр. В темном пакгаузе, где ютился городской театр, мы, словно крысы, шмыгали под полами, на чердаке — повсюду. Мы знали вдоль и поперек темные подвалы, проникали из старых садов в окна подвалов и выбирались наверх через подъемные люки и суфлерскую будку. Не было представления, на котором мы не присутствовали бы бесплатно. Если иной раз контроль усиливался, мы покупали тогда в складчину билет на галерку, собирая по два эре с человека. Одиннадцатипалый Ларс забирал билет и шествовал через главный вход, как важный барин, сопровождаемый полсотней завистливых глаз. Он клялся всеми святыми, что отодвинет засов у запасного выхода, — и делал это, несмотря на все препятствия. Ни на кого из всех нас нельзя было целиком положиться, Ларс же считался настоящим ловкачом и носил это звание с честью. Гастролирующие трупы иногда бывали очень придиричивы, тогда нам приходилось пропускать первый акт. Но в антракте, когда граждане с непокрытой головой потоком устремлялись в переулочек и бесцеремонно завладевали стенами домов, мы прятали шапку под куртку и развязно входили следом

за другими, заканчивая на ходу свой туалет, точь-в-точь как они.

Однажды зимой весь городок был совершенно выбит из своей обычной колеи слухами о том, будто феноменальное явление природы — магнетизер, обладающий таинственными способностями, — снизойдет до посещения острова и даст в городском театре три представления. Об этом возвестил под барабанный бой герольд и расклеенные на перекрестках афиши, а газеты трубили о мировой знаменитости. Им легко было находить громкие слова: магнетизер ехал прямо из столицы, где вся печать превозносила его до небес.

На этот раз все наши хитрости оказались излишними. Первое, что предпринял магнетизер, — это завязал сношения с тремя-четырьмя из числа самых заядлых театральных зайцев, и в воскресенье утром мы все, человек двадцать — тридцать, сошлись в театре. Впервые в жизни мы должны были сами участвовать в представлении и торжественно выступили на генеральной репетиции. Магнетизер умел обращаться с молодежью. Разучив с нами роли, толстый бородач в заключение произнес нам маленькую проповедь и напомнил об отличительных качествах молодца-парня — умении соблюдать тайну и быть бойким. Это было совершенно излишне, каждый из нас и без того был готов выполнить свою обязанность.

Мы все получили по билету и должны были разместиться среди публики; когда зрителей вызывали на сцену, нам полагалось находиться в их числе — совершенно случайно, разумеется. Все это было сущим праздником для бойкого мальчишки — ведь весь город окажется в дураках, вот так фокус!

Днем, сразу же после церковной службы, люди устремились к театру; второе проявление таинственных сил было назначено на восемь часов вечера. Зал был набит до отказа, необыкновенный человек сначала обращается с речью к публике и разъясняет свойства своих редкостных сил, приводя примеры их феноменальности. По временам он попросту не решается думать, боясь, как бы люди, находящиеся поблизости, не сделали того, о чем он думает, и не загубили себя на всю жизнь. Так, например, однажды в Гибралтаре он давал большое представление на набережной, где присутствовало много высокопоставленных особ, среди них сын

индийского раджи. Пока магнетизер возился с медиумами, ему вдруг пришла в голову сумасбродная мысль: а что, если я сейчас прикажу им прыгнуть в воду? Он тут же отбросил эту нелепую мысль, но индус уже успел побежать к причалу и бросился в море. Затем потрясенное собрание узнает, что примерно две трети присутствующих восприимчивы к силе магнетизма — в большинстве случаев мужчины, а с женщинами здесь, как и во всех других областях, совершенно невозможно справиться! Из мужского пола опять-таки наиболее податливы мальчишки-подростки. Магнетизер делает несколько плавных движений, как бы для того, чтобы утихомирить бушевавшие в нем силы, и приглашает желающих подняться на сцену: «Это совершенно безопасно! Совершенно безопасно!»

От первого ряда стульев к рампе проложены мостки. Двое из наших «зайцев» пробираются по мосткам на сцену, затем появляется верзила-водолаз Стрем, не боящийся ни бога, ни черта, и, наконец, Кнуд — долговязый приказчик, любимец всего города. Где можно быть ему, там могут находиться и другие, и вскоре сцена забита народом. Можно начинать представление.

Каждому из нас вручается черный диск со вставленным в него стеклорезным алмазом; мы должны сидеть и смотреть на него, пока не впадем в гипнотический сон. Маг расхаживает с необычайно сосредоточенным видом и проверяет результаты; неподходящие медиумы устраняются — таинственным критерием является легкое дрожание век. Вскоре на сцене остается только его отборная гвардия, и потеха начинается!

Один мальчуган разевает рот и — о чудо! — не может его закрыть, пока великий чародей не коснется своим магическим пальцем мышц, управляющих движением челюстей мальчугана. Другой должен сидеть высунув язык, третий погружается в сон и того и гляди свалится со стула. Публика забавляется напропалую. Затем магнетизер принимается за самого рослого и здорового из ребят — это Ларс, он лежит, опираясь затылком на один стул, пятками на другой. Магнетизер садится ему на живот. Зрители затаили дыхание.

— Он не может согнуться! Может только переломиться! — говорит маг и в испуге соскакивает с Ларса, так

как в теле у того что-то начинает потрескивать и «центр тяжести» у него опускается.

В конце концов это становится чересчур однообразным, обстановка предоставляет возможности для кое-чего и забавней. Один из спящих принимается храпеть, а остальные вторят ему, так что воздух сотрясается, хотя при гипнотическом сне этого не положено. Магнетизер на минуту смущается, потом, не найдя иного выхода, решительно присоединяется к игре. Он бежит взад и вперед, и, едва заметит, что мы начинаем проказничать, он тут как тут, словно мы подчинялись его тайным приказаниям; он непрерывно мечется по сцене и играет нами, двадцатью — тридцатью плутишками, как если бы мы были клавишами рояля, но потихоньку он ругается и грозит расправой, пока, наконец, мы все не впадаем в спокойный гипнотический сон.

— Вот мой триумф! — в изнеможении говорит маг публике, вытирая со лба пот. — Прошу вас заметить, сколько требуется труда даже для человека, обладающего незаурядной волей, чтобы удержать одновременно тридцать медиумов в различных состояниях гипноза. Но вот теперь они спят все.

Вдруг он обрушивается на меня.

— У тебя горят волосы, туши скорее, мальчик! — кричит он.

И я с хорошо разыгранным ужасом хватаюсь за голову. Зрители смеются.

— А сейчас загорелась твоя куртка! — кричит он опять. — Сбрось ее.

Но это было безусловной оплошностью: мы, ученики-мастеровые, не носили под курткой рубашек даже и по воскресеньям.

— Этого я не могу! — обиженно бормочу я.

— Эй, ты! Проснись! — вопит он и с такой силой дует мне в лицо, что меня передергивает от неприятного ощущения.

Чародей перебегает к другому и дает ему картофелину:

— Вот тебе яблоко, кушай!

Мальчик косится на сырую картошку.

— С кожей не стану, — говорит он помолчав.

— Ага, он видно из аристократической семьи! — вос-

кликает магнетизер и протягивает ему свой перочинный ножик.

Зрители громко хохочут и в то же время удивляются, потому что мальчик и в самом деле незаконный сын одного копенгагенского сановника, сплавившего его в наши места.

Одиннадцатипалый Ларс избран для заключительного номера программы и после проделанных над ним пассов засыпает вторично.

— Вот теперь ему можно вскрыть живот, выпустить кишки и опять зашить, а он ничего не почувствует. Но только это карается законом, — говорит магнетизер. — Поэтому придется нам удовольствоваться тем, что мы воткнем ему в тело булавку. Не желает ли кто-либо из уважаемых горожан сам проделать этот опыт?

В рядах подталкивают одного почтенного обывателя, он польщен общим доверием, но все же колеблется.

— Воткните вот сюда, где помясистее, мальчик этого совершенно не почувствует! — уверяет магнетизер.

Сомкнутые веки Ларса чутьчку вздрагивают, вообще же лицо его остается совершенно неподвижным: он ведь притерпелся к побоям, а если будет лежать спокойно, то получит крону, тогда как остальные из нашей компании стараются только ради чести.

То был гвоздь представления — булавка до самой головки вонзилась в тело Ларса! Сообщив в нескольких словах о необычайных чудесах, которые будут показаны на вечернем представлении, великий маг раскланялся с публикой и удалился.

После представления все мы, исполнявшие разные роли, собрались за кулисами для получения инструкций на вечер. Магнетизер заявил, что он повторит ту же программу.

— Вы все отлично выполняли, — похвалил он. — А теперь идите домой и покушайте, чтобы во время представления у вас не урчало в кишках.

Ларс медлил, он желал получить заработанную крону, но великому человеку было некогда.

— Получишь вечером, — сказал он и выставил мальчика за дверь.

Тогда Ларс побежал догонять нас.

— Это настоящий мошенник! — сказал он. — И я не по-

нимаю, как это вы соглашаетесь участвовать в его плутнях? Меня он во всяком случае больше не увидит.

Вечером Ларс все же пришел, но выражение его лица не сулило ничего хорошего.

— Что же, получу я свою корону? — первым делом спросил он.

— Потом, милый мой, поозже! — ответил магнетизер, периню перебегая с места на место.

Вечернее представление началось и было точным повторением дневного. Нам, мальчикам, довелось быть свидетелями необычайной человеческой глупости и умения ее использовать, и мы горели желанием еще раз хорошенько поиздеваться над нашими тиранами — городской буржуазией.

Но ничего из этого не вышло: магнетизер совершил огромную ошибку, забыв о неуплаченной кроне. Он подошел к Ларсу. Тот сидел, уставившись в данную ему призму, на его лице застыла какая-то особая сосредоточенность, относительно которой трудно было сказать, вызвана ли она гипнотическим состоянием, или же парень о чем-то напряженно думает. Когда магнетизер запрокинул ему голову назад и прикоснулся к его подбородку, Ларс моментально разинул рот и высунул язык; но сделал он это с каким-то злорадством — выражение его лица меньше всего говорило за то, что он спал. Магнетизер растерянно взглянул на него и второпях хотел водворить ему язык на место, но задача эта оказалась для него явно непосильной. Он пытался проделать это раз за разом, бормотал сквозь зубы злобные угрозы и весь побагровел от бешенства — ничего не действовало, Ларс все продолжал сидеть, показывая язык зрителям, а его обращенное кверху лицо все больше и больше расплывалось в широкую наглую усмешку.

Публика смеялась и шумела, нечего было и думать переключить ее внимание на другие таинственные явления. Магнетизер попытался спасти положение, произнеся маленькую речь о том, что иногда можно так загипнотизировать субъекта, что потом и сам бываешь бессилем его разбудить. Это звучало довольно правдоподобно, но факт оставался фактом — парень все сидел, корча свою идиотскую гримасу; мы же все, позабыв, что загипнотизированы, смотрели на него во все глаза и тоже потешались. Сообра-

жив, должно быть, что битва окончательно проиграна, магнетизер быстро объявил, что представление окончено, и скрылся за кулисы. В спешке он забыл нас разбудить, да теперь это было, пожалуй, уж излишне. Последнее, что зрители видели на сцене,— это гримасу одиннадцатипалого Ларса.

Город основательно готовился к завтрашнему представлению, но напрасно: феноменальная сила природы выдохлась так быстро, что магнетизер удрал на пароходе в тот же вечер. И больше его у нас не видали.

Пожалуй, это был самый крупный из всех подвигов Ларса, но и вообще-то с ним невыгодно было ссориться: там, где, по его понятиям, нарушались право и справедливость, он не давал себя в обиду. Сам он никогда не отступал от своего слова и принадлежал к такого рода людям, которые в гневе могут спалить весь город за то, что один из жителей нарушил свое обещание. Обычно на это способны те, кто пережил особенно много тяжелого в детстве.

В работе Ларс не проявлял упорства, его словно подстигивало что-то невидимое, и он частенько пытался уговорить меня пойти с ним побродяжить. Обычно мне удавалось успокоить его, но все же случалось, что он исчезал на несколько дней. По возвращении он безропотно принимал от мастера причитавшиеся за это побои.

IV

Как ни дружны мы были, однако проходили целые годы, когда я, говоря по совести, ни разу не вспомнил о Ларсе. На жизненном пути своем постоянно сталкиваешься с новыми людьми и судьбами, и новые отодвигают старых в тень, пока они, отойдя на задний план, не исчезают незаметно за горизонтом.

Но когда обоим нам минуло лет двадцать с небольшим, я как-то поздним вечером налетел на него в районе Бредгаде — он взламывал витрину в магазине.

— Счастье, что это ты, а не кто другой,— сказал он.— Что подельываешь?

— Учусь,— ответил я, ошеломленный его хладнокровием.

— Оно и видно,— сказал он, оглядывая мой костюм.— А я, как видишь, занимаюсь распределением собственно-сти на практике.

Он пошел со мной, хоть я не особенно желал этого.

— Послушай,— воскликнул он, когда мы сидели в моей каморке,— ты ничего не имеешь против, если я изредка буду к тебе заглядывать? Ты порассказал бы мне о том, что пишется в книгах, а я, может быть, подсобил бы тебе кое-чем в отплату. Я ведь никогда ничему не учился.

Я был далеко не в восторге от его предложения, но откровенно запретить ему навещать меня не смог. Он приходил довольно регулярно, и я скоро стал радоваться его посещениям и скучал, когда он не являлся,— вероятно, из-за своего рискованного ремесла. Научить его чему-нибудь путному мне так и не удалось. Я задался целью убедить его, чтобы он отказался от своего сомнительного образа жизни, но он попрежнему был сильнее меня, и получилось как раз наоборот,— именно он оказал большое влияние на мои взгляды насчет общественного устройства.

Он много и самостоятельно думал о разных вещах — до чего я еще не дошел — и уже по этой одной причине оказывался более развитым, чем я. Передо мной как будто представало какое-то новое учение, когда он примирительно говорил о том аде, каким в сущности был его родной дом, и снимал всякую вину со своих родителей. Он понимал и их борьбу и их поражение — как только дошел он до этого понимания! — и шутя говорил, что, если ему удастся про-вернуть выгодное дельце, он вернется на родину и займется обработкой «Рая».

— Тогда старики опять станут крестьянами и еще раз обзаведутся собственным хуторком,— говорил он.— Да, если бы им повезло в первый раз! Тогда я был бы сыном хуторян и многое сложилось бы по-иному,— добавлял он.

И по самому тону его голоса я мог заключить, что он часто возвращался к этой мысли.

Он был добрый, отзывчивый парень и умел вникать в чужое положение; мне бывало подчас трудно отказываться от его помощи. Правда, деньги не пахнут, а если бы они могли говорить, то одна десятикronовая бумажка вряд ли рассказала бы другой что-нибудь новое. Но я по многим причинам предпочитал выпутываться из своих затруднений

сам и ничего не брал у него, за одним-единственным исключением.

Мне удалось приобрести в рассрочку один большой и дорогой, но очень необходимый мне справочник, и когда я не смог во-время внести очередной платеж, книготорговец пришел ко мне на дом и отобрал книгу.

— Послушай, так в конце концов не годится, — сказал вечером Ларс, поглядывая на мою опустевшую полку. — Я, правда, плохо разбираюсь в науках, но настолько-то я понимаю, что без книг учиться нельзя. А так как ты упрямый парень, стало быть лучше мне помалкивать и действовать по-своему.

На следующий день он притащил мне книгу, причем тот же самый экземпляр. Я взял ее, так как она была мне совершенно необходима для работы, но и по сей день не знаю, выкупил он ее или же добыл более «легким» способом.

Впрочем, его ремесло никак нельзя было назвать легким. У меня создалось впечатление, что таким путем он еле-еле добывал гроши, чтобы жить мало-мальски сносно, хотя был он, вероятно, очень ловок, так как никогда не наталкивался на серьезные препятствия в своей работе. Помимо его хладнокровия, ему отчасти помогало и общение со мной. Порой я чувствовал его умственное превосходство и в свою очередь советовал ему уделять внимание внешности. Он стал аккуратнее одеваться, усвоил культурную речь, приличные манеры. Во всем его облике и поведении появилась благородная простота, отводившая от него всякие подозрения. Я убедил его даже завести визитные карточки, полезность которых ему, как выходцу из низов, трудно было оценить.

Из-за них же он, впрочем, и попался, как раз тогда, когда намеревался предпринять хорошее «дельце», которое должно было обеспечить ему будущее.

Однажды ночью он забрался в меняльную лавку и поживился там, забрав несколько тысяч крон. На следующий день я прочитал об этом происшествии в газетах: вор оставил на полу визитную карточку с именем Ларса Мунка. Его арестовали еще до конца дня. Разумеется, он неумышленно положил свою карточку на месте преступления, как в шутку предполагали газеты, а уронил ее. Он попался на

единственно усвоенном им от меня обычае буржуазного общества, и это навело меня на некоторые размышления.

Сам он нисколько не озлобился. Выйдя через два года из исправительной тюрьмы сильно изменившимся, он разыскал меня. Пребывание в заточении резко сказалось на нем,— не часто доводилось мне видеть лицо, на котором жизнь прорезала бы такие глубокие морщины; и волосы у него все вылезли.

— Это от мыслей,— улыбаясь, сказал он.

— Что же ты теперь намерен предпринять? Не соби-
раешься ли эмигрировать? — спросил я во время нашей беседы.

— Нет, я поеду домой. Ведь там же остался вересковый участок, на котором старики сломали себе шею. Я его об-
работаю, и тогда от меня все-таки будет кое-какой прок. Я нарочно для этого обучился садоводству, пока сидел в тюрьме.

Оказалось, что мало-помалу этот план сдelaлся для него целью жизни. И он разрешил эту задачу без чужой помощи, только своими собственными руками, не отлыни-
вая от работы и не отвлекаясь для бродяжничества. Именно в тех самых условиях, в которых его старики со-
вершенно разорились, он добился поставленной цели. Это было вполне законным следствием, иначе не было бы и на-
стоящей победы.

За пятнадцать лет Ларс привел свой маленький участок в культурный вид, стойко работал днем и ночью, выдер-
жал все, вопреки разным теориям о вырождении, и создал из сада настоящий эдем. Каких трудов и лишений это ему стоило, об этом он никогда не говорил. Он снова пережил все трудности своих родителей, с тою только разницей, что он-то победил. Впрочем, они умерли раньше, чем он добился успеха; и «Рай» сдelaлся отныне целью его жизни.

Всякий раз, бывая на побережье, я захожу на этот маленький участок, представляющий как бы прекрасный памятник победы, которой Пер-Голяк пока только и может добиться. Одиннадцатипалого Ларса уже нет в живых, и вот каким образом он умер. Когда хозяин Горного хутора увидел, что «Рай» начинает превращаться в чудесное маленькое поместье, он вспомнил, что ему причитается по-
лучить за него проценты за много лет. Так как денег

нельзя было взыскать, то он задумал наложить руку на самый участок. Но когда Ларса решили выселить, он предупредил это событие и повесился.

Это единственная тень, омрачающая «Рай». Призрак удавленника мерещится кое-кому, но старый, седовласый хозяин Горного хутора, сам переселившийся сюда, а свой хутор передавший сыну, ничего не замечает. Он тщательно поддерживает все хозяйство, горделиво показывает поместье всякому желающему и рассказывает впридачу его историю. Постепенно он начинает несколько путать, — ему все определеннее кажется, что он сам довел участок до такого цветущего состояния.

Судьба Ларса и его отца в общих чертах была во многом схожа. Жизнь их сложилась несчастливо, и по их же собственной вине, что обычно является уделом всех бедняков. Многие думают, что если бедняку живется плохо, то виноват в этом он сам. Но, сказать по правде, бедняк никогда не стремился погубить себя — всегда об этом успевали позаботиться обстоятельства. А потому дурных его свойств никто еще по-настоящему не знает.

БЕРЕГ МОЕГО ДЕТСТВА

Только очень немногие из туристов, непрерывным потоком устремляющихся летом из Норрланда¹, иногда попадают в окрестности города Нексе и могут полюбоваться белым песком бухты Балка и своеобразными и самыми красивыми на Борнхольме утесами — Адскими и Райскими холмами. Маленький привлекательный городок, растянувшийся вдоль берега белыми и красными пятнами домов, походит на украшения из кораллов, выброшенных волной на сушу, как бы вкрапленных в нее и почти сливающихся с необычайно живописным побережьем. В городке долго и упорно мечтали о том, чтобы поток туристов устремлялся сюда, но, кажется, здешние места раз и навсегда останутся заповедными, и я не вижу в этом большого несчастья.

Когда подъезжаешь к Нексе с моря, то видишь красивые очертания городка, позади которого высятся голландские мельницы; взор скользит, не задерживаясь, дальше, мимо плодородных пашен, — земля там продается по дорожной цене; на расстоянии полмили от берега внезапно встает гряда громоздких утесов — плоскогорье, отвесно обрывающееся к востоку.

Это гранит — затвердевший хребет земного шара, неожиданно выпячивающийся горбом и спадающий крутым изломом, чтобы уступить место самой мягкой и плодородной в мире почве.

¹ Норрланд — северная часть Швеции.

На берегу, в четверти мили от города к северу, снова появляется гранит, — он смыкается с породой обнажившегося песчаника, который выделяется резкой чертой. Внимательнее присмотревшись, можно заметить, что тут встречаются два совершенно различных мира; если стать одной ногой на гранит, а другой — на песчаник, то перешагнешь через полмиллиона лет.

Пожалуй, ни один мрамор не обладает такой мягкостью тонов и плотностью, как песчаник из Нексе. Вряд ли вообще существует более прекрасный материал, чем этот камень, легко поддающийся обработке, синеватый на поверхности и пламенеющий в разрезе. За пределами Нексе он мало известен, но здесь все делают из песчаника, вплоть до колодезных плит и кормушек для свиней. Песчаник придает городку своеобразный колорит: весь город как бы естественно возник из находящегося под ним каменного слоя.

Когда ветер дует с острова, море отступает далеко от берега и обнажает этот слой. Там, на отмели, я впервые делал робкие попытки ловить рыбу, высоко закатав штаны и вооружившись ржавой вилкой. Надо было обладать необыкновенной ловкостью, чтобы выгнать угря из-под плоского камня и вонзить ему в спину вилку, — разумеется, с такой силой, чтобы вилка зазвенела, — в этом заключалось все искусство. Какие чудесные дни проводил я там, любуясь, как вода блестит на солнце и качает мое перевернутое отображение. Ноги мягко упирались под водой в огромные светлые пласты песчаника, прогретого солнцем, и это прикосновение напоминало ласку живого существа. Так же, как и песчаное дно, поверхность камня была вся изрезана мелкими желобками от ударов волн, а иногда я ногами нащупывал на дне контуры окаменевших морских животных. Мне нравилось бродить по отмели и заходить как можно дальше, чтобы не слышать, когда меня позовут с берега; изредка мне удавалось забираться совсем далеко — до того места, где дно, покрытое водорослями, внезапно обрывалось и исчезало под глубокими водами моря. Какое наслаждение было для меня, мальчишки, задорно плюнуть в пучину и тотчас же повернуть обратно к берегу, содрогаясь от смелости своего поступка.

На расстоянии четверти мили к югу песчаник исчезает с поверхности земли и уступает место песку. Гранит, песча-

ник, песок — да это ведь целая история земного шара, это его шаги! На южном мысе острова песок образует красивейшие в Дании обрывы; на фотографиях, снятых при ярком солнечном свете, эти обрывы кажутся ослепительной грядой белоснежных гор причудливого рисунка.

Не одному кораблю в течение веков пришлось отка-заться от заданного курса и, бросив груз и высадив экипаж на южной стороне острова, навек остаться в песке. Это было своего рода данью здешней скудной земле. Однажды, под рождество, в сильную бурю в бухте потерпела круше-ние русская баржа с грузом меда,— и мы, сотни бедных ребятишек, до конца зимы ели хлеб с медом. Таким путем море не раз помогало беднякам пережить плохие времена. А вон там дальше, у самого мыса, где в море впадает Змеи-ный ручей, на воде виднеется блестящее пятно, похожее на золотую маслянистую кожу ужа,— оно никогда не исче-зало, как бы ни бушевало море. Здесь, на дне, были зане-сены песком три корабля датского короля Вальдемара, до-верху нагруженные золотом и только ожидавшие, когда я достаточно подрасту и заберу клад со дна морского.

Воспоминания детства связаны с местами, где каждая пядь земли заполнена жизнью — как утес, когда на него сле-таются птицы,— и с каждым шагом вперед возникают все новые и новые воспоминания. В бухте Балка, изогнувшейся светлым полумесяцем и доходящей до мыса Зменного ручья, протекало мое детство, вот почему каждый шаг здесь вызы-вает живые воспоминания. Именно на этом песчаном берегу можно по-настоящему отдохнуть — так, как нигде.

Здесь я научился здоровому отношению к природе и людям, что дало мне возможность сильнее почувствовать их взаимосвязь.

И отец и дедушка прожили здесь, пожалуй, лучшие годы своего детства и юности. Дедушка родился на боль-шом крестьянском хуторе, расположенном на песках, кото-рые были в непрерывном движении. Если сеяли в од-ном углу поля, то всходы показывались совсем в другом. Иногда приходилось спускаться с сетью к самому морю и вылавливать там урожай. Гораздо проще было поднять на лодке паруса и заставить ветер гнать ее, чем управляться с огромным, нескладным колесным плугом, запряженным восьмеркой косматых кляч; это было, впрочем, во времена

«англичанина»¹, лет сто тому назад, когда каждый житель Дании чувствовал себя на море, как дома. А когда молодой высоченный парень возвращался домой после ночной рыбной ловли и утреннее солнце уже золотило след его лодки, он еще далеко в море смело прыгал в воду и вплавь тянул свою лодку к берегу, держа в зубах причальный канат. Дедушка расстался со своим хутором и стал рыбачить. Здесь, в бухте Балка, протекало детство отца, здесь он с малых лет познакомился с лодкой, играл на берегу; в свободное время он купался, вылавливал доски от разбитых в щепы кораблей и в деревянных башмаках неслышно подкрадывался сзади к спящему тюленю.

Хорошо здесь отдыхать, когда ты свободен, ничем не занят! Я снял комнату у одного хусмана на вересковой пустоши, но большую часть времени проводил здесь, на берегу — плавал, как, бывало, в детстве, потом лежал и отдыхал на вершине утеса, а солнце слегка припекало меня. Песчаный берег изогнут в виде двух светлых рогов, расходящихся в стороны и обхватывающих чудесный кусочек моря, а легкий ветерок, набегающий с острова, рассказывает напоенные ароматом истории о многом, что здесь когда-то происходило.

Налево от меня — маленькая купальня для богатых горожанок. Это уж новшество. Пока же, как и в былые времена, мужчины — и богатые и бедные — и женщины победнее купаются прямо с берега. Сзади меня пробегает топограф со своим помощником; они измеряют местность, — как говорят, здесь собираются построить большую приморскую гостиницу. Значит, и этот уголок земли превратится в модный курорт!

Но пока до этого еще далеко. То здесь, то там на берегу расположились крестьянские телеги — одни крестьяне набирают песок, другие приехали, по доброму старому обычаю, полоскать в море белье после большой стирки. Многие крестьяне приурочивают к этому дню свою ежегодную поездку к морю для купанья, и такой день считается обычно чем-то вроде праздника. И лошади и люди одина-

¹ Имеется в виду период 1801—1807 годов, когда англичане вели военные действия против Дании и в 1807 году бомбардировали Копенгаген, уничтожив датский флот.

ково радуются; возницы на телегах с бельем лихо вскакивают на ноги, желая показать девушкам, что не страдают водобоязнью, криками и ударами кнута они подгоняют упирающихся лошадей. Животные фыркают, становятся на дыбы, потом делают рывок, бьют задними ногами так, что вода вздымается сверкающими фонтанами и рассыпается серебряными каскадами. Затем белье вываливают с воза прямо в море. Таща за собой козлы и вальки, подходят женщины; они визжат, все выше подбирают свои юбки и, все-таки подолы мокрехоньки; под конец женщины опускают юбки и, стоя по пояс в воде, начинают неистово колотить вальками небеленные простыни и свои сорочки; гулкие удары раздаются над водой, повторяются многократно и сливаются воедино с яркими солнечными бликами на море.

Вот то один, то другой из приехавших быстро пробегает по берегу, скрывается в расщелине утеса и снова, уже раздетый, появляется оттуда; он легко, как дикий зверь, перепрыгивает через вал водорослей и бежит по гладкому белому пляжу. От быстрого бега человека вода на отмели начинает шумно пениться. Вот прыжок вперед, легкое пофыркивание — и купальщик, размашисто гребя руками, уплывает в открытое море.

Вода позади него снова медленно успокаивается и становится почти невидимой для глаза — настолько она чиста и прозрачна. На светлом, испещренном мелкими желобками дне солнечные лучи качаются в причудливых изломах, играют и бегают, совсем как безумные, — это какое-то хаотическое мелькание. Лежа на берегу и напряженно вглядываясь в это мелькание, чувствуешь, что тебя начинает укачивать.

Но вот несколько женщин поднимают над купальней флаг — в знак того, что проходить по пляжу запрещается. Трем маленьким толстушкам из местной знати вряд ли стоило так ревниво соблюдать новые правила благопристойности: люди, проходя мимо, лишь мельком посматривают на купальню и шагают дальше по берегу, веками служившему кратчайшей дорогой между рыбацким поселком на мысу и городом.

— Вот как, подняли флаг! — простодушно говорят прохожие и на минуту останавливаются, чтобы понять, в чем дело.

— Ну, да уж какая-нибудь причина здесь кроется! — говорят они с усмешкой.

Три дамы осторожно выглядывают и сходят на берег; они в черных купальных костюмах, сплошь разукрашенных оборками, кружевами и бог весть чем еще! Теперь пошла новая мода — по своей доброй воле лезть в воду в одежде; и все люди на берегу глазят на дам, пока они боязливо семенят по песку. Но вдруг женщины останавливаются, словно парализованные от страха, и, как по команде, плотно сдвигают колени, потом поворачиваются и с визгом бегут к купальне: какой-то моряк из города начинает раздеваться на пляже прямо против них! Это Нилец, недавно вернувшийся из трехлетнего кругосветного плаванья.

У этого озорника времени хоть отбавляй, и вода на родине, повидимому, пришлась ему по душе; проходит с добрых полчаса, чуть ли не целый час, пока он снова вылезает на сушу. Натягивая на себя одежду, он задумчиво поглядывает на флаг:

«Вот черт, что бы это такое значило? Уж не карантинный ли там флаг?» Моряк медленно подымается по лесенке купальни, на ходу пристегивая помочи, и читает объявление, запрещающее проходить по пляжу, когда флаг поднят; у него уходит чертовски много времени на то, чтобы все это как следует уразуметь. Вот наконец-то он взбирается на утес.

Дверь купальни тихонько открывается, из-за нее выглядывают три невольных пленницы, снова бегут по песку, несколько напуганные опасностью, а может быть, просто смущенные своим собственным траурным нарядом, таким мертвым по сравнению со всем этим солнцем, блеском и наготой. Внезапно дамы оживляются, вскрикивают и бросаются в море, падают, вновь поднимаются и бьют руками по воде, как испуганные куры крыльями: противный моряк появился снова и спускается вниз, прямо на купающихся; у края отмели он останавливается и делает вид, будто что-то ищет. Наконец, он исчезает и больше уже не появляется.

По берегу плетутся пожилые толстые женщины с корзинками или узелками. Они босы, но головы их предусмотрительно покрыты шерстяными платками. Женщины идут в город торговать. Многих из них я узнаю: они остались

такими же, какими были во времена моего детства, годы нисколько их не изменили.

Одна семья уже выполоскала белье: крестьянин складывает на воз последние кипы и проверяет упряжь, а в это время две девушки раздеваются, укрывшись за бортом телеги; они немного боятся воды, держатся на мелком месте и с визгом шлепают друг друга. Крестьянин усаживается на возу и закуривает трубку, с невозмутимым видом он оборачивается и внимательно рассматривает девушек, как если бы они были ездовыми лошадьми, затем медленно отводит взор в сторону.

— Воды-то как много здесь! — кричит он жене хусмана Хольма, которая колотит белье, в одной рубашке стоя в воде, отражающей ее необыкновенно толстые ноги.

— Верно! — весело отвечает она и выпрямляется во весь свой огромный рост. — Хвала господу за всю эту водную благодать! Особенно если она поможет кое-кому сбросить жир, — от работы, черт возьми, он никак не убавляется!

Ее большое потное лицо сияет; она радуется всему, смеется, щурясь на солнце, весело смотрит по сторонам, на купающихся. Она кажется мне бесформенным порождением водной стихии, которое веселят собственные неудачные попытки принять человеческий образ. И солнце смеется ей в ответ, его лучи золотят воду прямо перед ней и шаловливо играют на ее огромном животе, — кажется, будто вновь возникший плодородный мир поднялся из моря.

Всюду на фоне темносинего моря, светлоизумрудных полос воды у самого берега и чистого, звенящего воздуха выделяются силуэты обнаженных людей; они ловят на себе взгляды посторонних, и оттого жаркая кровь приливает к их щекам. Воздух ласкает их, солнце любовно золотит своим блеском их тела, превращает их в тлеющие искры — порождение самого солнца. Оживленно двигаясь, люди составляют часть одного целого — света, тепла, воздуха, земли и воды, тесно спаянных и слившихся друг с другом в одном мастерски слаженном организме. Мускулы и упругие груди — это скопление солнца; да и все чудеса мира — как давно известные, так и неведомые, со всеми его таинственными силами впридачу, — не являются ли они тысячекратно уплотненным взрывчатым веществом, которое

воплощено в этом маленьком пластическом и загадочном существе — человеке, самым появлением своим обязанным солнцу?

Простые, скромные люди маленького провинциального городка считаются обычно, по весьма распространенному мнению, серенькими, смиренными и незначительными. Однако и среди них встречаются люди, как бы связанные корнями с преисподней; но случается, что они избирают себе иной путь и тогда достают зелеными ветвями прямо до неба. Впрочем, такие вещи могут видеть лишь одни дети.

На берегу и теперь еще можно встретить людей, которые когда-то в детстве вызывали у меня ужас или восхищение, здесь же бегают их детишки. Парни с равнодушным видом проходят мимо меня, но за их невозмутимой внешностью угадывается многое, что способно отравить существование и теперешним ребятам.

Детский ум невероятно восприимчив, — все мои наиболее сильные впечатления относятся к детству. Ах, как много было в те годы великанов — людей, которые без конца божились, ели необычайно ядовитые вещи и совершали самые невероятные подвиги. Они жили и в каменоломне и в гавани, где постоянно лежали на песке, бурили и взрывали камень, строили дамбы, — словом, встречались повсюду. Всеми командовал ужасный Кнорт, ростом не больше мальчика-школьника; он продал свою душу дьяволу за право находиться вместе с великанами. Стоило ему внимательно посмотреть на девушку, как потом у той рождался ребенок; женщины принимались визжать, когда он глядел на них. Даже сами великаны боялись его скрытой таинственной силы и злого глаза. Но мы, мальчишки, знали, что стоит только незаметно прикоснуться к нему — и сразу становишься непобедимым в драке. Решительно все удавалось Кнорту, пока в один прекрасный день не истек срок его договора с дьяволом: и тогда Кнорт упал в гавани на дно сухого дока и сломал себе шею!

Гораздо больше мы боялись Хольмберга, хотя он был озарен небесным светом: он принадлежал к «святым» и каждую ночь боролся с дьяволом, задумавшим отнять у него семью. Хольмберг появлялся днем с огромными царапинами на лице и руках — следами ночной борьбы. Он непостижимым для нас образом вырвал, наконец, жену и

детей из когтей дьявола, как-то раз ночью перерезав самому себе горло.

Тут были также и обыкновенные люди, они пришли сюда, когда перестраивалась гавань; были тут и драчуны, и пьяницы, и уставшие от изнурительного труда рабочие. Сбегать для них за водкой считалось у нас большим почетом; самые отвратительные из них становились нашими героями.

Детский мозг может многое вместить. Драки, крики, рев, проклятия, огромные порции водки, пот, текущий ручьями, битвы с громадными утесами, споры, ненависть и нападение из-за угла — все это воспринималось нами как совершенно естественные явления, переваривалось и способствовало здоровому развитию. Это были своего рода калории для питания ума, а в детские годы они прекрасно усваиваются. Как-то раз двое мужчин пили наперегонки водку из литровых бутылей, а потом подрались, пустив в ход огромные железные ломы. Однажды пьяный швед яростно набросился на негра с иностранного корабля, — ему, видите ли, не понравился цвет его кожи. Дело кончилось тем, что в ход пошли ножи. Мы, мальчишки, были их секундантами и потом навещали их в больнице; там они лежали рядом и играли в карты.

Среди людей-великанов выделялись двое: стройный, гибкий Бергендаль и Энок, огромный толстяк с одним глазом. Бергендаль мог лежа расправиться сразу с двумя, мог один разнять нескольких драчунов и раскидать их в стороны, сам же всегда ловко избегал ударов ножа. У него было удивительное умение владеть своим телом, но только не правой рукой: она сама выхватывала нож, всаживала в бок противнику и лишь тогда начинала слушаться Бергендаля. После таких случаев его всегда ужасно мучило раскаяние.

Энока побороть было невозможно; сам же он одним ударом кулака мог сбить человека с ног и вообще мог справиться с любым противником: он презирал нож, его руки гораздо легче орудовали ломом.

Мы, дети, не любили его. Может быть, это объяснялось только тем, что он был одноглазым. Вот почему мы дали ему прозвище Энок, что, по-нашему, означало «одноглазый». Его взгляд был всегда каким-то колючим, как будто бы он едва сдерживал свою злость; он был похож на

шало́го быка. Иногда на Энока «находило», и он яростно бросался на всякого, кто шел мимо, и сбивал его с ног. Он не признавал драки с одним противником, однако делал исключение для своей жены и сек ее, как одержимый, каждый субботний вечер, а потом выбрасывал ее вместе с пожитками на улицу.

Жена его была маленькая и невзрачная, вечно оборванная, заплаканная, безответная. Когда-то она слыла хорошей девушкой: до сих пор еще сохранились следы былой красоты на ее изувеченном побоями и абортами теле, а лицо ее полностью сохранило девический облик, но крепко сжатый рот выражал скорбь, а взгляд был неподвижен. Она никогда не жаловалась, не бегала к другим женщинам искать утешения в чужой беде и молча переносила собственную. Когда ее начинали жалеть, она непонимающе улыбалась: она любила своего дьявола-мужа и считала, что нужно молча нести свой крест. Это было несчастное создание, и люди сочувствовали ей. Хотя в те времена развод считался позором, ее все же уговаривали развестись. Жена Энока, по обыкновению, отмалчивалась. Тогда люди сами взялись за дело — привлекли мужа к суду за жестокое обращение с женой. На суде, когда надо было показать против мужа, она стала решительно все отрицать, несмотря на явные следы на теле от постоянных истязаний.

Тайком от мужа она вступила в секту методистов. Как только Энок узнал об этом, он избил ее, хотя в этот день был совершенно трезв, а потом колотил ее каждый раз, когда она возвращалась с молитвенных собраний или когда вообще что-либо в доме напоминало ему, что она «предалась сатане». Сам он никогда не посещал богослужений, но тем не менее единственным хранителем религии считал признанную богом и людьми церковь, все остальное было делом рук сатаны; и Энок честно выполнял свой долг, стараясь выбить из жены нечистую силу.

Я узнал об участии многих когда-то знакомых мне людей, но что же случилось с этой семьей? Забил Энок жену до смерти, а сам потом спился? Или, может быть, ужасная смесь из крови и водки, текшая в его жилах, довела его до тюрьмы? Мое сознание терзала мысль о печальной участи этой женщины: наверное, ей пришлось пережить немало горьких лет. Но чем все это кончилось? Я был почти уве-

рен, что нет в живых ни мужа, ни жены, что с ними что-то случилось. Медленно пошел я домой, чтобы разузнать о них у моих хозяев.

День клонился к вечеру, людей на берегу было уже мало. Я пошел напрямик через утесы. В отдалении среди зарослей вереска ютился маленький опрятный крестьянский домик, в окнах которого играло солнце, перед ним был разбит небольшой цветник. Во времена моего детства здесь не было ни жилья, ни пашен, а только голый камень и вереск. Значит, это один из тысячи новых домов, созданных на пустоши неустанным трудом человеческих рук, что в какой-то мере характеризует Данию последних десятилетий, говорит об ее усилиях, ее возрождении! Двое простых людей еще раз показали миру, что они способны на голом месте построить для себя новую жизнь, хотя, быть может, раньше их не раз постигала неудача на этом пути. Мне захотелось повидаться с этими людьми и немного отдохнуть под их кровом.

Пока я стоял и придумывал повод для посещения, из домика вышел сильный загорелый мужчина лет пятидесяти, ведя за собой девочку лет восьми — десяти, маленькую, с землистым цветом лица, золотушную; на веках у нее были болячки, волосы на голове жидкие. Ребенок шел все время упираясь, а мужчина его уговаривал. Но вот он обернулся в мою сторону и вопросительно посмотрел на меня, — у него был только один глаз. Уж не ошибся ли я? Мало ли одноглазых на свете!

И все же это был он, Энок! Замедлив шаги, он поклонился, и мы обменялись несколькими замечаниями о ветре и море. Протекшие годы изменили его: спина его немного согнулась, огромное тело стало еще более грузным. Особенно изменилось его лицо: оно было попрежнему все в рубцах, но колющее, воинственное выражение его взгляда уступило место смирению и покорности. Он выглядел поистине добродушно, пожалуй даже несколько простовато, и был похож на ребенка-великана, которого ничто на свете не может вывести из себя.

Он, очевидно, заметил, что я чем-то удивлен, и неожиданно произнес:

За время минувшее богу хвала,
Но вернуть мы его не желаем.

Домик принадлежал Эпоку, у него были лошадь и три коровы.

— Мы с матерью вырубili все это прямо из скалы,— сказал он.— Но в этом не моя, а ее заслуга,— я лишь приложил свои силы; мы добились этого благодаря ее настойчивой воле — устроить все по-хорошему. Она родила мне дочку, да вот солнце что-то плохо греет девочку, как будто господь боится полностью доверить ее мне,— заявил он и вдруг посмотрел на меня своим единственным глазом, в котором на миг словно промелькнуло признание в своей собственной виновности; он застенчиво улыбнулся, чувство обиды сменилось смирением. Попрощавшись со мной, он стал спускаться к берегу вместе со своим чахлым ребенком.

Итак, это был Энок — драчун и пьяница из времен моего детства! На нем были свежевыкрашенные в черную краску деревянные башмаки, чистые полотняные штаны, стянутые на поясе ремнем, и синяя рубашка в полоску. В его движениях еще сказывалась бывшая необузданность, но исчезла неприятная манера закидывать назад голову,— невидимая рука согнула его шею. На берегу Энок разделся и, помогая своей бедной, тщедушной девочке снять платье, все время в чем-то уговаривал ее; голос его звучал необыкновенно мягко. Посадив ее себе на спину, он поплыл в море; в вечерней тишине ясно было слышно, как он нежно успокаивал тихо плакавшую девочку:

— Тебе надо купаться, чтобы поскорее избавиться от этих отвратительных болячек, и тогда солнышко будет светить моей маленькой Марии прямо в лицо и смотреть ей в глазки.

Забота о ребенке, борьба с судьбой за жизнь крошечного существа настроили его поэтически — это его-то, Энока!

Как много иной раз дает человеку возможность сопоставить свое прошлое с настоящим и посмотреть на весь пройденный путь, на котором ему встречались удивительные происшествия и судьбы различных людей. Появившись на свет, человек вынужден считаться с уймой прописных истин, которые жизнь опрокидывает одна за другой; и только отбросив их все до конца, человек приобретает, наконец, мудрость. Разве не было мне тяжело смотреть, как сильный угнетал слабого, когда я сам не был в состоянии

чем-нибудь помочь слабому? И вот, возвратившись сюда, я увидел, что победил слабый, найдя для этого силы в самом себе.

Вот еще одно доказательство светлого учения о том, что доброе начало является всепобеждающим жизненным принципом, который мы, люди, вопреки всему, часто с такими трудностями воплощаем в плоть и кровь. Какой чудесной скрытой силой должна была обладать эта маленькая бесхитростная женщина, чтобы отразить вмешательство посторонних в свои дела и один на один, не на жизнь, а на смерть вести кровавую борьбу с жестоким, вечно пьяным великапом, не имея никакого другого оружия, кроме своей любви и немых страданий. Как ей удалось победить его, сковать его необузданную, слепую силу и направить ее на борьбу с камнем, из которого, прямо на голой скале, они сложили хороший дом? Каким образом каждый кровавый удар по голове бедной женщины, каждая ее приглушенная жалоба и подавленная мысль обратились против Энока и заставили его в конце концов стать на колени и признать себя побежденным? Каким образом слабому созданию удалось заставить сильного склонить голову, — пока еще остается загадкой жизни.

Какая бессмертная тема для писателя с богатой фантазией, если он попытается когда-нибудь разгадать эту загадку!

1911

ВОЛНА, ВОЛНА ГОЛУБАЯ

I

На родине, на самом конце южной окраины маленького приморского городка, стояла во времена моей юности старая хибарка рыбака, которой теперь уже не существует. Окнами она выходила на море, и вода подступала к ней почти вплотную. Между хибаркой и кромкой берега оставалась лишь узенькая тропинка, по которой проходили со своими снастями рыбаки, направляясь на площадки для сушки рыбы или возвращаясь оттуда.

В те годы, к которым относится мой рассказ, сами старики — рыбак и его жена — уже умерли, в домике жила их единственная дочь Марта. Все то небольшое, что было у стариков, перешло к ней. После смерти родителей она жила на то, что зарабатывала тканьем. Первого числа каждого месяца она заново заправляла ткацкий станок: один месяц полушерстяной, другой — бумажной пряжей. Горожане записывались на столько-то и столько-то локтей и сами приносили материал для утка.

Марта была высокая полная девушка, необычайно кроткая и застенчивая. Лучшие годы своей юности она потратила на уход за двумя хворыми и сварливыми стариками, — расставанье с жизнью затянулось у них очень надолго. Теперь она сидела у окна, выходившего на море, и с утра до вечера ткала. Люди не понимали, чего ради она сидит здесь в одиночестве и смотрит на море, а не поселится у кого-нибудь из родственников, где у нее были бы сверст-

ники: она была не так уж бедна и могла немножко платить за себя, так что везде ее приняли бы с распростертыми объятиями.

Но, видно, ей нравилось жить по-своему и утешительно было знать, что время она проводит не зря. Когда ранним летним утром рыбаки, словно выносимые из-за горизонта восходящим солнцем, возвращались домой после лова, Марта часто стояла у двери хижины — иной раз еще в одной сорочке, — соображая, какой ждать погоды на предстоящий день. А потом громкий стук ее станка раздавался до самого вечера. «Вот и полдень!» — восклицали соседки, когда стук вдруг обрывался. Или: «Сейчас пять часов! Марта — все равно что хорошие стенные часы с боем и недельным заводом», — говорили они.

И верно: по ней можно было распределять свое время на целую неделю. В субботу после обеда она ходила на кладбище ухаживать за могилками родных; по воскресеньям, повязавшись платком, шла в церковь. В остальное время она мало кем или чем интересовалась, все сидела на своем месте у окошка. Станок был поставлен так, что, работая, она могла видеть море и гавань, снующие взад и вперед лодки и иностранные суда, заходившие в порт.

Она до такой степени срослась со своим местом у окна, что людям становилось не по себе, если случайно они ее там не видели. Те, что постарше, помнили, как ее клали на подоконник еще грудным младенцем, беспомощным слюнявым комочком, и она шурилась и кривила мордашку от блеска бескрайнего морского простора. На этом же подоконнике она сидела одна и возилась со своими игрушками, как только научилась ползать; и там же она провела, словно на вахте, все свое детство, поджидая ушедшего в море отца или новостей с чужбины. Море приносило с собой страшные вести, с морем были связаны крупные события в человеческой жизни: приходили суда с покойниками; иной раз попадался богатый улов, иной раз дело доходило до голода, а кое-когда доставались и богатства, носившиеся без хозяина по воле волн. Марта всегда вглядывалась в широкий морской горизонт, вероятно это и сделало ее дальнозоркой, — и теперь она никогда не смотрела на людей прямо. Взгляд у нее был вялый и безвольный, он ни на чем не задерживался и сейчас же скользил в сторону. Но когда она

глядела на море, зрачки ее расширялись и глаза выражали любопытство.

Случалось, то один, то другой задавался вопросом: в своем ли она уме? Но поскольку она жила самостоятельно, работала и не обременяла ни город, ни родню,— это было в конце концов безразлично.

Марта была миловидная серьезная девушка, ей достался домик от родителей, свободный от долгов, а потому многие молодые рыбаки охотно сворачивали на тропинку под ее окнами. Те, кто приходился ей сродни, приносили ей рыбу, если лов бывал удачным, а весной помогали копать ее маленький огородик. Однако на благодарность Марта была скуповата!

Мало-помалу многие молодые люди задались целью добиться ее благосклонности, она стала олицетворять для них то недостижимое, ради чего каждый бойкий парень готов рискнуть головой. Но как они ни подъезжали к Марте, им никак не удавалось ее завоевать; ни один не мог похвалиться тем, что зажег искорку интереса в ее глазах; ни один не был уверен даже в том, замечала ли она его вообще.

— Кто хочет ее подцепить, тому надо держаться помористее,— говорили старые рыбаки,— Марта ведь дальноркая. У нее это от матери.

В этих словах заключался намек на то, что ее мать в свое время пренебрегла местными городскими женихами и вышла замуж за парня, жившего на другой стороне острова.

В мать ли она уродилась, или в кого другого, но такая она уж была и такою оставалась. Так прошло лет десять, и Марта, пожалуй, все больше свыкалась с одиночеством, хотя время шло и недалеко был уж тот день, когда она превратится в старую деву. Тут ничего нельзя было поделать, и ей прощали ее чудачество, зная, что вообще-то она славная девушка.

Но однажды какая-то опытная женщина с удивлением обнаружила, что Марта как будто начинает сильно изменяться в фигуре; а раз уже подметила одна, то сейчас же увидели и все остальные. Тогда старшая из родственниц Марты нарядилась, как в церковь, и отправилась к ней. Марта встретила ее, пряча руки под передником, но от-

пираться не стала. От нее только невозможно было добиться никаких подробностей,— на всякий вопрос о том, как же и когда это произошло, она просто указывала на море,— а из такого ответа немного узнаешь.

Ну что ж, если нельзя получить объяснение того, что случилось, приходится состряпывать объяснение самим. Стали рассказывать, будто во время сильного шторма капитан одного из многочисленных парусников, бросавших якорь у нашего побережья, ночью подошел на лодке к берегу, высадился и постучался к Марте в окно. Как добился своего совершенно чужой человек — при ее-то скромности и застенчивости! — никто не мог понять. Но ведь — то сказать — она постоянно пялилась на море, словно оттуда должно было прийти к ней счастье; а он, значит, как-то сумел ее покорить. Вот и выходит: запись женщина хоть на два крюка, проку не будет.

Положим, счастье-то Марта все-таки поймала, нельзя сказать, чтобы она совсем уж даром просидела и проглядела свою молодость! «Неизвестный» все же пришел к ней с моря.

Маленький наш городок обычно не очень-то спокойно принимал подобные случаи, но тут произошло нечто необычное: люди боялись высказывать осуждение. Это был не обычный проступок, в данном случае чувствовалось вмешательство неведомых сил, и потому к Марте отнеслись снисходительно. Нашлось даже несколько человек, и теперь не отказавшихся от своего намерения жениться на ней.

— Соглашайся, милая моя, не сиди и не жди того, что два раза подряд никогда не случается. Не отказывайся от счастья, когда оно само идет в руки,— говорили старухи.— Нет на свете ничего вероломнее моря, это тебе любой скажет. Соглашайся, будет тогда и отец у твоего ребенка.

Марта не отвечала, а только еще усерднее ткала в промежутках между уговорами. По непрерывному стуку станка можно было судить, что она решила воспитать свое дитя сама.

Родился мальчик, и другого отца, кроме моря, у него не было; и он скоро свыкся со своим положением. Когда он немножко подрос и спросил у матери, кто и где его отец,— она только указала ему молча на море. А когда мальчуган заглядывал вопросительно в ее ласковые глаза,

ища ответа, он видел в них море — беспредельное, открытое, каким оно отражается только в голубых, овсянных ветрами глазах молодой рыбацки.

И вот мальчик с младенчества привязался к морю. Он был скрытный, весь в мать, и, едва научившись ползать, все дни пропадал на берегу. На чердаке он разыскал старую квашню, уцелевшую с дедовских времен, и, забравшись в нее, целыми днями плескался в воде. Частенько квашня опрокидывалась вверх дном, и матери, присматривавшей за мальчиком из окна, приходилось бросать работу и бежать вытаскивать его из воды, пока он не захлебнулся. Ни ей, ни ему и в голову не приходило сердиться за это на море.

В школе сынишка Марты не отличался особыми успехами. Способными там считали учеников, вызубривших наизусть несколько напечатанных песенок или стихов, а к этому он не питал никакой склонности. В классе мальчишка забивался в свой уголок на задней парте, в проказах ребятишек не принимал участия и старался вести себя как можно тише и незаметнее, — он находился на чуждой ему почве. Учитель не стал сам заниматься с ним, а предоставил ему набираться знаний у соседа по парте.

Но за пределами школы этот мальчик мог заткнуть за пояс любого. В маленьком городке море определяло все — игры детей и работу взрослых; а с морем он умел ладить — рано научился управлять лодкой, как заправский рыбак, и знал тайные законы миграции рыб. Бог весть, откуда взялись у него эти познания, — должно быть, таким инстинктом одарила его сама природа. Три-четыре семьи городских богачей всегда обращались к нему, когда устраивали у себя званый обед, — угрей или щук он всегда умел добыть.

Так как, к счастью, он никогда не учил зоологии, то знал, что окунь и щука — рыбы пресноводные, Балтийское море настолько мало соленое, что взрослыми они в нем отлично выживают; сверху брюшком они всплывают только когда попадают в Эресунд, вплоть до острова Вен. Икринки же и молодь требуют для своего развития безусловно пресной воды. И вот ранней весной взрослые самцы и самки мечутся взад-вперед по Балтийскому морю, отыскивая

пресную воду, пока не наткнутся на устья рек у побережья Борнхольма. Здесь они поднимаются вверх по течению до озер и болот, где и происходит нерестование.

В школе мальчику здорово досталось бы за такие непозволительные знания, если бы он их кому-нибудь выложил. На воле же они бывали ему чрезвычайно полезны: он в точности знал, когда начинается ход рыбы; и кто умел с ним поладить, того он соглашался разбудить прекрасным весенним утром, часа в три, и взять с собой на рыбалку.

Но больше он держался особняком: ведь мать занимала особое положение, и он верно и преданно разделял его с нею. Мать жила всецело ради своего ткацкого станка и этого мальчугана, подаренного ей морем; и стоило ей чуть-чуть приподнять голову, она видела перед собою весь свой мир: сына в отцовских объятьях, так сказать.

Разговаривали они между собой мало, оба не отличались болтливостью. У них была какая-то особая манера обращаться друг к другу и стоять друг за друга, внушавшая другим уважение. Они были счастливы! Единственным огорчением Марты была мысль, что отец вдруг появится и отберет у нее сына.

Это опасение было не совсем вздорным: еще не успев конfirmоваться, Петер сбежал от матери и ушел в море. Он, наверно, чувствовал, что добром ему этого не позволят, а уйти решил во что бы то ни стало. Сначала думали, что он утонул, — его лодку нашли как-то раз плавающей вверх дном у берега. Но потом оказалось, что ночью он удрал на одном из многочисленных парусников, которые во время берегового ветра бросали якорь у побережья.

Во внешнем поведении Марты это событие не вызвало никакой перемены, попрежнему жизнь ее текла размеренно, как часы, она занималась своими делами и никому не поверяла своих мыслей. Однако заметно было, что она изводится от тоски; что-то будто сидело у нее внутри и подтачивало ее. Горе ее было спокойно и молчаливо, как у бессловесной твари; и оно не уменьшалось, когда стало известно, что сын не утонул, а благополучно странствует где-то далеко. Во всяком случае море забрало его — здесь его ведь не было! Из трубы ее домика попрежнему вился дымок, она ела и пила, как и раньше, и даже поправлялась,

стала тучной и неповоротливой. И как ни странно, все-таки заметно хирела,— она таяла изнутри.

Людям, которым приходится самим устраиваться в жизни, труднее всего дается начало; а Петер, принимая во внимание обстоятельства его отъезда из дому, вероятно, решил не давать о себе знать, пока не сможет сообщить чего-нибудь хорошего. Два раза, с промежутком в несколько лет, приходили вести, что он собирается домой, с деньгами в кармане, и намерен держать экзамен на штурмана. И каждый раз Марта немного оживала; но надежды ее не сбывались, и она еще больше впадала в апатию.

Дежурства ее у окна становились все продолжительнее и продолжительнее; под конец она уже не сходила с места и так и сидела днем и ночью, повернувшись лицом к морю. Изредка она, по старой привычке, толкала свой станок, но пряжи на нем не было. «Механика у нее вся поломалась»,— говорили рыбаки, когда, уходя в море и возвращаясь, видели застывшее и тупое лицо Марты, прижавшееся к оконному стеклу. В этой позе она и умерла.

Весть о смерти матери застала Петера в Гамбурге, как раз в тот момент, когда его намеревались основательно обобрать в третий раз. И опомнился он только-только вовремя, чтобы спасти из заработанных денег сумму, которой хватило бы на билет домой. Сообщил эту новость его товарищ,— сам Петер не поддерживал отношений с родиной. Приехал он к самым похоронам.

Смерть матери навела Петера на кое-какие мысли и заставила его серьезно задуматься. Что же дала ему мать и вся его собственная жизнь? Ни к чему это, пора кончать с морем! Он присмотрелся к девушкам в округе и выбрал из них самую скромную, Ане-Лизе.

— Так меня по крайней мере хоть что-то удержит на месте,— сказал он в пояснение.

— Да, это, конечно, неплохо,— отвечали ему,— но надо тебе поискать какую-нибудь должность, без этого не проживешь. Да и хозяйством тоже нужно обзавестись.

— И то правда! — согласился Петер и принялся за поиски работы.

Он получил хорошее постоянное место у пивовара и стал обставлять свое гнездо, а незадолго до сваток женился.

— Ну, теперь он прочно приштвартован,— говорили

люди,— из таких мягких объятий не так-то легко вырваться. А если еще на коленях у него запрыгает малыш, ну тогда...

И они как будто были правы: все свободное время Петер проводил дома, хлопотал над устройством своего гнездышка и ухаживал за Ане-Лизе. Она действительно сумела изгнать из его души всю непоседливость.

Когда же наступила весна и стоявшие в гавани суда, оснастившись, стали уходить в море, Петера обуряло беспокойство, он утратил интерес ко всему и в один прекрасный день исчез.

Молодая жена его была благоразумной рыбачкой; она не стала понапрасну лить слезы, а сразу же взялась за брошенные мужем дела. В положенное время у нее родился ребенок, и она работала и растила его, не дожидаясь, когда Петер придет ей денег. И поступила вполне правильно.

Письма от него приходили не часто, но однажды, после пятилетнего отсутствия, он вдруг самолично появился под окном своего дома, бородатый, неузнаваемый и необычайно довольный. Много, конечно, собиралась ему высказать жена, да не так-то легко было выдержать характер,— до того он восхищался и своей женой и ребенком! Он и сам-то был большим смеющимся ребенком,— все упреки отскакивали от него, как горох от стены. Никто не мог усомниться, что, несмотря на пятилетнее свое отсутствие, он и сам чуть не погиб от тоски,— до того он восхищался своим гнездом! Радость и ликование били из него ключом... пока не выдохлись!

Так он заглядывал домой с промежутками в несколько лет; возраст и число детей служили своего рода отчетной ведомостью о его визитах. Всегда он попрежнему восхищался своей маленькой, чертовски дельной женой и детьми, которых она ему нарожала, всегда одинаково твердо был намерен — теперь-то уж решительно! — покончить с этой собачьей и каторжной жизнью на море. Теперь он будет жить в лоне семьи, купит лодку и станет рыбачить, займется и еще чем-нибудь поближе к дому. Мотаешься вот так кругом земли, никому не на радость, а самые лучшие годы тем временем проходят! Ведь можно жить так чудесно! Но теперь уже сказано — стоп! Надо хорошенько познакомиться с женой и ребятишками...

И каждый раз повторялось одно и то же. Прожив некоторое время на суше, он начинал терзаться неумным беспокойством и метался между домом и портом. Как ни старался он при ходьбе пошире расставлять ноги — даже бедра и подошвы начинали ныть, — но земля под ним упорно не желала качаться. И сон у него пропадал.

Дома пускались на все, чтобы только удержать его. Но не подставляли же под кровать полозья или еще что-нибудь, чтобы она качалась, как каюта. Примерно с неделю это удавалось, когда он ложился спать, все ребятишки поочередно становились под окном и плескали на стекло воду. Все-таки Петер не выдержал и снова ушел в море, — ведь он уж убедился, как мастерски правит своим кораблем его хозяйка. Дьявольски толковая бабенка! А дочурки-то — сушие фарфоровые куколки!

II

Какое захватывающее волнение для маленького парнишки, знавшего, что человек носился где-то далеко-далеко по морям, внезапно увидеть его в тесном мирке нашего городишка, окруженным диковинками, привезенными из самых отдаленных и фантастических стран, — кораллами, бумерангами, замечательным китайским фарфором. Татуировка у него была на редкость, не чета нашим местным морякам! Весь облик его невольно поражал мальчишеское воображение. Как чудесен должен быть этот далекий мир, если он так неохотно выпускал человека из своего плена и властно забирал его обратно, заставляя бросать все, что он любил дома. И сколько же подвигов он совершил — настоящий герой! Как хорошо было бы поехать вместе с ним и хоть одним глазком взглянуть на его тамошнюю беспечную жизнь!

Когда я стал взрослым, мне это действительно удалось, — я совершенно случайно оказался его спутником в одном заграничном плавании.

Было это несколько лет тому назад. Я ютился неподалеку от одного из крупных средиземноморских портов, поджидая возможности добраться пароходом на родину. В кошельке у меня было пусто, на железнодорожный билет

денег не хватало, а пассажирский пароход, совершавший эти рейсы, отказался довезти меня даром. Квартировал я в одном из пансиончиков у порта; это был настоящий кабак, на котором в качестве приманки день и ночь развешивался невероятно грязный датский флаг. Я выкладывал каждое утро два франка за стол и ночлег и весь день рыскал по громадному порту.

Наконец, однажды утром я увидел красный флаг, хлопавший над большой ржавой железной посудиною, пришвартованной у одной из набережных. Это была здорово потрепанная шхуна «Дания», пришедшая с Востока, где она во время русско-японской войны ловила рыбку в мутной воде, а теперь возвращалась на родину. Видно было, что она побывала во всяких переделках.

В те годы морские фрахты сильно упали, поэтому даже затраченный на рейсы уголь не окупался. «Дания» как раз собиралась расснаститься и стать на долгую стоянку, когда русская балтийская эскадра, отправляясь в свое плавание навстречу смерти, искала грузовые пароходы, которые сопровождали бы ее с грузом угля. Это было необычайно рискованное предприятие, цены за фрахт обещали вчетверо выше обычных,— и «Дания» предложила свои услуги. Таким образом она попала в Балтийское море, а потом уж проделала и все остальное: ходила в Корейский пролив с запечатанными приказами и замаскированным грузом, плавала постоянно с притушенными фонарями, пробираясь между японскими крейсерами и подводными минами во время подозрительных рейсов в Порт-Артур и Владивосток. Бывали времена, когда можно было погибнуть, бесследно исчезнуть в какую-то долю минуты. Однако все сходило благополучно и за каждый рейс платили так же щедро, как за несколько лет тяжелого труда.

Теперь война кончилась, и грузовой пароход, изрядно потрепанный, возвращался на родину; киль его до такой степени оброс ракушками, что о каком-либо приличном ходе нечего было и думать. Железный трюм его был полон, доставить груз прямо в Европу не удалось,— переход пришлось совершать этапами, чтобы свести концы с концами. Из Японии пошли с полным грузом в Гонгконг и Бангкок; в Бангкоке набрали только на четверть грузоподъемности судна зерна и тикового дерева для Гамбурга,

потом зашли в Сингапур — забрать немного корья для дубления парусов и рыбачьих сетей, тоже для Гамбурга; а из Сингапура в Рангун — за рисом для Дании. В Мессине пополнили бункера и погрузили несколько тысяч ящиков с апельсинами для Копенгагена — конечной цели плавания.

Капитан ничего не имел против того, чтобы прихватить меня, но просил перебраться на судно сейчас же, так как они намеревались выйти из порта через несколько часов, как только закончат погрузку; он отрядил со мной матроса, помочь мне донести багаж.

— Только окажите мне услугу, присмотрите за ним, — сказал капитан. — Он дельный и расторопный парень, но стоит ему очутиться на берегу — пиши пропало, след от него остается только в судовом журнале. И раз уж мне удалось довести его сюда, я не хочу лишиться удовольствия доставить его более или менее благополучно в Данию.

Это был бородатый дюжий матрос, лет сорока — пятидесяти, с коричневым лицом, как у метиса, и мускулистыми руками, густо покрытыми татуировкой; в ушах у него болтались свинцовые серьги-кольца, как у наших рыбаков. Пока нас было видно с корабля, он шел в нескольких шагах позади меня, но за первым же поворотом нагнал и пошел рядом. Некоторое время он поглядывал на меня сбоку, усердно ворочая во рту жвачку, потом обильным плевком, пущенным струей с тротуара на мостовую, освободил рот и воскликнул на языке, прозвучавшем здесь, так далеко от родины, по-особенному знакомо и мило:

— Прямо-таки чудесно возвращаться на родину! Что делается у нас дома?

Теперь я тоже узнал его — руки в сплошной татуировке, забавная походка вразвалку, как будто ноги его все время примеривались, как лучше ступить на встававшую отвесно палубу. Это был сын Марты, Петер!

Я уже очень давно не бывал в родных местах, но все же больше его знал, что там творится, в частности и о его семье. Я рассказал ему, между прочим, что старшая дочь его вышла замуж, живет своим домом, и что, вероятно, сейчас он уже дедушка.

Сообщение это, видимо, произвело на него очень сильное впечатление. Несколько минут он шел возле меня молча, челюсти его усердно уминали жвачку. Потом, засунув руки

за пояс, он проговорил медленно, словно продолжая вереницу своих размышлений:

— Да, вот мотаешься кругом земли без толку — и попадаешь в разные истории. Но теперь пора с этим покончить.

— Ты уж говорил это не раз, Петер! — осторожно возразил я.

— Ну да, правильно! Но можешь поверить, у меня было время хорошенько все обдумать; не очень-то весело было болтаться между минами японцев. Спать тоже почти не приходилось. Старик и оба штурмана день и ночь на мостике, дозорными на баке двое матросов, и один из них всегда бывал Петер. Чуть только заберешься куда-нибудь в уголок маленько вздремнуть, сейчас же кричат: «Куда к черту девался Петер?! Неужто он все время дрыхнет, как сурок? Эй, Петер, не видать ли чего новенького?» — «Как же, капитан, мины плавают и с штирборта и с бакборта!» — «А-а, дьявол! Ну и пусть их плавают, Петер! А мы пройдем между ними! Ahead!»¹ Ну, деньжонок-то мы подзаработали, и теперь самое лучшее бы причалить к берегу. Ведь у моряков деньги долго не держатся: не успеешь оглянуться, а карман уж пуст. Да и надо мне загладить свою вину перед семьей.

Он серьезно смотрел на меня своими голубыми детскими глазами, взгляд их казался таким ясным, словно в нем отражался весь горизонт. Меня поразило, как мало следов оставила на нем жизнь.

Во время перехода мы с ним о многом поговорили. Днем, занимаясь своим делом, он обычно делал вид, будто мы совершенно незнакомы, в присутствии капитана и штурманов отвечал мне кратко и официально, — зато по вечерам, когда бывал свободен и знал, что «старик» отдыхает у себя, он приходил ко мне в каюту поболтать, и почти всегда о своей семье.

Со времени его последней побывки дома прошло много лет, и тоска по родине одолевала его. Он не был нытиком, работу свою исполнял весело и с задором, подбадривая всю команду, но когда мы сидели и беседовали о родине, его охватывала какая-то особенная грусть, и он начинал

¹ Вперед! (англ.)

ругать самого себя: «Этакий мерзавец не заслуживает ничьей любви на земле!»

— Они-то там, наверно, беспокоились обо мне, да, может, еще вдобавок терпели нужду! — восклицал он иногда. — Как ты думаешь, они и впрямь бедствовали, в то время как я швырял деньгами, чуть только попадал на берег?

Я отвечал, что, насколько мне известно, семья его как-то справлялась и жила довольно сносно, но, разумеется, только благодаря упорному труду.

— Ведь это же сущее свинство, а! Они могли бы отлично прожить каким-нибудь вязаньем или иной раз подработать в городе на чашку кофе — стоило мне только поаккуратнее обращаться с получкой. Но такой уж мы, моряки, народ! Господь бог был, наверно, страсть как занят, когда создавал нас, и забыл вложить в нас затычку. Вот и торчишь тут, мотаешься кругом земли, подвергаешься опасностям. И все-таки никогда больше двух лет не выдержишь. Так деньги и вылетают в трубу, и научиться ходить один по суше никак не можешь. Дело в том, видишь ли: ведь на море теряешь понятие о деньгах, и о женщинах тоже, — всякая юбка в мыслях у тебя превращается в ангела. А когда сойдешь на берег и карман у тебя топорщится от полочки, иной раз, может, за полгода, так тут и ног под собой не чувствуешь от наплыва сил и веселости. На всех набережных стоят люди, жадно цапают тебя за карманы, и у тебя создается дьявольски занятное чувство, что ты все на свете можешь купить! И вот швыряешь далеры в их изголодавшиеся рожи: одному за то, что он кривоморд, другому за то, что он в прошлом году страшно обжег тебя, всучив дрянной костюм... Глупо, понятно, но когда попадешь на берег с двумя-тремя хорошими приятелями, тогда разбирает охота потешиться над всем этим. Тут уж не думаешь ни о старухе матери, ни о своей хозяйке и ребятах — плывешь просто по течению. А там, смотришь, в конце какого-нибудь переулочка стоит волшебный замок с красным фонарем и красными гардинами, и сидит в этом замке принцесса. Она чудесно размалевана и вздыхает: всю свою жизнь она изнывала от тоски по ком-то; и этот неизвестный — ты! А через два дня, когда очнешься, — смотришь, ни денег, ни нового костюма нет, а иногда даже и рубахи — сидишь на набережной в какой-то старой рвани.

И вот тут-то вспоминаешь о своих, и до того додумашься, что голова чуть не раскалывается от боли. Возвращаться домой в таком-то виде, понятно, не хочется. И уж ничего другого не остается, как закабалиться вновь и тянуть лямку еще год или два. А какие чудесные минуты переживаешь, когда ночью далеко-далеко в открытом море стоишь на вахте, подсчитываешь свою получку и думаешь о тех, кто ждет тебя дома...

Но теперь все это уже позади. На Востоке пришлось хлебнуть горя, и обстоятельства заставили Петера взять себя в руки. Поговорил он со «стариком», и они порешили на том, что ему ни в одном порту не будут давать увольнения на берег.

— Долгонько это затянулось, — сказал он, вздохнув, — но теперь, слава богу, остался лишь Гамбург. Только бы мне попасть на датскую землю, а там уж не страшно. И вот посмотри результат, — он вывернул свой пояс, — здесь money spough¹ на то, чтобы затеять что-нибудь на берегу: сто фунтов золотом, не считая того, что мне еще причитается получить. Ну и стоило же мне трудов сберечь их до этого времени, можешь поверить! Я думаю купить яхту и заняться перевозкой камня у нас дома.

— Неужто ты носишь при себе все деньги? — испуганно воскликнул я.

— Может, ты посоветуешь, как иначе мне с ними поступить? Деньги ведь поганая штука — не успеешь оглянуться, а их уж и след простыл.

— Ты мог бы оставить их у капитана.

— Старик, конечно, молодчина, но, видишь ли, может случиться какая-нибудь пакость. Я ведь уже не раз бывал на пути домой, и с порядочными деньгами, чтобы там как следует устроиться. Два раза я собирался подготовиться на штурмана — это еще при жизни матери; а в третий раз мы с женой должны были открыть маленькую лавочку. Но всякий раз, как я просыпался на следующий день, выяснялось, что я дочиста обобран: один раз на скамейке в Ливерпуле, второй — в Гамбурге, а третий... Ну, да что с возу упало, то пропало! Вот со временем и становишься осторожнее, понимаешь...

¹ Достаточно денег (англ.).

ругать самого себя: «Этакий мерзавец не заслуживает ничьей любви на земле!»

— Они-то там, наверно, беспокоились обо мне, да, может, еще вдобавок терпели нужду! — восклицал он иногда. — Как ты думаешь, они и впрямь бедствовали, в то время как я швырял деньгами, чуть только попадал на берег?

Я отвечал, что, насколько мне известно, семья его как-то справлялась и жила довольно сносно, но, разумеется, только благодаря упорному труду.

— Ведь это же сущее свинство, а! Они могли бы отлично прожить каким-нибудь вязаньем или иной раз подработать в городе на чашку кофе — стоило мне только поаккуратнее обращаться с получкой. Но такой уж мы, моряки, народ! Господь бог был, наверно, страсть как занят, когда создавал нас, и забыл вложить в нас затычку. Вот и торчишь тут, мотаешься кругом земли, подвергаешься опасностям. И все-таки никогда больше двух лет не выдержишь. Так деньги и вылетают в трубу, и научиться ходить один по суше никак не можешь. Дело в том, видишь ли: ведь на море теряешь понятие о деньгах, и о женщинах тоже, — всякая юбка в мыслях у тебя превращается в ангела. А когда сойдешь на берег и карман у тебя топорщится от получки, иной раз, может, за полгода, так тут и ног под собой не чувствуешь от наплыва сил и веселости. На всех набережных стоят люди, жадно цапают тебя за карманы, и у тебя создается дьявольски занятное чувство, что ты все на свете можешь купить! И вот швыряешь далеры в их изголодавшиеся рожи: одному за то, что он кривоморд, другому за то, что он в прошлом году страшно обьегорил тебя, всучив дрянной костюм... Глупо, понятно, но когда попадешь на берег с двумя-тремя хорошими приятелями, тогда разбирает охота потешиться над всем этим. Тут уж не думаешь ни о старухе матери, ни о своей хозяйке и ребятах — плывешь просто по течению. А там, смотришь, в конце какого-нибудь переулочка стоит волшебный замок с красным фонарем и красными гардинами, и сидит в этом замке принцесса. Она чудесно размалевана и вздыхает: всю свою жизнь она изнывала от тоски по ком-то; и этот неизвестный — ты! А через два дня, когда очнешься, — смотришь, ни денег, ни нового костюма нет, а иногда даже и рубахи — сидишь на набережной в какой-то старой рвани.

И вот тут-то вспоминаешь о своих, и до того додуматься, что голова чуть не раскалывается от боли. Возвращаться домой в таком-то виде, понятно, не хочется. И уж ничего другого не остается, как закабалиться вновь и тянуть лямку еще год или два. А какие чудесные минуты переживаешь, когда ночью далеко-далеко в открытом море стоишь на вахте, подсчитываешь свою получку и думаешь о тех, кто ждет тебя дома...

Но теперь все это уже позади. На Востоке пришлось хлебнуть горя, и обстоятельства заставили Петера взять себя в руки. Поговорил он со «стариком», и они порешили на том, что ему ни в одном порту не будут давать увольнения на берег.

— Долгонько это затянулось, — сказал он, вздохнув, — но теперь, слава богу, остался лишь Гамбург. Только бы мне попасть на датскую землю, а там уж не страшно. И вот посмотри результат, — он вывернул свой пояс, — здесь толеу enough¹ на то, чтобы затеять что-нибудь на берегу: сто фунтов золотом, не считая того, что мне еще причитается получить. Ну и стоило же мне трудов сберечь их до этого времени, можешь поверить! Я думаю купить яхту и заняться перевозкой камня у нас дома.

— Неужто ты носишь при себе все деньги? — испуганно воскликнул я.

— Может, ты посоветуешь, как иначе мне с ними поступить? Деньги ведь поганая штука — не успеешь оглянуться, а их уж и след простыл.

— Ты мог бы оставить их у каштана.

— Старик, конечно, молодчина, но, видишь ли, может случиться какая-нибудь пакость. Я ведь уже не раз бывал на пути домой, и с порядочными деньгами, чтобы там как следует устроиться. Два раза я собирался подготовиться на штурмана — это еще при жизни матери; а в третий раз мы с женой должны были открыть маленькую лавочку. Но всякий раз, как я просыпался на следующий день, выяснялось, что я дочиста обобран: один раз на скамейке в Ливерпуле, второй — в Гамбурге, а третий... Ну, да что с возу упало, то пропало! Вот со временем и становишься осторожнее, понимаешь...

¹ Достаточно денег (англ.).

Я не мог усмотреть логики в его рассуждениях, но в этом пункте он оказался непоколебимым. Без сомнения, ему стоило нечеловеческих усилий столько времени беречь свое сокровище, и, вероятно, ему действительно необходимо было иметь деньги при себе, чтобы каждую минуту ощупывать их и убеждаться, что они целы, ведь он все еще был взрослым младенцем.

Полной уверенности в себе все же у него не было: мысль о последнем порте, куда мы должны были зайти, его немного страшила, и он то и дело брал с меня обещание не упускать его из виду.

— Ты только сойди со мной на берег и проводи до почты, тогда все будет all right! ¹ Мы непременно пошлем деньги домой из Гамбурга. Хозяйке моей, наверно, приятно будет получить от меня разок весточку таким манером, она это вполне заслужила. Только обещай мне пока что по-строже за мною присматривать.

Я охотно обещал, но, к сожалению, сдержать обещание мне не пришлось. Чтобы очистить место для последней партии груза, мы переложили в Мессине часть тикового дерева на палубу, и из-за этого, едва мы вышли в открытое море, у судна обнаружился сильный крен, который не удавалось выправить даже путем перекачки водяного балласта в цистернах. Тогда капитан приказал оставить все, как было; при тихой погоде никакая опасность нам не грозила, только трудновато было двигаться по загруженной палубе. Всем нам было приказано соблюдать осторожность.

Однажды, ночью, когда мы шли каналом, Петер упал за борт. Никто этого не видал и не слышал, его хватились только утром, при побудке. С подветренной стороны у рулевой рубки палубный груз неожиданно двинулся с места, бревна, вероятно, раскатились под ногами Петера, когда он со своим всегдашним проворством пробегал по ним и, не удержавшись, упал за борт.

Ужасное впечатление производит корабль, когда слышишь злоеший возглас: «Человек за бортом!» В ушах все время, казалось, звучал чей-то вопль, хотя в воде уже никого не было. Радость от сознания, что после многолетнего отсутствия приближаешься к родине, покинула экипаж

¹ Отлично (англ.).

корабля. Простые, короткие слова команды нарушали немую тишину на борту, мы избегали смотреть друг на друга, чтобы не поймать один другого на тех же печальных мыслях о товарище. Никто на судне не пользовался такой любовью, как Петер,— в сущности он был душой всего экипажа.

Печальный то был переход. Через несколько суток мы вошли в Гамбургский порт с флагом, поднятым до половины мачты, приготовившись к придишкам, бесконечным разговорам и допросам морского трибунала, в самом что ни на есть похоронном настроении, и вдруг на первых же шлюзовых воротах увидели Петера, он стоял, размахивая старенькой шляпчонкой. Капитан на мостике вытянул шею и выругался. А мы подумали, что перед нами призрак, и всем нам стало не по себе. Петеру же все это, вероятно, казалось чертовски забавным: он так и повалился на причальную тумбу, чуть не лопааясь от смеха.

Все произошло вполне прозаически. Сменившись ночью у вахты, Петер действительно свалился за борт. Покричав некоторое время без толку, он попытался ухватиться за лагерь и, когда это не удалось, сбросил бушлат и поплыл — больше ради препровождения времени и чтобы согреться: рассчитывать, что его выловят в такую темную ночь, не приходилось.

Часа два он помучился, пока не надумал покончить с этим делом. Он был прекрасным пловцом и особенной усталости не чувствовал. «Но,— говорил он,— нельзя же до бесконечности бултыхаться в этой луже, в конце концов оно ведь и надоест!» Вдруг он неожиданно увидел огонек, который, как говорят рыбаки, мерещится всем утопающим, и решил, что час его пробил.

Оказалось, что примета эта — сущие враки, потому что он увидел самый обыкновенный пассажирский пароход, шедший из Дувра в Кале, с фонарем на фокмачте и огнями во всех иллюминаторах. Петера подобрали, а потом уж ему нетрудно было доехать поездом до Гамбурга и оказаться на месте раньше нас.

К сожалению, не только это прошло у него как по маслу — денeggi он тоже легко промотал все до гроша... Не стоило спрашивать, каким образом. В Гамбурге его списали с корабля, и мы вместе проделали остаток пути по железной дороге.

Петер благополучно добрался до дому с полученными в окончательный расчет деньгами. Семья встретила его радостно, и он снова, в восторге, что попал домой, настойчиво уверял, что теперь уж навсегда поселится здесь.

Но так как и на этот раз ему не удалось благополучно довести до дому прикопленную заповедную сумму, то никто не сможет его осудить за то, что спустя некоторое время он опять стал проявлять беспокойство и в один прекрасный день удрал, чтобы еще раз отправиться на добычу упорно не дающегося ему клада.

БРАТЯ

На Борнхольме существует замечательный обычай: родительский дом или хутор наследует не старший сын, а младший — «последыш». Родители не покидают хутора, пока все дети не станут взрослыми и пока не поставят старших на ноги, — тогда последнему по счету меньше грозит опасность остаться ни при чем.

Но обычай этот имеет и свои неудобства: если родители умирают рано, то семья остается без кормильца.

Так и случилось на хуторе «Репейник». Йенсу Келлеру, последышу, было всего десять лет, когда скончался отец; мать умерла еще раньше. Тогда старший брат Йенс Петер вернулся с острова Зеландия, где служил управляющим, и взял на себя ведение хозяйства. Было ему в то время лет двадцать с небольшим.

Йенс Петер считал, что его священный долг сдать брату хутор в свое время в таком же порядке, в каком сам его принял. Справлялся он с делом очень хорошо, но удовлетворения ему это не давало: кому интересно хозяйничать на своем же родовом хуторе, работать — не для себя, а для другого, да еще сознавать, что по праву все должно бы принадлежать тебе самому? Ведь всюду на свете двор наследует старший сын, как и полагается. Йенс Петер понимал, что и отцу он был ближе других детей. Он родился и обучался у отца на глазах, у него же перенял старинные порядки: вот так нужно делать то-то, а так вот это! Связь со стариной чувствовалась и тогда, когда отец следовал дедовским обычаям, и тогда, когда он, по зрелым раз-

мышлениям, их нарушал. Йенс Петер тоже уважал старину, и делу это шло на пользу: хутор в его руках стал еще богаче.

Но Йенс Петер этому не радовался! Вот ходит себе мальчуган — последыш, — он и есть настоящий хозяин, даром что только-только научился застегивать себе штанишки; всякий видит в нем истинного хозяина, ему и почет и уважение. Родился он поздно и в полном смысле был поскребышком. Во всяком случае, ни к чему он не проявлял интереса, был большим бездельником, в то время как другие хлопотали о том, чтобы вокруг него все процветало.

Между тем последыш подрастал и стал, наконец, настолько взрослым, что пора бы ему и самому начать заниматься делами.

Йенс Петер прожил на хуторе до совершеннолетия брата, а потом ушел из родного дома, раз уж было ему так суждено, и начал устраиваться самостоятельно: пусть никто не говорит про него, что он засел и распоряжается там, где его не просят.

Уехал он, однако, недалеко. Поговаривали, что он мог бы жениться и взять за женой хороший хутор в тех местах, где в свое время служил управляющим, — там будто была девушка, которая верно и преданно ждала его все эти годы. Но он предпочел отказаться и от нее и от хозяйства и купил себе небольшой и запущенный хутор в родных местах, по ту сторону холма, — здесь он жил все-таки поблизости от брата.

С участка своего Йенс Петер наблюдал за всем происходившим на отцовском хуторе. Должно быть, он был ему дороже своего собственного, потому что, встречаясь с соседями брата, он подробно расспрашивал их обо всем, что там делается. И люди уверяли, что встречали Йенса Петера ночью на полях хутора «Репейник», — должно быть, проверял, как ведется хозяйство; днем он туда никогда не хаживал.

Вообще-то присмотреть немножко за Йенсом не мешало: интереса к хозяйству он не проявлял и, откровенно говоря, был довольно-таки странным парнем. Не в пример прочим молодым людям, он на девушек не обращал никакого внимания, на пирушках всегда сидел со стариками за карточной игрой, а танцевать предоставлял молодежи. Такого мо-

лодого игрока, да еще не в меру азартного, никогда не видывали в здешних местах,— он всегда перекрывал самые высокие ставки. И мало-помалу в приходе установилось молчаливое соглашение: при Йенсе Келлере играть только по маленькой.

Но из этого ничего не вышло, потому что он повадился ездить в город и оставлял свои деньги там,— свел знакомство с барышниками и разными ловкачами, играл в гостиницах в «три листика» и всегда проигрывал: то ли партнеры его плутовали, то ли он сам плохо соображал.

Брат страдал, видя, как отцовский хутор приходит в запустение и то одно, то другое из нажитого добра продается или закладывается. Он следовал за Йенсом, как тень; если Йенс ехал в город, то Йенс Петер тотчас запрягал лошадь и отправлялся туда же. Он не становился брату открыто поперек дороги, но разными способами старался помешать ему — где было можно, закрывал ему кредит, а жуликов пытался припугнуть, угрожая пожаловаться начальству.

Но Йенс был одним из тех расточителей, которые рано или поздно появляются в зажиточной семье и пускают родовое достояние по ветру, как мякину; он должен был разорять.

Удержать Йенса от мотовства было так же невозможно, как поймать рыбу голыми руками,— он всегда ухитрялся ускользнуть. Тогда Йенс Петер предоставил брату разоряться, а сам только выкупал то, что проматывал брат из отцовского наследия. Он приносил обратно на отцовский хутор все, что ему удавалось выкупить,— ведь здесь этому добру и полагалось находиться, — а на выкупленные вещи брал с брата расписки.

Однажды он принес столовое серебро,— на родном хуторе он появлялся только в таких случаях,— Йенс еще лежал в постели, и вид у него был смущенный и жалкий; жизнь, которую он вел, сильно сказывалась на его здоровье — веки у него дергались, взгляд был тупой.

Йенс Петер положил серебро брату прямо на перину и с отвращением посмотрел на него.

— Я вижу, что напрасно стараюсь,— жестко промолвил он.— Вот опять мне пришлось выкупать эти вещи, уже во второй раз! Понимаешь ли ты, что ты настоящий преступник?

Иенс с недоумением посмотрел на него, так же невозможно, как грудной младенец смотрит на дуло ружья, навешенного на него.

— Не понимаешь ты, что ли, что продажа чужих вещей — это поступок, который карается законом? — спросил Иенс Петер, с трудом владея своим голосом; он и говорил-то через силу: что ни делай, все ведь бесполезно!

Иенс уловил выражение лица брата и вдруг расхохотался, — теперь только его осенило.

— Ты опять выкупил серебро? — простонал он сквозь хохот. — Да у тебя, должно быть, не все дома?

— Где шкатулка? — мрачно спросил Петер.

Иенс подтянул к себе перину.

— Она у столяра, — ответил он, не поднимая глаз.

— Это ложь! — Иенс Петер так сильно дернул брата за плечо, что тот весь изогнулся.

— Не могу вспомнить, — прошептал Иенс трусливо.

— Неделю тому назад она была на месте. Постарайся вспомнить, кому ты ее заложил. Ты должен вспомнить!

Иенс приподнялся на локте и постарался принять глубокомысленный вид; по его лицу было видно, что он напряженно о чем-то думает, что-то искренне пытается вспомнить. Но вдруг лицо его обмякло, и он повалился на подушки.

— Ах, оставь меня в покое, — жалобно проговорил он. — Какое мне дело до того, что вы тут накопили за сто, а может, и за двести лет? Какое это имеет касательство ко мне? Забери все это дерьмо и дай мне тысячу далеров... Или хоть только пятьсот! Забери просто даром! А то ведь обязательно кончится тем, что я все размотаю.

— Попробуй только! Ты вынудишь меня тогда на крайние меры, — негромко промолвил Иенс Петер, лицо его стало землисто-серым.

— На какие же это? — Иенс перекачивал голову по подушке, ему было скучно.

— Я поеду тогда к королю и попрошу его назначить над тобой опеку. Так и знай!

Иенс вдруг оживился.

— А освобожусь я тогда от забот по хозяйству и всего прочего? — с любопытством спросил он.

— Да, тогда управление хутором перейдет ко мне, а ты

будешь получать на свое содержание сколько потребуется. Разумеется, сумма будет небольшая — ты все так запустил и столько задолжал. Может быть, тысяча крон в год. Ты можешь, конечно, жить и столоваться у меня, если пожелаешь. — Йенс Петер даже повеселел от предвкушения такой возможности.

Йенс схватил брата за руку.

— Спасибо тебе, братец! — сказал он, и голос у него прерывался от радости. — Спасибо тебе!

— Ты бы надел чистую рубашку, — сухо сказал Йенс Петер и оттолкнул дряблую руку брата. — Экономка твоя говорит, что ты не менял белье уже два месяца. А потом — пора бы тебе и вставать, скоро полдень.

По уходе брата Йенс сейчас же повернулся на другой бок. Он не понимал этого чудака, который изводил себя заботами обо всем этом дедовском хламе, накопленном с незапамятных времен. Сейчас он немножко вздремнет, а потом запряжет лошадь и съездит в город.

«Платить каждый год тысячу крон за то, чтоб навязать себе на шею заложенный и перезаложенный хутор! Наверняка у него не хватает винтиков в голове!»

А Йенс Петер так же мало понимал меньшого брата:

«Добровольно отказаться от всего и поступить под опеку! Да он, наверное, совсем рехнулся!»

И вот наступил день, когда решили объявить об опеке над последышем на приходском собрании.

В это воскресное утро в церкви собралось много народа. По всем дорогам прихода катили повозки и телеги, направляясь к холму, где высилась белая церковь; даже из соседних приходов подъезжали экипажи и телеги, набитые богомольцами. По полевым тропкам и вдоль канав целыми вереницами брели пешеходы — древние старики, выходившие из дому, лишь когда колокола звонили так, как сегодня, и молодежь — девушки и парни, одетые по-городскому; большинство из них не заглядывали в церковь все лето. А нынче многие пожертвовали целым днем ради необычного случая. Дома и дворы оставили на волю божью, а скотину поручили больным, детям и калекам. Все здоровые и крепкие люди отправились сегодня в церковь.

Вверху, на отдельно стоящей от церкви колокольне, всю трезвонили колокола, — каждый, раскачиваясь, вылетал из своего окошечка, влетал в него обратно и опять вылетал в другую сторону. И как же они жаловались, и пели, и обвиняли — все в один голос. Слышишь, как громко и сварливо заливается маленький колокол, врываясь в спокойную и тяжело гудящую речь большого о страшном суде?

Так не говорили и не увещевали колокола даже в большие праздники, уж не говоря про воскресенья. И ничего удивительного тут нет, потому что рождество бывает каждый год, и пасха тоже, — а найдется ли в приходе хоть один человек, который помнил бы, как кого-нибудь объявляли взятым под опеку?

Весь холм был заставлен повозками, к каждому кольцу в церковной ограде привязаны лошади — и все же мест не хватило. Некоторые оставили свои упряжки на ближних хуторах, у знакомых, а многим так и не пришлось выпрыгать лошадей.

Когда народ после обедни хлынул из церкви, приходский староста уже стоял возле церковной ограды на плоском камне, с которого делались все оглашения. В руке староста держал бумаги и был очень серьезен. Сперва он прочитал объявление о продаже с аукциона выброшенных морем обломков от кораблекрушения, потом голубую бумажку от коменданта, — никто и не слушал, о чем в ней говорилось, так как видели — у старосты осталась еще только одна бумажка. И вот, наконец, все неотрывно впились взглядом в его губы, разинули рты и, широко раскрыв глаза, слушали:

— ...настоящим... доводится до всеобщего сведения... с сего числа объявляется взятым под опеку... находящийся не в здравом уме... лишается права покупать, продавать, а также брать и давать займы... Йенс Петер Келлер с хутора «Репейник».

Громкий возглас, похожий на стон, прозвучал над собравшимися. Что же такое сказал староста? С краю в толпе стоял Йенс Келлер — слабоумный последыш — и со спокойной усмешкой слушал о своем собственном унижении. И вдруг бессмысленная веселость исчезла с его лица, он испуганно разинул рот и громко вскрикнул.

Староста запнулся и вопросительно оглядел собравшихся. Тогда из толпы выскочил Йенс Петер Келлер, его

останавливали, но он отбился и, подбежав, крепко ухватил старосту за грудь.

«Он поднял руку на начальство!» — слова эти вылетели, словно вздох, из многих уст; старики отвернулись, чтобы не быть очевидцами ужасного происшествия.

Стоявшие поближе помогли старосте освободиться от цепких объятий Йенса Петера, и когда ему разъяснили, в чем дело, староста сейчас же громким голосом поспешил исправить ошибку: «Йенс Келлер из «Репейника». Взятый под опеку объявляется не Йенс Петер Келлер, крестьянин с Хутора на холме, как было сказано по ошибке, а Йенс Келлер из «Репейника». Йенс Петер же, напротив, уполномачивается вести дела брата, покупать, продавать и принимать обязательства от его имени.

Собрание кончилось, все прихожане направились по бесчисленным дорогам домой, толкуя про обмолвку, которая на всех произвела неприятное впечатление. Правда, она была исправлена, но слова были сказаны, а слова обязывают.

Йенс Петер ни с кем не стал разговаривать, а запряг лошадь и поскал домой. Он взял брата к себе в телегу и высадил его у хутора, как будто ничего и не было; дорогой они не обменялись ни единым словом о происшедшем.

Но под вечер Йенс Петер снова заложил лошадь и поехал в пасторат: он желал переговорить с пастором насчет этой ошибки в документе об опеке. Пастор объяснил ему, что все в порядке: обмолвка своевременно исправлена, а в бумаге написано: «Йенс Келлер». Крестьянин как будто удовлетворился ответом, но, помолчав, заявил, что просит непременно повторить это оглашение в следующее воскресенье. В угод у ему пастор пошел с ним к старосте, и тот согласился прочесть объявление вторично.

Йенс Петер Келлер присутствовал при оглашении и убедился, что на этот раз прочитали правильно. И все же мрачное настроение его не покидало, он почти не разговаривал, а как-то на неделе явился к старосте и попросил опять показать ему бумаги.

— Да ведь ты же их видел, — недовольно сказал староста и опять показал ему, что в бумаге стоит «Йенс Келлер».

— А все-таки слово сказано, — промолвил крестьянин, — и мне бы хотелось забить в него надежный кол. Йенс Петер

Келлер находится в здравом разуме — чтобы богу и всем это было известно!

Он произнес это медленно, делая упор на каждом слове.

— Я не знаю ни одного человека, который думал бы иначе, — сказал староста и серьезно посмотрел на него. — Обмолвка моя забита таким прочным колом, что ей трудно будет когда-нибудь подняться. И давай не будем больше об этом думать, если ты не хочешь доставить мне неприятность. — Он протянул руку.

— Конечно, не хочу, — дружелюбно ответил Йенс Петер, тоже протягивая руку. Потом, совершенно успокоенный, поехал домой.

Но однажды, когда он ходил за плугом, перепахивая пар, на него опять напало беспокойство: слово ведь было сказано, он был объявлен взятым под опеку. Все ясно слышали: «Йенс Петер Келлер, как находящийся не в здравом уме». Именно так было сказано... А можно ли зачеркнуть случившееся, сделать так, будто слова не было сказано вовсе? Вопрос этот ворочался в его голове и так и сяк, и однажды Йенс Петер заложил лошадь и поехал в город к амтману¹.

Тот выслушал его с недоумением, он ничего не понимал.

— Да ведь все же исправлено, — сказал он. — Мне об этом было доложено, и я знаю, что ошибку сейчас же исправили. Да, впрочем, вы ведь и сами при этом присутствовали, насколько мне известно.

Крестьянин промолчал, и на его лице появилось какое-то замкнутое и тупое выражение, но внутренне он весь так и просиял от хитроумной догадки: «Смотри-ка, амтману было доложено! В таком случае, значит, это, наверное, была не совсем простая ошибка». Кое-что стало ему теперь ясно.

Молчал он долго.

— Господин амтман должен сделать так, как будто этого никогда не случилось, — промолвил он, наконец, настойчиво.

Чиновник подошел и тронул его за плечо:

— Господи, боже мой, что же, по-вашему, я должен сделать? Ведь ошибка исправлена! Неужто вы не понимаете, что занимаетесь сущим крючкотворством и кляузами? Мо-

¹ Амтман — начальник округа или области.

жет быть, вы собираетесь судиться, а? — Он повернулся спиной к просителю и ушел к себе в кабинет; он хорошо знал этих крестьян и их бесконечное упрямство. Этакie сутяги!

Крестьянин надел шапку и вышел. Теперь он понял: это была подстропная игра! В бумагах, наверно, написано Иисс Петер, а не Иисс. Надо бы еще раз проверить! Они отлично знают, что делают, эти люди! Ну, теперь-то он уж ни за что не отступится, пока не добьется своего.

Долгое время он держался спокойно, и люди стали думать, что он образумился. Но он не отказался от своего намерения, а только затаил его теперь в уме. Хозяйство на отцовском хуторе он вел, но без прежней уверенности, что-то словно сломалось в нем из-за этой роковой обмолвки, будто захлопнулась за ним железная дверь и отделила его от жизни и людей. Он держался особняком и стал очень мрачен.

Борьбу свою он продолжал упорно: экономил, копил, а когда набрал тысячу крон наличными деньгами, отправился к амтману.

— Вот здесь тысяча крон,— сказал он, кладя перед амтманом кожаный кошель.— Может быть, теперь я добьюсь своего права?

Высший чиновник на острове слыл человеком ограниченным, но тут он сообразил, что его пытаются подкупить, и приказал вышвырнуть Йенса Петера Келлера за дверь.

Значит, нигде ему нет ходу! Здесь, на острове, нет никого, кто захотел бы помочь ему добиться своего права. Вот он довел дело до высшей инстанции и теперь знает, что надеяться ему не на кого, кроме как на себя.

Немногие люди способны долго выносить одиночество. Кроме того, во всяком деле требуются сторонники, — иногда бывает достаточно даже одного, но зато без этого одного никак нельзя обойтись.

На этом они и сошлись с братом. Оба они были одинаково убеждены в роковом значении обмолвки и одинаково заинтересованы в ее исправлении. Отцовский хутор попрежнему оставался бременем для Йенса, он ничем решительно там не занимался и все же чувствовал себя так, как будто это ему приходится возиться со всем. Он страстно желал от него освободиться.

С виду братья как будто примирились с общим толкованием положения дел. Йенс Петер управлял хутором и выступал во всем в качестве опекуна брата, но уверенности в своих действиях у него не было. Наконец-то он получил в управление свой родовой хутор и мог распоряжаться там по своему усмотрению, а радости от этого вовсе не чувствовал, — в душе его постоянно жило что-то, принижавшее его перед братом и превращавшее несчастного слабоумного в истинного хозяина хутора. Покоя в таком распорядке не было ни для Йенса Петера, ни для его брата.

На этом они, как сказано, и сошлись: у них была одна и та же цель, та же борьба. И в первый же раз, как они коснулись этого вопроса, Йенс Петер обнаружил, что брат его вовсе не так глуп, как о нем думали. С посторонними они не могли так свободно говорить о том, что их постоянно занимало, — они стали придирчивы и подозрительны, улавливали малейшую усмешку в глазах других. Но тем свободнее разговаривали они о своем деле вдвоем и строили разные планы. И как же отлично они понимали теперь друг друга!

Под влиянием этого общения Йенс сделался серьезнее и положительнее, перестал ездить в город и кутить, а старался побольше бывать с братом. Йенс Петер в свою очередь заразился кое-чем от Йенса — перенял частицу его легкомыслия. Никогда не видели его теперь таким мрачным, как бывало раньше. Люди дивились, что братья находят так много общих тем для разговора и что теперь оба они нередко улыбаются, чего раньше никто не видел.

Братья придумывали сложные планы, как им одолеть злые козни, потому что теперь ведь весь остров был против них! Мало-помалу планы эти приняли четкие и грандиозные очертания: братья решили поехать тайком к королю и упротить его внести поправку в объявление, а потом вернуться домой с бумагами в полном порядке! Таким широким обходным маневром надумали они напасть на своих противников с тыла и повергнуть их в прах.

Но важно было действовать втайне, чтобы никто не строил их планов, и всю зиму они обсуждали вдвоем способы, как перебраться с Борнхольма и переговорить с королем так, чтобы никто об этом не узнал. Пароходом воспользоваться они не могли, так как желали сохранить поездку в секрете, а лодкой ни один из них не умел управлять.

В начале марта — наконец-то! — на помощь им пришла природа: от берегов России ветром пригнало пловучий лед, суровые морозы сплотили его вокруг Борнхольма, так что всякая связь с внешним миром была прервана.

Но только не для обоих братьев!

Как раз теперь-то и создалась нужная им обстановка; теперь никакая посторонняя сила не могла помешать осуществлению их планов. Они втихомолку снарядились в дальний путь и однажды ночью спустились на лед, с намерением добраться до столицы и побывать там у короля.

С тех пор их больше не видали.

ВОЛК И ОВЦЫ

(Басня)

Э то было очень давно, задолго до того, как милосердие и справедливость воцарились на земле,— еще в ту пору, когда господь бог был маленьким мальчиком. Вот как давно это было! Земля и тогда зеленела, и мирные овцы господни паслись на зеленой траве и потом превращали ее в великолепную шерсть и маленьких нежных барашков. Мир был радостен и прекрасен. С трех сторон его окружало море, а с четвертой дремучий лес. И все было бы хорошо, если бы не было на свете волка.

Днем он скрывался в темной лесной чаще, ночью же, когда овцы спали на лугах, он выходил из лесу и набрасывался на них. Случалось, что днем какой-нибудь шаловливый ягненок отделялся от стада и забегал на опушку леса,— тогда он пропадал бесследно.

«Лес ничего не возвращает»,— говорили старые овцы и мудро держались подальше от лесной опушки. Поэтому-то никто и не знал хорошенько леса; о том, что там делается, у овец было весьма смутное представление. Самые глубокомысленные из них полагали, что во мраке лесной чащи обитает сам бог, создавший волка в наказание за грехи овец! Постепенно в овечьем сознании сложилась целая религия. И самое удивительное то, что этой религией можно было до некоторой степени пробавляться!

О волке же у овец было такое представление, что господь в незапамятные времена сотворил его, вероятно, собакой, чтобы он стерег и защищал мирных овец, но в один пре-

красный день он изменил своему призванию и бежал в лес. Так появился на свет злой дух первобытного леса,— он возник из чего-то такого, что в сущности должно было служить добру.

У кровавого тирана несчастных овец был огромный живот, заполнявший, казалось, весь мир, длинный остроконечный нос и острые когти; он злобно оскаливал острые зубы даже когда смеялся. Друзей у него не было, и все сторонились его.

Возможно, что в лесу притаились и другие злые силы, однако волк был главным олицетворением зла. И он, вероятно, этим воспользовался, чтобы расширить свою власть. Уже то, что он не боялся потемок, а обделявал свои делишки под покровом ночи, делало его страшлищем в глазах смиренных овец, опасавшихся всех, кто избегает дневного света. Он не довольствовался тем, что загрызал до смерти всякого, кого хотел съесть,— как это делали другие животные,— а забирался в стадо и кусал овец из озорства.

Овца — скромное животное и может мириться со многим, даже с тем, что ее едят, но быть загрызенной насмерть без всякого смысла — это справедливо считалось у овец большим позором и несчастьем. На этой почве возникли два разных понятия: «хорошие времена» и «плохие времена». В овечьем мире «хорошим временем» считается еще до сих пор такое, когда овцу не только растерзают, но и сожрут.

Так прошло сто, а может, и двести лет. Овцы в тоске воссылали к богу вздохи. Их преданность богу вознаграждалась, и они постепенно пришли к убеждению, что нет худа без добра. Там вдали, по ту сторону леса, водились, без сомнения, чудовища, страшные звери, которые давно уже наводнили бы страну овец и умертвили бы все живое, если бы не было волка. Стоит только хорошенько подумать — и получается, что волк их спаситель; вот и приходится кормить его за это.

Волк не замедлил воспользоваться такой переменой настроения. Корму у него и так было достаточно, но ему хотелось получать его на законном основании: не так уж весело слыть тварью, боящейся дневного света, и добывать себе пропитание главным образом по ночам! Волк был доволен новым положением: пожалуй, теперь его будут считать важной особой, благодаря которой держится все общество.

Путем взаимных уступок волк и овцы пришли к соглашению и договорились о том, что волк в награду за охрану овец от неведомого врага может когда угодно являться в стадо и выбирать любую овцу, — поэтому они обязались отдавать волку каждого барашка, который родится в стаде. До сих пор волку самому приходилось охотиться за ягнятами.

Но однажды случилось чудо: родился барашек, который не попал волку в зубы! Мать, чувствуя, что ее детищу предстоит великое будущее, положила барашка в высокую крапиву и так храбро защищала его, что старые паршивые овцы, которых волк погнушался съесть и которые поэтому были избраны в совет мудрецов, не посмели выдать ее. В ранней молодости у этого барашка появилась необыкновенная припухлость на лбу и он вечно терся лбом о посторонние предметы, чтобы успокоить зуд. Барашек вырос, стал крупнее всех прочих овец, голова у него была тяжелой, — и в один прекрасный день у него прорезались рога!

«У него чешутся рога!» — говорили старые овцы и сторонились барашка. Молодому барану не с кем было бодаться, поэтому он всаживал рога в нависшие корявые ветви дубов. В его молодую голову запала мечта о том, что пора прорваться через лес и посмотреть, что делается по ту сторону.

«Он, конечно, посшибет себе рога! — говорили старики. — Пусть бы подождал, пока не подрастет!»

Но молодой баран, подрастая, не становился ручным и не жирел. Солнечный свет и поучения старых овец придавали ему только больше силы. И вот однажды он привел в исполнение свою затею и исчез! Вернулся он сильно ободранный, но с клочьями волчьей шерсти на рогах.

Великую и роковую весть принес он: в лесу не водилось никаких злых зверей, кроме волка, а за лесом не было ничего, кроме воды, — там море совершенно такое же, как и здесь! Остров можно было бы оббежать за какой-нибудь час! Все ужасы выдумал волк!

Овцы не слишком обрадовались этому открытию: они со страхом дожидались того часа, когда волк съест их, — и все-таки ждали его, как избавления от чего-то еще более страшного. И все шло благополучно!

«Он отнимает у нас нашу религию! — злобно говорили они о молодом баране. — Он насмеялся над нашими идеалами!»

Однако, сколько они ни жевали и ни пережевывали эту жвачку на разные лады, прежнего нельзя было вернуть: в стаде началось смятение. Более смелые примкнули к молодому барану и стали поговаривать о том, что надо бы обнести лес высоким частоколом.

Это была дерзкая мысль — самая смелая, какая когда-либо зарождалась в овечьем мозгу. Старые, верные долгу овцы покачивали своими глупыми головами: «Откуда же бедняга волк будет добывать себе пропитание?» Но дерзкая мысль находила все новых приверженцев, и однажды был созван большой митинг, чтобы обсудить этот вопрос. Овцы впервые созывались для обсуждения своих дел и поэтому дружно кинулись на митинг!

В самый разгар споров в стаде произошло замешательство — появился волк.

— Я пришел защищать свои законные права и полагаю, что пользуюсь неприкосновенностью! — сказал он, моргая глазами и косясь на рога барана. — Я всегда был добрый демократ и ничего не имею против того, чтобы вопрос был решен всеобщим голосованием. Я съел несколько сот вашего брата и потому требую, чтобы мой голос имел силу, во сто раз большую, чем голос кого-нибудь из вас!

Большинству овец это требование показалось довольно резонным. Молодой баран протестовал, но его не слушали.

«С ним только хлопот наживешь, будет с нас! — слышались крики. — Он осквернил нашу прекрасную, милую стадину!»

Барана изгнали из стада, и он удалился на уединенный мысок; там он жил и пасся один.

— Я предлагаю вам следующее, — продолжал волк. — Зачем нам свары и раздоры? Тот же господь, что создал вас, сотворил и меня. Присмотритесь к жизни — при уступчивости возможно любое существование. Повсюду, где желают достичь чего-нибудь положительного, идут на взаимные уступки. Мое предложение сводится к тому, чтобы вы огородили забором половину леса, а другую оставили открытой: таким путем будут удовлетворены законные интересы обеих сторон!

Это очень понравилось овцам; так они и сделали.

Только молодой баран был недоволен. Он один-одинешенек расхаживал на своем мыске, и уединение помогло ему накопить сил: попадаться ему на глаза никому не рекомендовалось!

Днем к нему нет дорог, но случается, что молодые овечки забредают к нему ночью, в полусонном состоянии, — и отдаются во власть его силе. А потом, словно чудом каким-то, каждое утро в росистой траве овцы находят маленьких барашков. Пока у них еще только чудесная припухлость на лбу, но в один прекрасный день у них отрастут и рога, — тогда они почувствуют свою силу...

КУКЛА

I

Во всем свете нет, должно быть, другого такого красивого леса, как лес в Тюрингии. Словно необычайный, совсем обособленный мир, стоит он там, уходя вершинами под самое небо,— то темный и угрюмый, то празднично украшенный сверкающим снегом. И кажется, будто природа, создавая его, все в него вложила — и гнев свой и милость. В гору и под гору тянется он; и столько в нем елей, что каждому человеку в мире хватило бы по отдельной рождественской елке.

Странное дерево ель: из всех деревьев только она умеет приноровиться и расти в такой тесной близости к другим,— и в то же время нет дерева более одинокого, чем ель. Право, можно подумать, что ель, как человек, способна замкнуться, ошестившись во все стороны своими жесткими иглами. Тронь ее — она уколёт, напоив все вокруг чудесным ароматом.

Плечом к плечу стоят ели тюрингенского леса и качаются из стороны в сторону — дремлющая бесчисленная рать погруженных в свои сонные думы исполинов. Внизу, под их широкой сенью, таится суровый покой, нерушимый, как сама вечность, а верхушки всегда шумят — и в бурю и в тишь. У их подножий во всякое время найдется тихое, уютное местечко для отдыха,— ибо что может быть мягче и гостеприимнее, чем мшистая земля под елями.

Раз в году, перед самым рождеством, в тюрингенском лесу появляется много людей. Зеленая лесная молодежь

сотнями тысяч переселяется вниз, в большие и малые города низменности, и старики-исполины остаются одни. Покачивая могучими главами над вырубленными местами, они терпеливо засевают землю новыми семенами. Однажды берлинец, проснувшись поутру, видит, что каменная пустыня города за ночь зазеленела: повсюду — на площадях, на тротуарах — стоят юные, сияющие свежестью елки. Еще несколько часов, и рождественские елки завладевают бесчисленными балкончиками. Серая, скучная столица становится похожей на воплотившуюся в жизнь пышную, яркую сказку о лесе, одевшем зеленью голый утес.

Для мрачного леса это великое событие в году.

Там, в горах, можно бродить днями, неделями, не встретив ни одного человека, изредка слышится в глухой чаще топор дровосека, по выступу вьется одинокая тропинка, с которой открывается вид на долину, где, зацепившись за крутой горный спуск, как бы повисла деревушка. Кажется, будто люди здесь целиком зависят от леса: они не корчуют деревьев, не возделывают землю под пашню; прячась в лесном мраке, они живут, как затворники, в своих хижинах, сиднем сидят на месте, только руки их находятся в действии.

Зато и мастера же они своего дела! Таких тружеников с поразительно ловкими пальцами, как жители Тюрингии, не скоро сыщешь. Отсюда, из лесной темной глуши, идут всякие нужные в обиходе мелкие вещицы и безделушки, которыми снабжаются дешевые базары всего мира; здесь же выделяются и елочные украшения. Но что еще удивительнее, именно в этом угрюмом тюрингенском лесу производится большая часть игрушек, которыми забавляются и стар и млад в целом мире.

Быть может, это объясняется желанием скрасить себе лесное одиночество, облегчить шестнадцать — восемнадцать часов каждодневного изнурительного труда ради жалкого куска хлеба, свою серую, тяжелую, беспросветную жизнь, которая накладывает лапу на людей, едва только они выходят из утробы матери? Здесь, в горах, рождаются забавные карнавальные маски: Пьерро, рогатый черт, карлик с лицом горбуна, добродушно-нелепая рожа деревенского дурачка — вся та нюрнбергская мелочь, из которой детишки строят свой первый веселый мир, все те забавные

игрушки, плоды причудливого воображения, которых из года в год наперебой домогаются рождественские базары по всех странах мира. Все это родится здесь — в гнетущем лесном мраке.

Словно и взрослые и малыши, обитающие в тюрингенском лесу, прекрасно знают все темные уголки человеческой души и задались целью хоть немного осветить их. Богатейшая фантазия здешних бедняков с землисто-серыми лицами создает эти изделия и разбрасывает их на радость и на потеху людям по всему земному шару. Здесь изготавливаются куклы, которыми играют повсюду на земле: даже негритянские ребятишки получают своих курчавых угольно-черных кукол отсюда.

II

В местности около Финстербергена главным образом производятся куклы. Надо обладать необыкновенной ловкостью пальцев, чтобы этим трудом кое-как прокормить семью. Поэтому муж плохой добытчик в доме, чуть большего стоит жена, но подлинными кормильцами семьи являются дети. Здесь, не в пример обычному, чем больше детей в семье, тем больше ее достаток.

У супругов Гессерт был один-единственный ребенок, да и тот родился поздно. Многие годы казалось им, что у них вообще уже не будет помощника в работе. Но карлик Кериллис так долго бился над матушкой Гессерт, так колдовал над ней, заговаривал, давал пить всякие снадобья, настоянные на волшебных травах, что она поддалась, наконец, его лечению и произвела на свет ребенка, будучи в таких летах, когда другие женщины исподволь уже готовятся стать бабушками.

Жили они в самом высоком месте лейнской долины, у первого горного склона, пересекаемого стремительной Лейной, в маленькой хижине, со всех сторон окруженной лесом. Когда-то из обоих оконцев горницы открывался широкий вид на всю долину внизу и за ней, сквозь выемку между двумя поросшими лесом горными вершинами, на далекую равнину с видневшимся вдали Эрфуртским собором. Перед самой хижинкой проросли из земли никем не сажанные ели, и Гессерт дал им вырасти. Жена было

заикнулась о том, чтобы вырвать их, но муж забранился: «На что нам этот вид? — ворчал он. — Так возле нас кустика зеленого сроду не будет. Хорошо, кабы хвойный лес совсем нас загородил!»

И хвойный лес действительно вырос вокруг них густой стеной. Когда мальчику хотелось поймать хоть лучик солнечного света, ему, по мере того как время шло, приходилось забираться все дальше от хижины. Таким образом, он с детских лет уже сжился с мыслью, что от счастья и радости его отделяет далекий путь. Все реже и реже выдавалось у него свободное время, чтобы сбегать к прогалине и выглянуть в открытый, вольный свет, — так как уже на четвертом году жизни он вынужден был зарабатывать себе на хлеб. Его заставляли повертывать только что вынутые из каменных форм кукольные туловища без конечностей, уложенные на валуны за хижинкой для сушки. Потом он должен был своими крохотными пальчиками плотно набивать эти формы размоченной картонной массой, в то время как мать очищала края форм и бережно вынимала готовые оттиски. Такой работы ему пока нельзя было доверить, и он радовался этому: труд убил в нем детское честолюбие, и малыш с ужасом ждал, что вот, наконец, ему скажут: «Ты уже теперь большой и можешь делать вот то или это».

Плохо быть единственным ребенком в семье, живущей такого рода трудом, когда только целая куча детей может обеспечить ей некоторый достаток. Однажды маленький Гейнц, мучимый голодом, съел клейстер, приготовленный из ржаной муки. И отец побил его.

От непосильной работы мальчик стал серьезен не по летам. Когда отец уходил, бывало, из дому в лес на заготовки, у матери словно спадал с плеч какой-то гнет. Она вспоминала дни своего девичества и, работая вместе с Гейнцем, напевала ему разные плясовые мелодии и любовные песенки или рассказывала о своей работе в прядильне и о прочих радостях, какие знала когда-то там, внизу, в родной деревне. Но Гейнц почти не слушал ее.

Школа внесла немножко разнообразия в его полное труда детство, — правда, мало радости было задерживаться дома до последней минуты, а потом со всех ног бежать в школу и после уроков торопиться домой, чтобы снова засесть за ненавистную работу. Зимой, когда белый покров ло-

жился на тюрингенский лес, единственным и лучшим удовольствием было нестись вниз на салазках и, вихрем пролетев пять километров до деревни, лихо подкатить к самой двери школы. И когда он, бывало, примчится сверху, из темного леса, словно его ветром оттуда снесло, весь в снегу, с неизменно печальным лицом, на которое лесная тишина наложила свой отпечаток,— его встречали в школе, как героя.

Дома же он любил, сидя за работой, спокойно, без помехи уйти в себя. Мысленно он представлял себе детей, которым придется играть сделанными им игрушками; ему хотелось знать, как они выглядят, разрешается ли им не только играть, но и есть, сколько захочется; ноги у них, конечно, никогда не зябнут, у этих... Он не любил их.

Раз в неделю мать взваливала на спину высокую корзину, доверху наполненную кукольными туловищами, и бежала в ближайший город,— он был расположен на равнине, в трех милях от дома, и матери приходилось рано выходить и поздно возвращаться. Гейнц ждал ее и не ложился спать, так как мать иногда приносила ему из города гостинцы. Если она задерживалась, Гейнц понимал, что на кукольной фабрике не нашлось больше работы и мать пошла в другой город, где главным образом изготавливались карнавальные маски, чтобы получить там заказ. Бывало, однако, что она возвращалась домой только на следующее утро, изнемогая под тяжестью материалов, из которых надо было сделать елочные украшения: мишуру, разные картонные игрушки, блестящие звездочки и настоящие рождественские звезды, которые прикрепляются к самой верхушке елки. Значит, мать в поисках работы побывала где-нибудь еще дальше и могла рассказать много чудесного. Гейнц часто отрывался от работы и слушал ее.

Несколько раз и он ходил вместе с ней на фабрику в ближайший городок, сдавать заказ. Но обычно он просиживал дома весь день один, и тогда ему приходилось вдвойне приналегать на работу.

Вот когда, должно быть, родилось в нем чувство заброшенности в далеком лесу и детское отвращение к однообразному труду, неотвязно преследовавшие его. От скуки он принялся рисовать на масках совсем другие лица, переносил брови, бороду и многие черты с одной маски на другую. Это его забавляло, хотя он никогда не смеялся. Так возникли

те разнообразные маски, которые на некоторых веселых маскарадах, где-нибудь далеко, быть может в ста милях от мрачного леса, привлекли больше всего внимания. Гейнц тщательно прятал переделанные им маски под грудой готовой работы, а если не умел сам хорошенько спрятать, это делала мать, когда он лежал уже в постели. Отец, обнаружив случайно его невинное озорство, задавал ему трепку. Мальчик заметил, что, когда его бьют, мать страдает больше, чем сам он: должно быть, ей тоже больно, думал он и успокаивался.

Он становился все более и более «трудным» мальчишкой; не раз жаловался на это отец, сидя субботними вечерами в деревенском трактире. Гейнц терпеть не мог леса, который вечно маячил перед хижинкой — страшный, угрожающий, сердито разевая темную пасть на голые оконца. Гейнц ненавидел его! Ненавидел и кукол и всех тех чужих детей, которые станут ими играть. У него было много странных причуд.

Как ни мал он был, он умел до боли сердиться по поводу самых пустячных вещей, и это решило его судьбу.

Как-то раз, сидя дома один и изготавливая кукольные туловища, он вдруг почувствовал отвращение к куклам: вечно он делал этих девчонок, и до чего же они опротивели ему! Почему среди всех этих кукол нет ни одного славного мальчишки? Его охватило непреодолимое желание сделать хоть одного мальчишку, и он принялся перочинным ножом обрабатывать форму из мягкого камня. Получившиеся фигурки развеселили его, и когда мать вернулась, несколько дюжин мальчишеских туловищ лежали уже и сохли. Хорошо он поработал!

К его удивлению, мать заплакала и в отчаянии смяла в комок весь перед юбки. Форма была испорчена, материал загублен, и ей волей-неволей пришлось рассказать об этом отцу. На этот раз Гессерт жестоко избил сына. Казалось, каждым ударом он хотел возместить весь недельный заработок, и Гейнцу пришлось несколько дней пролежать в постели.

Лежа на спине, ноющей от побоев, мальчик решил уйти из дому в тот далекий мир, куда отправлялись куклы, и той самой дорогой. Уйти туда, где не растут ореховые палки, где детей не заставляют просиживать весь день на одном

месте и делать игрушки и за это получать только побои, — наоборот, надо идти туда, где дети сами играют ими! Существует же где-то другой детский мир, который черпает для себя радость из черного леса и отнимает ее у здешних детей. Гейнц давно уже догадывался о том, как светел и радостен этот мир, и решил во что бы то ни стало уйти отсюда, чтобы попасть в него.

Когда в субботу утром мать взвалила на спину свою ношу и отправилась в путь, Гейнц поднялся с постели. Отец работал в лесу. Сунув за пазуху кусок картофельной запеканки, мальчик взял свои салазки и пустился бежать от хижины, словно за ним кто гнался. Отбежав уже на некоторое расстояние, он вспомнил, что матери, когда она вернется, нечего будет есть. Тогда он бросился назад, положил запеканку на камень у порога и уже собрался снова пуститься в путь, как вдруг сообразил, что запеканку может съесть лисица, — вернулся опять и положил еду на верхний косяк двери, куда обычно клали ключ. После этого Гейнц направился в лес, но не к долине, как обычно, а стал карабкаться вверх. К полудню он пересек весь лес и очутился на самом верху, откуда открывался широкий вид на равнину.

Стоял один из тех ясных, тихих дней, когда тюрингенский лес действительно стоит как обособленный, погруженный в себя мир, уходящий ввысь под самые облака, — светлый, радостный, волшебный мир. Гейнц никогда не думал, что земля может быть такой праздничной, такой торжественной. Бури с корнем выворотили здесь высокоствольный лес, и уцелели только немногие — одинокие могучие исполины, которые стояли покачиваясь, словно хотели убаюкать какую-то боль. У их подножий лежал в зимнем сне молодой лес, весь заснеженный и похожий на бесчисленные стада свернувшихся клубком зверей самых причудливых форм, все в белом пушистом меху.

Взгляд Гейнца проникал теперь далеко, далеко, за белоснежные горные цепи, за которыми, глубоко спрятавшись в лесистых темных долинах, приютились деревни: все это вместе было его родным краем, а еще дальше, в расселине между горами, раскинулась, ярко синяя, низменность, укрывая в своем лоне город, над которым высился величавый купол собора. Там лежал вольный мир божий! Туда и стремился мальчик.

Гейнц шел все дальше, никуда не сворачивая, пока не добрался до дороги, которая, извиваясь, вела вниз. Улегшись животом на санки, он понесся по ней, оставляя позади километр за километром, устремив взор вперед. Гейнц не строил никаких романтических догадок о том, что его ждет впереди, он просто катился и катился вниз — навстречу неизвестности. Одного уж этого бегства было достаточно: такого приволья, такой радости он никогда еще не испытывал.

III

То, что пережил маленький Гейнц с того дня, как убежал из дому, и до той поры, когда в чужой стране обзавелся своей семьей и своим делом, называют обычно историей человеческой жизни. И с любым может повториться то же, — с каждым в жизни что-нибудь да случается. И когда человек так же мало избалован, как Гейнц, то требуется очень уж что-то тяжелое, чтобы ему пришлось до крайности трудно. Отъезд из дому в конце концов не столь уж необычное дело: немножко больше или меньше пережитого — вот его следствие. Необычайное для большинства людей, покинувших родной дом, начинается с той минуты, когда дорога снова поворачивает к дому. С течением времени Гейнц, как и многие другие, совсем забыл о том, с чего он начал, — и то обстоятельство, что он опять вернулся к своему ремеслу, было поистине чудом.

Когда Гессерт, который всю неделю отсутствовал, вернулся домой в воскресенье утром и услышал, что маленький Гейнц сбежал, он засмеялся, чего с ним прежде никогда не случалось. И жена почувствовала себя от этого еще несчастнее. «С ним что-то неладное», — подумала она и побежала на кухню готовить мужу картофельные клецки, его излюбленное кушанье.

Гессерт молча глотал, не замечая, что ест свои любимые клецки, и сколько жена ни заговаривала с ним, он ничего не отвечал. Сидел неподвижно, жевал, кивая головой, словно хотел сказать: «Я уж... Я уж это дело улажу!»

Насытившись, он вышел из дома и вернулся с толстой длинной палкой, несколько раз помахал ею и принялся укладывать заплечный мешок.

— Опять уходишь? — огорченно спросила жена.

Он только кивнул ей и направился к двери.

Гессерт ушел из дому, даже не попрощавшись, и стал подниматься вверх через лес, той же дорогой, какой ходил всегда на работу, но как только хижина исчезла из вида, он повернул вниз, к деревне. Спускаясь, он то и дело так громко звал мальчика, что слышно было во всей долине, и каждый раз при этом замахивался палкой, словно хотел подкрепить свой зов обещанием хорошей трепки.

В деревне он справлялся о мальчике во многих домах.

— Я наказал его за дело! — говорил он и вытаскивал каменную форму в доказательство того, как скверно вел себя мальчишка. — Но я заставлю бездельника повернуть опять носом к дому! — И он потрясал палкой.

В деревне Гессерту ничего не удалось узнать, и он вернулся в лес. В его походе не было уже прежней твердости. Он пересек проезжую дорогу и спустился в долину с другой стороны, часто останавливался и подолгу звал мальчика. Наконец, он понял, что палка ему только мешает, кинул ее прочь и, поднимаясь на высокие места, где его легко было разглядеть, показывал пустые руки и звал сына; голос его звучал теперь слабо, умоляюще.

В трактирах хорошо принимали человека, бродившего в поисках сына, угощали его кружкой пива, и он без конца повторял рассказ о сбежавшем мальчугане.

— Вы только посмотрите! — говорил он, показывая каменную форму. — Способный ведь парнишка, а? Должно быть, побоялся, что я надаю ему еще оплеух, и потому удрал. Такая форма стоит ведь денег. Но черт с ней! Можете, вы встретитесь ему, так вы скажите ему, что это пустячное дело и мы на него за это не сердимся. — В голосе его чувствовалась боль, и он внушал людям жалость.

Пространствовав так недели две, Гессерт вернулся домой. Сославшись на головную боль, он улегся в постель, а жене сказал, что большое дерево упало на него и ударило его по голове.

С того дня Гессерт повел себя по-другому. Он, как и прежде, иногда уходил в понедельник с утра и возвращался к концу недели, принося целиком весь недельный заработок. Но не раз теперь случалось, что он возвращался с пустым карманом, и тогда жена знала, что он ходил искать сына.

Бывало и так, что он подолгу лежал дома на лавке, повернувшись лицом к стене, накрыв подушкой голову. И это было еще хорошо, — в таких случаях он не таился от жены, и она знала, как к нему подойти. Она делала все, чтоб удер­жать его дома, и, сидя за работой, развлекала его разгово­рами и о большущем противном дереве, которое повинно в его головных болях, и о том, что ей нынешней ночью приснился их мальчик.

Жене Гессерта в эти годы солоно пришлось: она надры­валась от работы, стараясь не пустить нищету на порог дома, — и все-таки не видно было никакого просвета. Но она упорно боролась со всеми невзгодами с удивительной спо­собностью женщины из народа закаляться в несчастье: ни тяжкий труд, ни нужда не могли ее сломить. Никогда она еще с таким упорством не отдавалась этой нескончаемой, утомительной работе, как теперь. И никогда не проводила со своим мальчиком так много времени, как теперь, в мечтах и сновидениях. Каждую ночь она была вместе с ним, и только в эти часы и жила по-настоящему, а день прохо­дил в ожидании. Ее маленький Гейнц уехал на чужбину, чтобы обеспечить родителям на старости лет покой и доста­ток. Придет час, и он непременно вернется.

Когда головные боли становились невмоготу, Гессерт са­дился в постели и клал перед собой каменную форму, сде­ланную сыном. Набив ее размягченной картонной массой и вынув приготовленный оттиск, он чуть не в сотый раз показывал жене, как чертовски удачно переделал пар­нишка туловище девчонки-куклы на мальчишеское. Жена понимала, что в душе муж постоянно мучается сознанием своей вины перед сыном, и старалась отвлечь его от мыс­лей о нем. Но не думать о сыне не мог ни тот, ни другой; сами того не сознавая, они опять и опять заговаривали о нем.

С течением времени Гессерт согласился с объяснением жены относительно бегства сына, — может быть потому, что оно было более утешительным. Постепенно она заразила его своей верой в то, что сын их уехал, чтобы добыть сча­стья для всех них. Головные боли у Гессерта прошли, жена привлекла его опять к работе. Правда, работа эта не­многого стоила, но заварить клейстер, размочить бумажную массу и прочее в этом же роде он мог.

Пока она этого добилась, оба совсем состарились. Особенно сказалоcь это на Гессерте: он с легкостью теперь превращал работу в забаву; излюбленным его занятием стало набивать бумажной массой старую, испорченную Гейнцем форму, чтоб при случае украдкой сунуть несколько мальчишеских туловищ на дно корзины: ему хотелось помочь сыну пробить дорогу его изобретению. И тогда внизу, на фабрике говорили: «Ну, старый Гессерт с Лейны опять зачудил!»

Жена следила, как могла, чтобы изуродованные туловища не попадали в сдаваемый ею товар, но Гессерт умел перехитрить ее, он был очень упорен в своей болезненной изобретательности: как будто оттого, что он будет все портить, зависели и жизнь его и вечное блаженство. А чем тут было хвастать? Когда-то мальчуган просто созорничал, смастерил перочинным ножом нечто неподобающее... Мать любила своего маленького Гейнца и помнила обо всем, что его касалось, даже о его склонности переделывать каждую вещь по-своему, — но она так и не научилась понимать его. Много горьких слез стоила ей эта склонность мальчика, и теперь, на старости лет, ей приходилось бороться с ее последствиями.

И все же случилось так, что именно Гессерт со своей сумасшедшей затеей оказался на правильном пути! Может быть потому, что он просто впал в детство и теперь по своему умственному уровню мало чем отличался от маленького Гейнца.

Как раз в эту пору входили в моду самые разнообразные куклы, и когда владелец фабрики как-то увидел одно из таких сунутых Гессертом на дно корзины кукольных туловищ, он вдруг заявил: «А что в самом деле, почему бы их не пустить в ход? Попробуем, разошлем по свету этих мальчишек!»

Куклу окрестили Гейнцем, по имени ее маленького автора, и старикам Гессертам было заказано столько пробных экземпляров, сколько они в силах были изготовить. Кукол нарядили в живописные костюмы, какие носят крестьянские мальчики в нагорной части лейнской долины, и, уложив каждую в красивую коробку, разослали по всему свету — тем фирмам, с которыми фабрика вела торговые дела.

Однажды утром по главной улице маленького датского городка Гаммелькебинга брел, спотыкаясь, почтальон, одетый в красную форму. Была оттепель, ярко светило солнце, вешняя вода, журча, струилась между торчащими камнями мостовой, и старому письмоносу приходилось прыгать с камня на камень, так что пакеты тоже подпрыгивали у него в почтовой сумке, висевшей за плечами. Особенно беспоякойно вел себя верхний маленький пакет, он каждую минуту перекидывался через голову и ударял почтальона по широкому губчатому носу, который, вероятно по долгу службы, аел еще ярче, чем его форма.

Чуть подальше, в середине узкой кривой улицы, спускалась старинная каменная лестница, выдаваясь далеко вперед, до самой водосточной канавки. Над лестницей висела старая, художественно выполненная из кованого железа вывеска, жалобно скрипевшая под весенним ветром. Затеиливые буквы на ней можно было разобрать с трудом, но над самой дверью написано было ясно и отчетливо:

ГЕНРИХ ГЕССЕРТ	
МАГАЗИН КУКОЛ	КЛИНИКА ДЛЯ КУКОЛ

Гейнц Гессерт как раз сидел за утреним кофе, держа на коленях двухлетнего сынишку, когда пришла почта. Жена была в магазине.

— Гейнц, Гейнц, поди-ка сюда посмотри! Совсем новая модель — кукла-мальчик! И зовут ее, как и тебя!

Гейнц Гессерт мгновенно очутился в магазине. Он вел себя словно одержимый, когда дело касалось чего-либо нового в кукольном деле, и прямо-таки набросился на куклу. Жена стояла рядом, влюбленно наблюдая за ним, — ей было всегда так радостно смотреть, когда он берется за куклу и с видом знатока исследует работу. Его же самого чрезвычайно удивляло, как это случилось, что он стал владельцем именно кукольного магазина: «Любая другая профессия, — говорил он, — была бы мне больше по душе». Однако это не

ему слыть специалистом, прекрасно разбиравшимся в своем деле: многие зачастую поражались, какие мельчайшие детали умел он разглядеть в кукольном туловище, которое на взгляд всякого другого ничем решительно не отличалось от остальных.

Однако никогда еще Гейнц столько не занимался куклой: он без конца вертел ее во все стороны, и делал это как-то первично. Жена ждала, что он вот-вот что-то скажет, сделает какие-нибудь забавные замечания, — и вдруг увидела, что руки у него дрожат и он меняется в лице. Ей стало страшно.

— Гейнц! — крикнула она и подошла к нему.

Он отвернулся и тихо прошел к себе в контору, как-то странно безжизненно держа в руках куклу.

Много раз подходила жена к двери: она догадывалась, что тут кроется нечто, связанное с неизвестной для нее стороной его жизни — с его ранним детством, и что ему хочется побыть одному. Но она сгорала от желания быть сейчас подле него, посочувствовать и ласково положить ему руку на голову. Наконец, она не могла больше выдержать и потихоньку пробралась к мужу. Он сидел подавленный, ослабевший, как бы после тяжелого душевного потрясения, уставившись глазами в одну точку. Перед ним лежала раздетая донага, вся растерзанная кукла.

— Уйти мне? — чуть слышно спросила жена и любовно погладила его по волосам.

Только сейчас осознав ее присутствие, Гейнц схватил обими руками ее ласкающую руку и поцеловал.

— И опять пережил свое детство, — тихо, почти боязливо сказал он.

И как только выговорил это, облегченно вздохнул и принялся рассказывать какую-то смутную, фантастическую историю о маленьком мальчике, жившем в глубине темного, угрюмого леса, о хижине, затерявшейся в горах, о ненавистной работе, приковывавшей его к месту, о липком клейстере и размокшей картонной массе... Это была сказка о мальчишке, превратившемся в злобного чертенка оттого, что его заперли во мраке, как в тюрьме, чтобы он делал игрушки для детей, которые жили в далеком, светлом мире. Все это позабылось, но сейчас как живое встало перед ним. Одно всплывало в памяти за другим: вспомнилась каменная форма

Однажды утром по главной улице маленького датского городка Гаммелькебинга брел, спотыкаясь, почтальон, одетый в красную форму. Была оттепель, ярко светило солнце, вешняя вода, журча, струилась между торчащими камнями мостовой, и старому письмоносу приходилось прыгать с камня на камень, так что пакеты тоже подпрыгивали у него в почтовой сумке, висевшей за плечами. Особенно беспоянно вел себя верхний маленький пакет, он каждую минуту перекидывался через голову и ударял почтальона по широкому губчатому носу, который, вероятно по долгу службы, алел еще ярче, чем его форма.

Чуть подалее, в середине узкой кривой улицы, спускалась старинная каменная лестница, выдаваясь далеко вперед, до самой водосточной канавки. Над лестницей висела старая, художественно выполненная из кованого железа вывеска, жалобно скрипевшая под весенним ветром. Затеиливые буквы на ней можно было разобрать с трудом, но над самой дверью написано было ясно и отчетливо:

ГЕНРИХ ГЕССЕРТ	
МАГАЗИН КУКОЛ	КЛИНИКА ДЛЯ КУКОЛ

Гейнц Гессерт как раз сидел за утренним кофе, держа на коленях двухлетнего сынишку, когда пришла почта. Жена была в магазине.

— Гейнц, Гейнц, поди-ка сюда посмотри! Совсем новая модель — кукла-мальчик! И зовут ее, как и тебя!

Гейнц Гессерт мгновенно очутился в магазине. Он вел себя словно одержимый, когда дело касалось чего-либо нового в кукольном деле, и прямо-таки набросился на куклу. Жена стояла рядом, влюбленно наблюдая за ним, — ей было всегда так радостно смотреть, когда он берется за куклу и с видом знатока исследует работу. Его же самого чрезвычайно удивляло, как это случилось, что он стал владельцем именно кукольного магазина: «Любая другая профессия, — говорил он, — была бы мне больше по душе». Однако это не

мешало ему слыть специалистом, прекрасно разбиравшимся и своем деле: многие зачастую поражались, какие мельчайшие детали умел он разглядеть в кукольном туловище, которое на взгляд всякого другого ничем решительно не отличалось от остальных.

Однако никогда еще Гейнц столько не занимался куклой: он без конца вертел ее во все стороны, и делал это как-то первно. Жена ждала, что он вот-вот что-то скажет, сделает какис-нибудь забавные замечания, — и вдруг увидела, что руки у него дрожат и он меняется в лице. Ей стало странно.

— Гейнц! — крикнула она и подошла к нему.

Он отвернулся и тихо прошел к себе в контору, как-то странно безжизненно держа в руках куклу.

Много раз подходила жена к двери: она догадывалась, что тут кроется нечто, связанное с неизвестной для нее стороной его жизни — с его ранним детством, и что ему хочется побыть одному. Но она сгорала от желания быть сейчас подле него, посочувствовать и ласково положить ему руку на голову. Наконец, она не могла больше выдержать и потихоньку пробралась к мужу. Он сидел подавленный, ослабевший, как бы после тяжелого душевного потрясения, уставившись глазами в одну точку. Перед ним лежала раздетая донага, вся растерзанная кукла.

— Уйти мне? — чуть слышно спросила жена и любовно погладила его по волосам.

Только сейчас осознав ее присутствие, Гейнц схватил обими руками ее ласкающую руку и поцеловал.

— Я опять пережил свое детство, — тихо, почти боязливо сказал он.

И как только выговорил это, облегченно вздохнул и принялся рассказывать какую-то смутную, фантастическую историю о маленьком мальчике, жившем в глубине темного, угрюмого леса, о хижине, затерявшейся в горах, о ненавистной работе, приковывавшей его к месту, о липком клейстере и размокшей картонной массе... Это была сказка о мальшке, превратившемся в злобного чертенка оттого, что его заперли во мраке, как в тюрьме, чтобы он делал игрушки для детей, которые жили в далеком, светлом мире. Все это позабылось, но сейчас как живое встало перед ним. Одно всплывало в памяти за другим: вспомнилась каменная форма

куклы-девочки, переделанная в куклу-мальчика, его бегство из страха перед наказанием... И в то время, как он об этом рассказывал, в памяти его внезапно всплыл образ отца: ему показалось, что он видит, как отец стоит в низких дверях, с топором и пилой за плечами и с сумкой в руках.

— И все это ты таил от меня, молчал? — всхлипнув, воскликнула жена и покрыла кукольное тельце поцелуями. — Но почему же, Гейнц?

— Я действительно забыл об этом, — грустно ответил он. — О матери у меня сохранилось еще какое-то смутное представление — мне помнится ее кроткое лицо, склонявшееся надо мной, но все остальное развеялось, как дым. Я сам, должно быть, старался вытравить из памяти прошлое.

— Но почему же?

— Вероятно, боялся, чтобы не дознались, откуда я, и не отправили меня назад. А может быть... дети ведь тоже умеют ненавидеть, понимаешь?

— Значит, это судьба привела тебя именно в нашу страну! — Глаза жены засияли сквозь слезы.

Гейнц обнял ее.

— Да, самая чудесная случайность в моей жизни! И как это действительно произошло? Я как сквозь сон помню большую дорогу и незнакомого человека, который вел меня за руку: должно быть, это был какой-нибудь странствующий подмастерье, случайно забредший в эти места. Кажется, мы всюду напрасно добивались работы, — потому что мне вспоминается множество дверей, которые тогда одна за другой захлопывались передо мной. Он, должно быть, привез меня в Копенгаген, а потом почему-то пропал... Я помню все очень отчетливо с того момента, как поступил рассыльным в какой-то крупный магазин на центральной улице, торговавший игрушками, но своего спутника так и не помню. Меня оставили работать при магазине и обучили...

Жена покачала головой.

— Как удивительно складывается жизнь, — мягко заметила она, мечтательно глядя куда-то; повидимому, мысли ее были чем-то заняты.

Она думала: как бы сложилась ее жизнь, если бы всего этого не было?.. И, вздрогнув, очнувшись, схватила куклу и горячо поцеловала ее.

— А теперь тебе нужно съездить на родину и разыскать своих стариков,— решительно сказала она.

— Боюсь, не поздно ли,— ответил Гейнц и внезапно разразился горячими слезами.

Жена прижала его голову к своей груди и дала ему выплакаться. Все тяжелое и мрачное в его жизни, казалось, сейчас как бы растаяло и пролилось, как дождь.

V

«Дорога из дому и дорога домой,— говорит пословица,— одинаковы по длине». Но для Гейнца второй путь был значительно короче и легче, чем первый. Спустя два дня после того, как кукла — олицетворение судьбы — принесла ему привет с родины, Гейнц высадился из вагона в Вальтерсгаузене: там, на большой кукольной фабрике, он получил все нужные ему сведения. Был как раз тот день, когда старая матушка Гессерт обычно сдавала работу. Лучше обождать часа два-три, сказали ему, чем самому проделать эту поездку в горы. Но незнакомец не захотел ждать и тут же пешком отправился в Финстерберген. Навстречу ему, спускаясь по горной тропинке, ведущей из Фридрихрода в Финстерберген, шла старушка с тяжелой ношей на спине. Тропинка после оттепели вся обледенела, и громоздкая корзина затрудняла ходьбу. Чтобы не скатиться с горы, старушке на каждом шагу приходилось хвататься за длинные, низко стелющиеся ветви елей. Внезапно старушка очутилась в крепких объятиях Гейнца, прежде даже чем успела его заметить. Освободив мать от тяжелой ноши, Гейнц поднял ее и опустил прямо на мягкое, мшистое ложе под елями, в то время как сердце его исходило слезами радости и боли. Ах, какая она маленькая, легкая! Суровая жизнь наложила на нее свою тяжелую руку и пригнула ее к самой земле. Но на этом добром морщинистом лице светились детски-доверчивые глаза, которые были так похожи на глаза его сына.

Ничто так глубоко не трогает, как ласка рук, ради тебя загрубевших в работе. И Гейнц почувствовал, что силы изменяют ему, когда эта маленькая увядшая женщина гладила его искривленными от ревматизма пальцами. Только теперь

он понял, какая тень омрачала все его существование, даже когда он стал взрослым: он был лишен матери.

Маленькая старенькая мать только улыбалась, лаская своего мальчика, и слепнувшими глазами смотрела на него — такого большого, такого красивого. Ее ничто на свете уже не могло удивить. Она всегда знала, что он вернется: мальчик покинул дом ради всех них, и теперь он опять с ними.

— Ну и рад будет отец! — сказала она, голова ее тряслась от старости.

И это были ее первые слова, с которыми она обратилась к сыну.

ПАССАЖИРЫ НЕЗАНЯТЫХ МЕСТ

Мы мчимся в скором поезде... навстречу датскому лету. Стоит один из тех сереньких, туманных дней, когда солнце прячется где-то и льет на землю серебристый свет. Повсюду тишь, все дрожит и мерцает в мгlistом сиянии. Ландшафт, медленно развертывающийся перед нашими глазами, также трепещет в теплой мгле.

В такой день влажный воздух легким флером переливается над лесами и полями, и воды то сверкают голубым блеском, то мерцают, как серебро.

Именно в такой день стоит смотреть Данию! В других странах все контуры четко вырисовываются на синеве небесного свода, теряющегося вдали. Здесь же нет этой пронасти между небом и землею: воздушное пространство плотно окутывает землю, смягчает ее черты и само становится похожим на нее. Каждая краска ландшафта, как росой, омыта этим объятием неба, каждая линия кажется нежным следом этой ласки небес. В такой день хочется соблазнить своих соотечественников поездкой по Дании, в особенности тех, кто редко или никогда не видит родной земли!

В поезде немного народу; в длинном вагоне, в котором я сижу, всего каких-нибудь десятка два пассажиров, хотя вагон может вместить человек полтора. Тем унылее зияют незанятые места.

Моего единственного спутника по купе они не смущают. Как только поезд тронулся, он запер дверь нашего отделения и задернул занавеску на окне.

— Авось избавимся таким образом от новых соседей! — говорит он.

— Что вы собственно имеете против того, чтобы свободные места были заняты? — спрашиваю я. — Мне кажется, в купе с пассажирами уютнее, чем в пустом.

— Нечего сказать — уютнее! Повернуться нельзя, дышать нечем! Нет, я предпочитаю купе с наименьшим количеством пассажиров, а лучше всего, когда едешь один! — С этими словами он уткнулся в угол дивана у окна и закрыл глаза. Вскоре он уже храпел, сложив руки на животе.

По-моему, все-таки гораздо уютнее в переполненном купе, даже если кому-нибудь и приходится потесниться. Самый веселый экипаж — это вовсе не тяжелая карета с одинокой тучной человеческой фигурой, развалившейся на мягких подушках, а битком набитый шарабан. Незанятые места как бы излучают проклятия, всякое веселье замирает по соседству с ними. Однако такие пустующие места можно встретить во всех сферах жизни. Толстая фигура моего соседа временно господствует в купе, — разумеется, ему надо немало места, чтобы растянуться как следует.

Для большинства пассажиров незанятые места всего лишь удобство, так как можно вытянуть ноги; но для иных людей пустые места как бы оживают, открывая им мир человеческих желаний и человеческих лишений. Над незанатыми местами всегда как бы витает рой усталых от жизни человеческих душ.

Я закрываю глаза, утомленный видом мелькающих за окном пашен, а может быть, и зияющей пустотой, которая укоризненно и упорно смотрит на меня с пустых сидений купе. Храп моего соседа действует заразительно, — в конце концов сон одолевает и меня.

Когда я снова открываю глаза, купе полно пассажиров. Возле меня сидит старая женщина, которую, кажется, я где-то видел раньше. Желтая, сморщенная, она улыбается, скромно сидит на самом кончике скамьи, выпрямив спину, и подпрыгивает от каждого толчка; в своем накрахмаленном платье она напоминает школьницу, отправляющуюся на каникулы, или случайно залетевшую птицу, готовую сняться с места при малейшей тревоге. Ее соседи тоже не откидываются привольно на сиденья — сидят насторожившись, чопорно и прямо. Это целое семейство — муж, жена и трое

детей; бесомненно, что до самого последнего времени они странно бедствовали. Все они очень худы, с землистым цветом лица, с глубокими тенями под глазами, производящими впечатление пустых впадин. В их наружности нет ничего выдающегося, одежда висит на них неподвижными складками, как саван.

С минуту меня занимает вопрос: как они попали в поезд, который по расписанию еще не должен был нигде останавливаться? Но я тотчас же забываю об этом, меня больше интересует их необычайная внешность.

Старуха, сидящая возле меня, уронила на колени заскорузлые руки и смотрит вперед с выражением захватывающей радости, словно ребенок, впервые увидевший свет. Нет в мире ничего прекраснее устало опущенных рук бедной старухи! Я не могу удержаться и касаюсь ее искривленной ревматизмом руки с набухшими венами. Она холодна, как лед.

А вы, видно, давно не бывали в деревне, бабушка? — спрашиваю я.

Она кивает головой и говорит:

— Какое чудесное стоит лето!

— И давно вы не выезжали? — повторяю я свой вопрос.

Она мигает, потом говорит неопределенно:

— Иной раз не бываешь в деревне с той самой поры, как восемнадцатилетней девчонкой попадаешь в столицу. Но в конце концов все-таки выедешь за город!..

Верно, тянет в родные края?

Она таинственно улыбается.

Собственно, мои хозяева должны были отвезти меня туда; но я в конце концов сама взялась за дело! А то человек целых восемьдесят два года угождает другим, а о себе и не подумает. А есть, есть высокий холмик в углу погоста, он ждет меня в родном краю... Оттуда можно видеть солнышко, когда оно закатывается, и весь свет! Там хотелось бы мне покоемиться...

Это была та самая старушка из Северного квартала, теперь я ее узнал...

— Она ведь помирать едет! — вмешалась в разговор женщина помоложе, срывающимся голосом, как будто ее одергивали на каждом слове. — Очень уж она стара! А мы

вот едем потому, что хотим еще жить! Простите, я неразборчиво говорю,— они продали мою искусственную челюсть, чтобы израсходовать на то, что поважнее...

Она закашлялась. Только теперь я увидел, как страшно она худа. Кашляли и ее муж и дети; это был сухой кашель, вырывавшийся как из бочки, словно у них уже не было легких.

— Это чахотка,— прошептала она,— она всех нас одолела. Но теперь мы поживем возле моря и поправимся: у моря жить здорово!

— Как бы не поздно оказалось,— вставила старуха.— Иногда и поздно бывает, когда наш брат, беднота, берется за ум.

— Что ж, раньше нельзя было! Муж был щеточником, и все мы помогали ему в работе. Вот и отразилось на легких...

— Разве он не занимается больше этим ремеслом? — спросил я.

Разное приходило мне в голову: кто знает, может быть они каким-нибудь образом сумели использовать военную обстановку? Едут теперь на взморье целой семьей. Может, они заработали на спекуляции, хотя бы и самой мелкой?

— Нет,— отвечала женщина.— Пришла война — или, вернее, дороговизна — и очень нам помогла. Нам не хватало денег ни на что, даже на хлеб,— так обесценились наши гроши. И вот мы встретились с пророком из Томмерума...¹

— Пророком из Томмерума?..

— Да, и он обратил нас в свою веру. На том свете почти ничего не едят, в знак протеста против дороговизны,— и тогда уже все равно, сколько стоит пища. Платьев тоже не изнашивают: то платье, которое каждый из нас получает при поступлении в общину, сделано так, что его не приходится подновлять. А так как все члены общины разъезжают бесплатно, мы вот и решили, что можем съездить к морю все впятером.

— Разве вы без билетов? — спрашиваю я и с тревогой думаю: «Что будет, когда покажется кондуктор?»

Она с улыбкой качает головой.

— На что нам билеты? У бабушки тоже нет, потому что

¹ Томмерум (Tommerum) — пустое пространство (датск.).

и она из наших. Правда, бабушка? Да, наши узнают друг дружку с первого взгляда!

В ту же минуту появляется кондуктор. Он будит моего спящего соседа по купе, пробивает его и мой билет и выходит, даже не оглянувшись на остальных пассажиров!

Толстый сосед зевнул разок и опять захрапел. А женщины снова заговорили, стали рассказывать обо всех своих страданиях и лишениях, которых они натерпелись до того, как им «открылась новая жизнь». Мужчина и трое детей продолжали сидеть неподвижно; он как-то странно хрипел, а дети, казалось, даже не дышали. Но женщины не могли молчать: бесконечная повесть о страданиях лилась попеременно из уст обеих несчастных, как скорбная песнь, к которой могли бы присоединиться десятки тысяч людей.

— И подумать,— вырвалось вдруг у старухи,— как мы теперь хорошо устроены! Два раза, когда тоска по родным местам становилась мне неспособна, садилась я в поезд и хотела ехать,— я ведь знала из газет, что по всей стране каждый божий день ходят поезда и что в них довольно свободно. Писали даже, что в поездах очень много пустых мест. Но каждый раз меня высаживали из поезда. Чтобы добраться домой, мне пужно было дважды переезжать через море, и в первый раз я доехала только до переезда: меня задержали и отвезли назад; да еще толковали что-то насчет штрафа, хоть я ни у кого ведь не отняла места. А теперь я свободно могу ехать, куда хочу!

— Да, все пустые места на земле,— а их очень много,— принадлежат нам,— сказала женщина помоложе, обращаясь ко мне.— Наверное, и тебе трудно живется на свете, переходил бы лучше к нам! Мы не знаем, что такое дороговизна, у всех все поровну. Среди нас нет ни знатных, ни бедных, все равны перед лицом пророка из Томмерума.

Паровоз засвистел резко и протяжно. Мой толстый спутник зевнул и потянулся. Мы были уже у паромы. И не успел я оглянуться, как пассажиры незанятых мест исчезли.

Я снова увидел их на перроне — их и множество других людей, принадлежавших, как видно, к тому же миру. Они смешались с «настоящими» пассажирами, едва не растворив их в своей массе. Это хлынул сущий поток пилигримов, атаковавших паром.

— Странные люди разъезжают теперь по Дании,— сказал я кондуктору.

Он с удивлением посмотрел на меня.

— Вы имеете в виду эту шайку коммивояжеров? Да их у нас сколько угодно круглый год.

Но те, о ком я говорил, не были привидениями. Вот они заняли на пароходе огромную верхнюю палубу, где обычно разгуливают пассажиры первого и второго классов, и расположились на ней с такой непринужденностью, словно вся роскошь, не использованная другими, предоставлена только для них. Я собственными глазами видел, как они реяли в солнечном свете, чуть не сливаясь с ним,— пассажиры незанятых мест...

УЛИЧНЫЙ ПЕВЕЦ

Кто не любит певчих птиц? Даже начальство и то оберегает их и следит за тем, чтобы их не обижали. И мы всячески добиваемся, чтобы они вили гнезда поблизости от наших домов и распевали нам свои песенки. А уж если у кого в саду поселится соловей, человек этот чувствует себя прямо-таки облаканным природой.

Но уличный певец --- это дело особое. В противоположность всем пернатым певцам, он избрал своим местожительством столицу и встречается только там, и только в беднейших кварталах. В то время как соловей, например, предпочитает парки садам мелкого люда, уличный певец покидает свой квартал, как только он начинает застраиваться и богатеть.

Уличный певец --- это певчая птица бедняков. Появляется он только к зиме, когда все остальные певчие птицы давно уже смолкли, и обычно исчезает, как только в воздухе повеет весной. Голод и холод заставляют его петь, и тогда дворы столицы превращаются в огромные, звенящие песнями птичьи клетки.

Еще лет десять тому назад уличный певец был довольно обычным явлением в Копенгагене. Но из жителей города дружили с ним только бедняки, --- все остальные приходили в ярость, заслышав его пение. То же самое начальство, которое покровительствует жаворонкам и другим певчим птицам, к уличным певцам относилось враждебно и всюду расставляло им силки. И теперь уличные певцы почти что вы-

велись,— на мрачных задних дворах больших городов не должно раздаваться песен.

Вот коротенький рассказ о том, как был затравлен и погублен один из последних уличных певцов.

Механик Ванг происходил из того же слоя общества, как и многие всемирно прославленные теноры, и петь он тоже умел. Ведь почти все знаменитые певцы и певицы вышли из низов,— они олицетворяют одну из многочисленных попыток бедного люда заявить о себе во всеуслышание всюду на земле; их создает оптимизм, присущий беднякам.

Голос у Ванга был замечательный, и я часто думал, до каких только высот не вознес бы он своего обладателя, если бы...

Впрочем, всякие «если бы» да «кабы» были совершенно неуместны, так как Ванг был механик и имел жену и детей. Да к тому же и профессию свою он любил.

Как полагается порядочной певчей птице, он развлекал пением свою подругу и своих птенцов; и по вечерам, ко времени его возвращения с работы, жильцы главного дома, желая тоже послушать пение Ванга, открывали окна, выходящие во двор. Сам Ванг жил во флигеле на задворках.

Я ютился в крошечной мансарде с окном во двор и много славных вечеров провел дома, не зажигая лампы и предаваясь мечтам под звуки этой неумолчной песни во славу родного гнезда; казалось, она, подобно песне жаворонка, изливалась из каких-то неистощимых источников, она несла с собой приятный отдых после тяжелого рабочего дня и удивительную отраду для всякого; кто не по своей воле жил отшельником.

Как-то вечером не было слышно песен Ванга. Конечно, и раньше случалось, что он с женой иногда уходил в гости или еще куда-нибудь; все принимали такие перерывы как нечто неизбежное — капризы артиста! — и утешались тем, что повторялись они не очень часто. Но в тот вечер тишина во дворе была иною, по особому навязчивой, и какое-то необъяснимое предчувствие говорило мне, что на третьем этаже флигеля не все благополучно.

В последующие вечера песен Ванга тоже не было слышно. Я порасспросил кое-кого в доме и узнал, что Ванг остался

без работы. Больше мне ничего не сказали, да и не требовалось: одно проклятое слово «безработный» объясняло все.

Для населения окраин безработица в зимнюю пору — это все равно что опустошительная чума или холера, — никто не знает, переживет ли он завтрашний день. Стоит только безработице появиться в квартале, она, как призрак, отражается на всех лицах — они делаются синими, землисто-серыми и мрачно-сосредоточенными. Если встретятся двое, остановившийся взгляд их как будто говорит: «Как, ты еще жив?» В любую минуту земля может расступиться под ногами у каждого, и никто не знает, когда настанет его черед быть выброшенным из жизни. Если двое прощаются, то каждого тревожит затаенная мысль: «Кого-то из нас прихлопнет первым?» Никто не знает, когда пробьет его час. Люди спокойно и весело ложатся спать, а забрезжит день — и, оказывается, ангел голода уже посетил их и пометил дверь серым крестом. Страшно бывает, когда во время чумы одетые в черное люди стучат у ворот, чтобы забрать трупы, а из уст в уста перебегает шепот: «Пришли за Петерсеном!» Но не меньший ужас охватывает дом, когда, словно стон, разносится весть, что тот или другой стал безработным.

До сих пор дому нашему удивительно везло: благополучно прошло рождество, и наступил январь — месяц добрых надежд. Для бедняков Новый год означает не только усиление морозов, но и прилив жизненной энергии и бодрости, — вот и опять повернуло к теплу и свету! Все уже вздохнуло с облегчением, думая, что самое тяжелое время миновало, — и вдруг на семью Ванга обрушился такой тяжелый удар.

Из моего окошка видна была их квартирка, находившаяся напротив, на третьем-этаже. На столе, у широкого венецианского окна, стояла швейная машинка; здесь по утрам, когда в окно светило солнце, обычно сидела маленькая веселая фру Ванг; над ее головой канарейка в клетке всегда заливалась, как одержимая, под стук машинки, а на противоположном конце стола копался со своими игрушками трех- или четырехлетний бутуз. Что-то будет теперь с этой маленькой семьей, члены которой так любовно поглядывали друг на друга? У простого народа нужда редко когда отстает от безработицы, да и то не дольше, как на один-два дня.

Да, что-то теперь у них делается? Шторы на их окнах были всегда спущены. «Словно закрытые глаза,— думалось невольно при виде этих окон,— никто не должен знать, что творится за ними». Веселая когда-то семья замкнулась в своем уединении.

Я попробовал было сблизиться с ними, но не встретил отклика: раз я не заглядывал к ним в дни их благополучия, то незачем мне соваться к ним и теперь. Изредка встречая у ворот Ванга или его жену с каким-нибудь пакетом подмышкой,— вероятно, они направлялись в ломбард. Никто в доме не знал, как они выпутываются, но можно было догадываться, что кормятся они за счет своего имущества.

Однажды исчезли шторы, их заменили газеты и старая шаль; и эти предметы особенно горестно подчеркивали нищету, для сокрытия которой они были повешены. В этот день и в последующие я думал о семействе Ванга больше, чем следовало для сохранения моего душевного спокойствия,— судьба их действительно могла заставить человека вознегодовать против многого.

Но раз утром я был самым приятным образом выведен из своего скверного настроения: со двора вдруг донесся знакомый звонкий голос; в холодном зимнем воздухе он звучал, как трель жаворонка, парящего на распростертых крыльях. Нечего и говорить, что я мгновенно распахнул окно.

Посреди двора стоял с обнаженной головой механик Ванг и пел, поднимая лицо к окнам верхних этажей. Он пел «Прощание Тихо Браге»¹, и голос его взволнованно вибрировал в тесном пространстве, окруженном стенами. Во всех окнах показались люди и слушали пение, они аплодировали и бросали на асфальт завернутые в бумажку деньги. Мальчик лет десяти, старший сын Ванга, бегал по двору и подбирал их.

Выйдя немного погодя из дому, я столкнулся у ворот с Вангом и его сыном; они направлялись в соседний двор. Глаза Ванга сияли, когда он взглянул на меня; он поздоровался со мною, как человек, решившийся на опасный прыжок и сделавший его удачно.

— Только будьте поосторожней,— сказал я.— Вы ведь знаете, петь по дворам запрещено.

¹ Тихо Браге (1546—1601) — датский астроном и поэт.

— Запрещено, ну конечно! Вы мне лучше скажите, что только не запрещено в этой промозглой стране! Я два года разъезжал за границей с одним немецким монтером, мы побывали во всех городах Европы и ставили там машины,— и всюду людям разрешалось сколько угодно играть и петь на улицах, даже в Берлине. Но у нас на родине все такие угрюмые, видите ли! Ну, да мое преступление не так-то уж велико. А на случай, если появится полицейский, сынишка будет стоять у ворот и предупредит меня. Так что, наверно, все сойдет благополучно.

Повидимому, дела у него действительно наладились. Я с удовольствием наблюдал, как они с женой начали поправляться и прежняя веселая улыбка опять заиграла на их лицах. С окон исчезло безобразное прикрытие, шторы вернулись на свое место. Я часто встречал Вангов, идущих домой с пакетами подмышкой,— вероятно, они возвращались из ломбарда.

Успех всегда радует, но вдвойне отрадно видеть, когда люди собственными силами могут повернуть суровое колесо судьбы. Ванг во всех дворах был желанным гостем; в нашем квартале ему дали даже прозвище «Герольд¹ бедняков».

Я часто встречался с ним в нашем районе, и вскоре между нами установились дружеские отношения.

Однажды вечером он заглянул в мою каморку, спросить совета по очень важному делу. За последние годы в музыкальном мире появилась новая звезда — феноменальный тенор, бывший итальянский извозчик; один из профессоров Миланской консерватории случайно открыл его. Получив музыкальное образование под опытным руководством, тенор пересезжал теперь из столицы в столицу, и весь мир прямо-таки лежал у его ног. Слухи о его славе проникли, разумеется, и в нашу страну, и одно время много говорилось и писалось о том, чтобы залучить его в Копенгаген. Но дело сорвалось из-за его непомерных требований.

Ванг следил за ним по газетам и был сильно заинтересован его необычайной судьбой. Я неоднократно замечал, что он сравнивает себя с итальянцем — бывшим извозчиком! — и делает из этого сравнения определенные выводы. Голосу у Ванга был, это бесспорно! Но достаточно ли он хорош

¹ Герольд — фамилия известного датского оперного певца.

для того, чтобы на нем строить всю будущность, — этого я, конечно, не мог решить. Кроме того, на мой взгляд, ни мир, ни сам Ванг не выиграют оттого, что он и его семья покинут свой скромный, счастливый уголок, а взамен, возможно, на свете появится одной гастролирующей знаменитостью больше. Поэтому всякий раз, когда наша беседа грозила перейти к его артистическим стремлениям, я быстро менял тему.

Но сегодня Ванг сразу приступил к делу. Оказывается, итальянский певец все-таки придет к нам. И даже очень скоро. Газеты сообщали, что один из крупнейших наших земельных магнатов за большие деньги добился согласия певца выступить на вечере, которым этот магнат, по примеру предыдущих зим, намеревался отпраздновать переезд из имения в роскошный свой особняк на Бредгаде.

— Как вы думаете, не пойти ли мне к итальянцу и не попросить ли его испробовать мой голос? — спросил Ванг с пылающими от волнения щеками.

— Почему именно к нему? Ведь у нас и своих специалистов достаточно, — ответил я.

Ванг скривил губы:

— Наши господа ужасно не любят признавать дарование у человека из низов. А этот ведь сам вышел из бедняков. Если бы он нашел... — Ванг погрузился в свои, по-видимому весьма горделивые, мысли, лицо его приняло мечтательное выражение.

— Обучиться пению ведь страшно дорого стоит, — попытался я его образумить. — Потребуются целые годы, а семье-то ведь надо жить.

— Да, верно. Но ведь я зарабатываю очень прилично пением по дворам.

— Пока сходит с рук... Но это запрещается полицейскими правилами, и рано или поздно...

— До сих пор все шло хорошо...

— Вы сами знаете: повадится кувшин по воду ходить...

— Я не думаю, что мне надо опасаться полиции. Полицейские в нашем квартале меня часто видели. Да и чего ради им ввязываться в это дело? Итальянец будет петь для графа и его гостей на Бредгаде, может и королевский двор тоже явится его послушать. И ему заплатят десять тысяч. Ну, понятно, ему не швыряют деньги в газетной бумажке, и поет

он и роскошных залах. Но большой разницы между нами я все-таки не вижу, — у бедноты ведь нет другого концертного зала, кроме двора! Не запрещают же птицам петь на территории Копенгагена, а людям бросать им в благодарность хлебные крошки. И притом — всем нравится мое пение!..

Отговорить Ванга от его затеи было невозможно, и мне пришлось дать обещание написать письмо на немецком языке певцу, когда тот у нас появится.

На это письмо мы потратили почти целое воскресенье. Вангу оно все казалось недостаточно убедительным.

— Вся суть в том, чтобы произвести надлежащее впечатление. К нему, наверное, обращается пропасть народа, — говорил он таким тоном, словно гордился этим итальянцем.

Письмо было послано с расчетом, чтобы оно попало в руки певца тотчас же по его приезду. Ответа, насколько мне известно, так и не последовало. Но знаменитый певец все же сыграл роль в судьбе Ванга, — такую печальную, что все мы были поражены.

Произошло это в тот день, когда должен был состояться пресловутый вечер. Для дежурства у графского особняка, регулирования движения автомобилей и прочих услуг были назначены двое полицейских. Из участка их отпустили в полдень, чтобы дать им время отдохнуть и привести в порядок парадную форму. Оба жили на окраине близ Ягтвей и по пути домой разговорились о редкостном теноре, который должен был выступать вечером.

— Вот бы послушать его! — сказал один. — Но такое удовольствие не для нас!

Разговор ли о певце навел их на эту мысль, или же их обуяло служебное рвение, но только они сговорились провести день вместе и поохотиться в Северном квартале за бродячими певцами и другими «нищими». Разойдясь по домам, они оделись в старое тряпье, чтобы незаметнее подобраться к своей дичи на расстояние выстрела, а потом снова сошлись на площади Нерребро. Отсюда они обследовали по очереди все густо населенные боковые улицы, названия которых были даны в честь северных богов, причем для ускорения каждый взял на себя осмотр одной стороны улицы.

Ванг пел как раз в одном из дворов по улице Эгира, а сыпишка его караулил у ворот. Ванг пел песню: «Раз в субботу вечером». Вдруг какой-то человек, по одежде

больше похожий на тряпичника, схватил его за шиворот и объявил арестованным.

Ванг быстрым движением вывернулся. И тут в руке у этого оборванца, который за минуту перед тем прошмыгнул в ворота и начал копать в мусорных ящиках, он увидел блеснувшую полицейскую бляху — и пришел в ярость. Слишком уж это было гнусно: переодеваться для того, чтобы выслеживать людей! Ванг повалил полицейского на землю и, направляясь к воротам, чтобы скрыться с сыном, дал волю своему возмущению: «Этакий бандит! Фу ты черт!»

Он не расслышал свистка и, выйдя за ворота, угодил прямо в объятия второго полицейского. Ванг повернул обратно, вбежал снова в ворота, сбил с ног своего первого преследователя и перемахнул через забор. Полицейские гнались за ним по пятам. Он заскочил в какой-то склад, откуда не смог найти выхода. Тут его и схватили после короткой и кровопролитной битвы.

В нашем доме о событии этом узнали только под вечер, — вернуться раньше сынишка Ванга побоялся, — и сразу же сообразили, чем это пахнет. Безрассуднее Ванг не мог поступить — он, скромный Ванг, добродушнейший человек в мире, сцепился с полицией! Каждый из нас отлично понимал, что, будь полицейские в своей обычной форме, ничего этого не случилось бы. Ванг вышел из себя, потому что не выносил подвохов и подлости. Но теперь что можно было придумать? Он совершил святотатство, и самые лучшие отзвuky не смогут его спасти.

Обоим полицейским не пришлось в тот вечер красоваться в парадной форме перед графским особняком: тяжелые кулаки механика так здорово отделили обоих, что вид у них был совсем непрезентабельный. И это было тоже не в пользу Ванга! Он получил год исправительной тюрьмы.

Заключение не нанесло особого ущерба его душе. По моим наблюдениям, он один из немногих — если не единственный — вышел из тюрьмы неиспорченным. Только как-то странно притих он с той поры. И потерял голос.

— Это от сырости в камерах, — говорит он сам.

Но, может быть, в одинаковой мере повинны в этом и другие причины.

УТОПЛЕННИК

Свадьбу Карен Баккегор долго и на все лады обсуждали в приходе. Это был, пожалуй, единственный случай, когда больше всего разговоров об этом вели весьма уважаемые в округе люди, хотя сами они на свадьбе не присутствовали. Приглашать-то их, разумеется, приглашали, но за несколько недель до свадьбы окрестные хуторяне стали присылать невесте подарки и поздравления и вместе с тем просили извинить их, потому что... и каждый ссылался на какое-нибудь неотложное дело, мешающее его приезду. Сначала Карен Баккегор принимала эти сообщения за чистую монету, но вскоре догадалась, что делается это умышленно, — люди решили избегать ее!

— Можете оставить при себе вашу дрянь! — сказала она стоявшему у крыльца первому же посыльному, который привез ей подарок от своего отца и его извинения. — И вперед уж постарайтесь сюда не заглядывать.

Сын хуторянина с «Лугов», даже не попрощавшись, повернул лошадь и поскакал домой. Слух об оказанном ему приеме разнесся необычайно быстро и до вечера облетел весь приход. После этого никто уже не посылал Карен ни подарков, ни извинений.

Карен это пришлось по душе: лучше открытая война, чем те пересуды и шушуканье за ее спиной, которые она в последнее время замечала. Если люди, равные ей по положению, не нуждаются в ней, так и она сумеет показать, что прекрасно может обойтись без них. Свадьбу она решила отпраздновать на славу, а вместо каждого отказавшегося

хуторянина пригласила двух хусменов. Больше всего она огорчилась тем, что три ее взрослых сына не откликнулись на приглашение. Хотя они еще могут, пожалуй, приехать в самый день свадьбы... Ну а если даже не приедут, то бог с ними! Раз уж она может справлять пир без всех своих знакомых, то обойдется как-нибудь и без сыновей. Карен попала в гораздо более неприятную переделку, чем могла ожидать, но теперь уж будь что будет. Лучше бы просто закрыть на все глаза и выкинуть из памяти и хорошее и плохое — все подряд.

Тот, ради кого она шла на такие жертвы, пропадал в городе и показывался у нее очень редко. А ей так хотелось бы, чтобы он находился сейчас рядом с ней; хозяйство требовало твердой мужской руки, тем более что дел накопилось много. Разве не приятно было бы как раз теперь, когда все ополчилось против тебя, опереться на близкого человека. Но с тех самых пор, как был назначен день свадьбы, Йоханнес беспрестанно разъезжал по округе, а Карен была слишком занята, чтобы думать о том, какие у него могут быть дела, — много хлопот требовали приготовления к свадебному пиршеству, да и помимо всего этого ее душу переполняло радостное ожидание, что скоро Йоханнес будет целиком принадлежать ей, и это заглушало все ее сомнения.

Только в самый день свадьбы, утром, Йоханнес пожаловал к ней, да еще вместе с целой оравой залетных птиц — громогласных, нахальных парней, одетых по-городскому; шляпы они сдвинули на затылок, а на плечи накинули балахоны от пыли. Это были лошадиные барышники, прасолы, ловкие пройдохи — люди, которые в здешних местах обычно появлялись поодиночке; каждый с облегчением вздохнул, когда услышал, что вся эта компания убралась из пределов прихода.

Свадебный пир Карен Баккегор задала пышный, не поскупилась на всевозможные кушанья и напитки. Гостей собралось много. Она расхаживала между столами, дородная и спокойная, сама всех угощала и следила за тем, чтобы всего было вволю. Как хороша она была в венчальном крестьянском наряде — прямо красавица, несмотря на то, что ей стукнуло сорок два года. Только два красных пятна на скулах плохо гармонировали с ее резко очерченным, холодным лицом. Но, должно быть, их зажгла румянцем лю-

БОВЬ — тот «огонь любви», о котором так много пишется в книгах.

От невесты глаза невольно переходили к жениху — двадцатилетнему парню, сидевшему на почетном месте за столом. Красивый, что и говорить! Не одна девушка, наверное, заглядывалась на него и старалась почаще попадаться ему на глаза. Правда, большинство ничего особенного в нем не находило: черный чуб и пара раскаленных углей вместо глаз, вдобавок наполовину потухших, — вот и все! Но, может быть, для любви и не требуется большего!

Беда заключалась не в том, что Карен Баккегор выходила замуж во второй раз. После смерти мужа она много лет жила честной вдовой, вела хозяйство по-заведенному им порядку и неплохо воспитала трех сыновей. Всякий знал, что она намаялась за эти годы и теперь нуждалась в помощнике, да и в домашнем тепле и уюте тоже, — недаром же говорится, что вдовья постель холоднее, чем девичья. Если бы Карен вышла за какого-нибудь вдовца, пожилого хуторянина из своего же прихода — все сочли бы такой брак вполне естественным. Но влюбиться — в ее-то возрасте! — в молодого, дать волю своим страстям, — а все считали ее раньше такой степенной, сдержанной и преданной старым обычаям! — и влюбиться в чернокудрого двадцатилетнего бродягу, не то прасола, не то мясника или бог весть какого голодранца, — это, значит, просто стыда лишиться. Должно быть, слишком сильно разбушевалась ее кровь в переломные-то годы! Во всяком случае, печально видеть все это, — ни к чему путному оно привести не может.

Карен сознавала, что дала людям повод для пересудов, но иначе поступить была не в силах. Она всегда руководствовалась общепринятыми правилами и обычаями, считалась с мнением прихода, ее жизнь текла спокойно, как течет в своем русле широкая и мощная река, никогда не выходящая из берегов, но теперь Карен внезапно пренебрегла всем и пошла своим путем, дерзко отбросив всякие приличия, уважение к богу и людям, ибо выходила замуж, так сказать, наперекор человеческой природе.

Она прекрасно понимала, что ей нечего ожидать прощения, и никакой радости поэтому не испытывала. Но что же она могла с собой поделать? Совершенно неизведанное раньше чувство поселилось у нее в душе и управляло ею;

она находилась во власти каких-то темных сил. Разве она виновата, что у нее начинало сосать под ложечкой и кружилась голова так, что можно было лишиться чувств, от одного взгляда черных глаз Йоханнеса? Или что ноги у нее подкашивались, чуть только он к ней прикасался? Конечно, и сыновья и все прочие по-своему правы; у нее самой в глубине души сидел червь сомнения и без конца точил ее. Но чему быть, того не миновать,— и она не нашла лучшего выхода, как закрыть глаза и предоставить все на волю судьбы. Любовь завладела ею, та любовь, о которой она до сих пор знала только из песен и дешевых книжек и которая всегда приносит с собою несчастье, горе и позор. От позора Карен избавилась, с большим трудом настояв на церковном браке; если бы все, кто над ней издевается, знали, какой борьбы и какого самоотречения ей это стоило! Ну а что касается ее горя и несчастья, это уже как кому бог пошлет!

Целый год Карен Баккегор провела в каком-то смятении и скрытой тревоге. Всю свою жизнь прожила она на виду у всех, вставала и ложилась вместе с солнцем, а ночью спала здоровым сном,— теперь же она чувствовала себя каким-то жалким существом, боящимся света. Утром она не испытывала радостного ощущения от прилива сил после длительного отдыха, наступающий день не приносил ей бодрости, и лишь к вечеру она вся как-то загоралась. При ярком дневном свете она стыдилась взглядов людей, хотя испытала в жизни все, что женщине определено самой природой и ни для кого в мире не было тайной; теперь же ей казалось, что все внимательно присматриваются к ней; и под их взглядами она чувствовала себя нечистой, как будто ее волосы, платье и глаза сохранили на себе отпечаток прошедшей ночи.

А страсть бушевала ее все так же неумно. Растерянная и мучимая стыдом, ходила она в солнечный день, сама себя не узнавая, и томительно ждала ночи, ее одуряющего любовного бреда. Покойного мужа своего она любила, они жили дружно и честно делили между собой все заботы. Их отношения строились на товарищеском совместном труде, и прожитый день завершался поцелуем. С Йоханнесом же у нее днем не было ничего общего, руки их никогда не встречались за общим делом, они не обменивались друг с другом сочувственным, понимающим взглядом. Усталые, они поглядывали за завтраком один на другого, а говорить им было

не о чем. Потом Карен шла по хозяйству, а Йоханнес приказывал запрячь лошадь и уезжал. Она всячески заботилась о нем, держала в порядке его белье и одежду, кормила вкусной едой, когда он возвращался из города. Он принимал все это как нечто ему полагающееся, ни за что не благодарил и не выражал признательности, он чувствовал себя свободным от всяких обязательств: он и без того сделал более чем достаточно, связав свою судьбу с пожилой женщиной. Когда Карен пробовала заговорить с ним о хозяйственных делах, он начинал являть.

Тогда, из опасения, что надоест ему и отобьет охоту возвращаться домой, она решила молчать; сама справлялась со всеми делами и изводилась на работе, чтобы раздобыть ему побольше денег для кутежей. Днем она позволяла ему разбегаться куда угодно, раз уж солнечный свет все равно не излучал на них благодати, но требовала, чтобы к ночи Йоханнес непременно возвращался домой.

По прошествии года страсть их угасла. Карен стала замечать, что и по себе самой и по Йоханнесу, и вдобавок убеждалась, что беременна. В смятении ворошила она остывшую колу, надеясь отыскать хоть одну тлеющую искорку былой любви! Неужели у нее нет больше ни капли теплоты к тому, чье дитя она носит под сердцем, а у него — немощко нежности к матери его ребенка? Как отрадно и спокойно она чувствовала бы себя в теперешнем своем состоянии, если бы могла опереться на оберегающую ее крепкую руку и целовать эту руку с горячей благодарностью. Но ничего этого не было.

С тех пор она стала прежней, дерзкой Карен Баккегор. Но можно было подметить в ней и нечто новое — властность и решительность, заставлявшие людей подчиняться. Она уже ни перед кем не опускала глаз, а смело и открыто, с суровым выражением смотрела на всех. Позвав батраков, она приказала им вынести в другую комнату кровать и прочие вещи мужа. Пораженные таким приказом, они робко вошли в спальню, осторожно ступая по полу, словно он жег им подошвы, и растерянно переглядывались. Эта комната, пожалуй, легко могла бы вызвать двусмысленные шуточки, но в поведении хозяйки было что-то, отбивавшее всякую охоту к болтовне; она держалась как-то особенно прямо и наводила порядок в своем укрытом от света гнезде, словно

стояла выше всего этого. Непутевого своего мужа она без долгих проволочек выставила за дверь,— видно, раздумала держать при себе своего любимчика!

Некоторое время Карен еще надеялась, что рождение ребенка, которого она носила, перекинет мостик между нею и Йоханнесом и они дружно заживут снова, заполняя свой день плодотворной работой, как и полагается при совместной жизни двоих людей. Но и эту мечту она вскоре утратила и совершенно отрезвела: Йоханнес видел в ней только стареющую женщину, притом вдвое старше него, которая, как это ни забавно, собирается снова рожать детей!

Тогда она приняла твердое решение — совершенно вычеркнуть его из своей жизни.

Ей ни на минуту не приходило в голову уйти самой: хутор принадлежал ей, здесь на протяжении нескольких поколений жили ее предки, здесь была ее родина; а муж был чужаком, пришельцем и должен поэтому уйти.

Со своей стороны Йоханнес вовсе не желал быть изгнанным. И между супругами началась борьба за господство на хуторе. Ему постоянно нужны были деньги на поездки в город, он прямо не знал удержу в своих требованиях,— казалось, он задался целью как можно скорее разорить хутор, почуяв, что все равно ему здесь не удержаться. На его стороне был закон; зато на стороне Карен стояли работники, они слушались только ее. Даже когда Йоханнес приказывал им заложить лошадь, они обращались к хозяйке за подтверждением приказа.

Да и весь приход держал в этой борьбе сторону Карен. Йоханнес был чужак, паразит. Теперь, когда она сама отдалась от мужа, хуторяне снова приняли ее в свою среду и вели с нею дела.

С сыновьями Карен не поддерживала никакой связи с того времени, как между ними и ею встал Йоханнес. Но однажды в воскресенье они, словно сговорившись, приехали все трое. Прихожане рассказали им о положении дела, и они, видимо, решили поддержать мать. Явившись на хутор, когда отчим был дома, они не поздоровались с ним, даже не взглянули в его сторону; они ходили по комнатам и разговаривали с матерью так, как будто никого, кроме нее, в доме не было. Видя, как Йоханнес весь кипит от злости, сыновья прямо чуть ли не искали повода, чтобы его поколотить.

Однако он сдержался, вышел из дома и приказал заложить ему лошадь.

Карен смотрела ему вслед, когда он выезжал со двора, но теперь она не следила за этим юнцом, как бывало, болезненным взглядом с неестественной, собачьей преданностью; Карен сейчас ненавидела его со всей силой ненависти крестьян к тому, кто несет разорение. Сыновья поняли это и обрадовались.

Тогда они стали совещаться. Прошлого они не касались; как сыновьям в голову не пришло судить мать, так и Карен не подумала оправдываться перед своими детьми. Они обсуждали, что можно и нужно сделать. Закон был на стороне Иоханнесса, но никто не мог помешать им создать ему на хуторе совершенно невыносимую обстановку. В один прекрасный день он, как очень вспыльчивый человек, наверное, не выдержит и сорвется, — и вот тогда-то и нужно будет в это дело вмешаться. Было решено, что двое младших сыновей возьмут с работы расчет, вернутся домой и поселятся с матерью. Оставлять все хозяйство на ее руках было бы теперь рискованно.

Иоханнес ничего об этом не знал, пока не увидел, как сыновья Карен рассказывают в рабочей одежде на хуторе и занимаются хозяйством. Ему вообще теперь ни о чем не говорили, никто не спрашивал его мнения и не находил нужным посвящать его в свои дела. Его держали в стороне от всего — здесь, на его собственном хуторе, да и всюду в приходе его не замечали, словно он был пустое пространство. И постепенно он дошел до того, что еле подавлял свою ярость, а когда изредка отводил душу бранью, тоже получалось мало толку — никто ему не отвечал, его даже не слушали.

Однажды, видя, что никто не удостоивает его ответом, он разбесился так, что подскочил к Карен и пнул ее ногой. Однако и на этот раз ему не удалось пробить стену молчания. Ни слова не говоря, сыновья схватили его и потащили к дышлу, к западу от хутора; там они привязали его к вбитому в землю бревну, выброшенному волнами на берег, и как ни в чем не бывало вернулись к своей работе. Иоханнес подчинился им без сопротивления; они так крепко впечатались в него, что он сразу почувал, как бы приятно им было, если бы он вздумал отбиваться.

После этого он стал еще больше кутить, часто не ночевал дома, а счета распорядился посылать на хутор,— Карен не могла их не принимать. Так тянулось все время до ее родов, и никаких особых событий не произошло.

Пока Карен поправлялась после родов, Йоханнес не показывался на хуторе ни разу, и никто об этом не сожалел. Несмотря на крепкий организм, Карен плохо поправлялась,— все-таки годы ее были не маленькие,— она пролежала три недели, так как ей требовался полный покой. Только когда она поправилась и встала, наконец, с постели, Йоханнес снова появился в доме.

Карен только что легла и кормила грудью малыша, когда Йоханнес с шумом ввалился во двор в компании двух собутыльников. Оба сына ушли к морю, подтащить лодку на берег. Несмотря на хмель, Йоханнес, наверно, заметил, что их нет дома. Он побрел через комнаты прямо в спальню Карен и, шатаясь, остановился в дверях, мертвенно бледный от попок и бессонных ночей. Даже смотреть на него было противно.

— Я привез с собой двух товарищей,— сказал он, махнув рукой в сторону комнаты, из которой пришел.— Встань и подай нам чего-нибудь закусить.

Карен ничего не сказала, только презрительно посмотрела на него.

— Что же ты не отвечаешь? — возмущенно спросил он.

Дверная ручка выскользнула из его руки, и дверь, распахнувшись, стукнулась об стену. Йоханнес еле смог удержаться на ногах и боком влетел в спальню.

Карен усмехнулась.

— Черт побери! Вот я пристукну тебя дверью за эти смешки! — закричал он и, сорвав дверь с петель, повалил ее на кровать.

Карен защитила ребенка от удара, подняв руки и колени, и громко вскрикнула.

— Ага, наконец-то ответила! — Громко захохотав, Йоханнес передразнил ее крик.— Значит, все-таки смогла разинуть пасть, а?

В эту минуту в спальню вошли сыновья,— одна из работниц сбегала за ними на берег. Увидев их, Йоханнес сразу присмирел; услышав, что собутыльники его громяхают на дворе тележкой, он решил присоединиться к ним.

Но сыновья Карен вовсе не желали, чтобы он так дешево отдался. Теперь-то он был, наконец, в их власти! Если он сейчас уедет с хутора, то уж навсегда. Они сняли с него штаны, на случай если бы он попытался сбежать, заперли его в каменный сарайчик, где хранились рыболовные снасти, и бросили ему туда охапку соломы. Там он и сидел, пока они совещались.

Два дня обсуждали они, какой образ действий будет наилучший, но решить это было нелегко. Если выдать его властям и потребовать, чтоб его судили за жестокое обращение с женой, то потом придется опять иметь дело с ним — с општрафованным-то! Самое бы лучшее сплавить его за океан, куда отправилось уже столько всякой другой пакости, — в Америку! Наконец, они привели его в дом.

Он уж и на мужчину-то не был похож — дрожал, как собака, когда его вели по двору. Карен смотрела из окошка спальни и вся покраснела от жгучего стыда: так вот каков тот, ради кого она пренебрегла всем на свете!

Йоханнес заметил, что на дворе стоит телега, на которой сложено его барахло, и ременные вожжи перекинuty через дышло. В комнате обстановка была очень торжественная: на столе лежали тщательно перевязанная пачка кредиток и какой-то документ, тут же были приготовлены чернила и перо. Впервые в жизни почувствовал он себя одиноким и бесприютным, нахальство в этот день изменило ему, к горлу подступало рыданье.

— Да, Йоханнес, вот и пробил твой час, — мрачно проговорил старший из сыновей. — Мы могли бы предать тебя суду и заставить понести наказание, но предпочли уладить все по-хорошему. Вот здесь, в этой бумаге, написано, что ты оскорбил действием свою жену, еле оправившуюся после родов, и что ты обязуешься покинуть страну и никогда не предъявлять никаких претензий к Карен Баккегор или к кому-либо из ее близких, она же взамен воздержится от обвинения против тебя. Вот здесь — тысяча крон тебе на дорогу. Нам пришлось их занять: все, что у нас было, ты ведь уж успел промотать, — обмакнув перо, он протянул его Йоханнесу; тот взял перо дрожащей рукой и подписал бумагу.

Потом они постояли некоторое время, не глядя друг на друга. В комнате царила тишина. И тишина эта словно вопрошала: «Нет ли у тебя какого-нибудь желания, Йоханнес?»

Не хочешь ли ты с кем-нибудь проститься, может быть попросить прощения?» Но Йоханнес не высказал ни одного желания, у него не было здесь никого близкого.

— Тогда мы сейчас запрежем тележку! — сказал старший из братьев и поднялся, чтобы выйти.

Он сам отвез отчима в город и дождался, пока пароход, на который сел Йоханнес, вышел из порта. Надо было обставить дело так, чтобы отрезать Йоханнесу все пути назад.

Наконец-то в Хуторе на холме потекли спокойные дни.

Карен Баккегор переходила из комнаты в комнату, убирая после гостей. Сегодня маленькому Йоргену исполнилось семь лет, и он отпраздновал день рождения вместе со своими товарищами. Теперь он лежал на широкой постели и крепко спал, обхватив руками подаренные ему игрушки. Надарили ему всякой всячины, и Карен в глубине души находила ни с чем не сообразным, что люди готовы теперь ради ребят чуть ли не разорваться на части. В особенности взрослые ее сыновья не знали меры, они никаких денег не жалели, если дело касалось маленького Йоргена.

Все три взрослых сына Карен жили теперь опять на сторе, хотя хутор сильно нуждался в твердой мужской руке, — он словно никак не мог выправиться после скандала, пережитого несколько лет тому назад.

Карен двигалась по комнате, стараясь не шуметь, и о чем-то упорно думала, — жизнь давала ей немало поводов, чтобы призадуматься. Все-таки как тяжело, что вот она ходит здесь и убирает комнаты, рядом на кровати спит ее сынишка Йорген, а тот, кто связал обе их жизни, мечется по свету, как неприкаянный. Где-то он сейчас, бедняга? Может, погиб на чужбине или докатился до нищеты и позора? Вряд ли он со своим характером мог где-нибудь ужиться!

А какой в сущности у него характер? В чем, если хорошенько разобраться, заключались его недостатки, которые все люди, и она в том числе, считали неискоренимыми? Они не подходили друг к другу. Но почему он виноват в этом больше, чем она? Как-никак, она ведь была вдвое старше него! Может быть, именно этим и объяснялось все его поведение? Что знала она, да и другие тоже о его характере, чтобы беспристрастно судить о нем? Ей некогда было ин-

интересоваться его хорошими свойствами и недостатками,— он был чужаком, и его следовало выгнать, как собаку! И вот по время этой травли он начал огрызаться, платить злом за зло!

Карен не знала, как ей отнестись ко всему происшедшему. За протекшие годы она столько пережила и передумала, что уже не могла попросту делить людей на плохих и хороших. В каждом человеке немало мерзости, но и кое-что хорошее у него, наверное, тоже найдется. А что было бы с ней, если бы ее до сих пор продолжали травить за ее дурной поступок и не пожелали бы снова принять ее в свое общество? Что тогда? Смогла ли бы она, лишившись доброго мнения людей, не пасть окончательно, несмотря на то, что у нее, как говорят, сильный характер?

Она жалела Йоханнеса, в особенности сегодня вечером. Может быть, она старалась оправдать мужа из желания, чтобы у маленького Йоргена был хороший отец? Много стертось в ее памяти. Под влиянием времени некоторые краски на картине блекнут, а другие выступают отчетливее. Стоило ей услышать, как бушует море, и тревога закрадывалась в сердце. Когда волны, вот как сейчас, бились о прибрежные камни, предвещая бурю, она, как ни странно, всегда думала об Йоханнесе.

Карен выглянула в окошко: светила луна, над нею быстро бежали облака, но здесь, на земле, ветра пока не ощущалось. Надо посмотреть, дома ли батрак, и приказать ему убрать на ночь большую вершу, а то как бы не нагрянула буря и не растрепала ее.

Повязывая голову шалью, она посмотрела на мальчика. Темная шапка волос на голове, а нос... нет, лицом он не похож ни на кого из ее родных. А характером?... Черномазый и востроносый, он носился по двору, словно залетная птичка... вот именно, залетная!

Услышав шаги на дворе, она решила, что это батрак, и пошла, чтобы поговорить с ним. Когда она дошла до середины комнаты, дверь раскрылась и на пороге появился какой-то мужчина; он был плохо одет, шея обмотана толстым шарфом. Карен невольно оперлась о стол. Она словно застыла, не в силах вымолвить ни слова; у нее сразу отяжелели ноги, и от поясницы до самых пят она почувствовала легкую боль в мышцах, как при летучем ревматизме.

Гость, очутившись в знакомой обстановке, осмотрелся по сторонам, потом, протянув руку, сделал два шага к Карен, улыбаясь жалкой, просительной улыбкой. Карен не шевельнулась. Тогда он сел у края стола и уронил голову на руки; он выглядел несчастным, сильно опустившимся.

Карен Маккегор не знала, что с ней происходит. Что-то в ее душе толкало подойти к нему, прижать к груди его лохматую голову и ласково поздравить с приездом; но ее все еще сковывал былой страх перед ним. Сильная, суровая женщина, застигнутая врасплох, не могла сообразить, зачем он явился.

— Ты, наверно, голоден? — растерянно прошептала она.

Он не двинулся с места. Тогда она пошла в кухню и стала разводить огонь в плите.

Готовя ему еду, она двигалась словно в полусне, рассудок ее бездействовал. Что-то теперь будет, как все сложится дальше? Она попросту не решалась об этом думать. Его нужно накормить, чем-нибудь сытным, вкусным, — больше она ничего не соображала. Когда она, наконец, кончила приготовления, то увидела, что Йоханнес стоит в дверях и смотрит на нее; запах жаркого привлек его на кухню. Он заговорил, и Карен, услышав свой собственный голос, поняла, что отвечает ему.

Из его слов можно было догадаться, что он натерпелся много горя и вообще ему не везло. Побывав в дальних краях, он, наконец, вернулся на родину... Видно, он смирился, по тону его голоса чувствовалось, что все плохое осталось позади — теперь он в тихой гавани.

— Ведь мы законные муж и жена, — закончил он, — и ничто, кроме развода, не может разорвать нашего брака.

Да, бесспорно, они законные супруги, бумага, которую она его заставила подписать, была глупой ошибкой, — Карен это хорошо понимала. Брак есть брак, пока начальство его не расторгнет. И вот муж, стало быть, вернулся и предъявляет свои права. На хуторе опять появился хозяин. Интересно знать, что теперь будет дальше? Ведь с того времени, как она его выгнала, много воды утекло, может быть теперь все обернется по-хорошему?

— Хочешь взглянуть на своего сына? — спросила она и, взяв со стола лампу, пошла впереди мужа в спальню. — Ему сегодня исполнилось семь лет.

Иоханнес наклонился над сыном и погладил его по щеке. Мальчик проснулся и испуганно взглянул на него.

— Это твой отец вернулся домой, — сказала Карен ласково дрожащим голосом.

Мальчик улыбнулся, захотел встать. Отец взял его на руки, а Карен пошла приготовить кофе. Отец с сыном усесться на лавке и стали играть. Иоханнес попрежнему был мастером на выдумки, он изображал то одного, то другого зверя, который собирался загрызть малыша, — и мальчик катывался со смеху.

— Поосторожнее, — сказала Карен из кухни, — не забывай, он еще маленький.

Ведь Иоханнес ни в чем не знал меры, и она боялась его, хоть ей и приятно было видеть, как он ласкает сына.

На минуту они затихли, но потом опять заговорили. На этот раз в смехе мальчика ей почудился испуг. Нет, лучше уложить сына в постель!

Карен только что собралась еще раз процедить кофе, как вдруг услышала, что мальчик как будто чем-то давится. Она поспешно вошла в комнату. Ребенок лежал на лавке и барахтался, стараясь выплюнуть что-то изо рта, лицо у него побагровело. Иоханнес сидел рядом и только посмивался.

— Что ты сделал с ним? — вскрикнула Карен. Схватив ребенка, она засунула ему в рот согнутый палец и вытащила большой кусок жевательного табаку.

Иоханнес глуховато ухмыльнулся.

Ничего с ним от этого не случится, — сказал он.

Карен промолчала и уложила сына в постель. Быстрыми и решительными шагами ходила она по комнате, — теперь она знала, что ей делать, словно кто отодвинул краешек занавеси и показал ей будущее. Она насторожилась и решила не полагаться на судьбу. Когда-то она выгнала этого человека, рассчитывая, что он исчезнет из ее жизни навсегда. Он вернулся. Что ж, теперь она попытается отправить его в такое путешествие, из которого он никогда уже не вернется!

Карен вошла в комнату, на ней было надето пальто, на голове толстая шаль.

— Помоги-ка мне прибрать вершу, — сказала она, — батрака нету дома.

Они достали пару весел из каменного сарайчика, куда Иоханнеса однажды заперли ее сыновья, и пошли по дюнам

к морю. Карен несла весла, и Йоханнес не подумал даже, что должен помочь ей. Она отвязала лодку и велела ему сесть на самый нос, а сама стала грести. Море бурно волновалось, но у Карен были крепкие руки, а сегодня она чувствовала себя особенно сильной, как никогда.

Наконец, они подплыли к месту, где была верша. Карен показала на бук и поставила лодку против ветра, пока Йоханнес поднимал вершу. Это была нелегкая работа, и видно было, что она ему не по душе: всякий раз, как волна обдавала его брызгами, он недовольно отряхивался.

— Держи крепче! — крикнула Карен и сама из всех сил налегла на весла.

Верша показалась над водой, теперь предстояло самое трудное... Йоханнес повернул голову к жене.

— Мне ни за что не поднять ее одному! — крикнул он. — Подсоби мне.

— До сих пор из тебя настоящего мужчины так и не вышло, — насмешливо ответила Карен. — Тяни хорошенько!

Йоханнес сильно перегнулся через борт — в ту же минуту лодка выскользнула из-под него и он с головой ушел под воду. Лодку быстро относило волнами и ветром к берегу. Карен издали увидела высунувшуюся из воды руку, потом ногу... затем лодка стукнулась о землю, и тут уж ей пришлось подумать о самой себе. Она вытащила лодку повыше на берег, закрепила ее якорем, перекинув его через бревно, и убрала весла в сарайчик. Когда она вошла в спальню, ребенок спал, но похоже было, что во сне он плакал, в уголке его рта скопилась темная пена. Карен долго стояла над ним, погруженная в свои мысли.

Вдруг он открыл глаза и со страхом оглядел комнату.

— Где чужой мужчина? — спросил он.

— Здесь нет никакого чужого мужчины, — ласково ответила Карен, — он тебе, наверно, приснился. Ложись-ка лучше и спокойно спи.

Мальчик уткнулся головой в подушку и снова заснул.

На следующий день в море возле Хутора на холме всплыло мертвое тело, в котором опознали Йоханнеса, непутевого мужа Карен Баккегор. Всех поразила странная случайность — что его прибило к берегу именно здесь!

ПОЖИЗНЕННЫЙ РАБ

Маттис Лау был единственным ребенком в семье, да и то появился на свет, когда его родители уже начали стареть: матери исполнилось сорок с лишним, а отцу еще лет на десять побольше. Никак нельзя было сказать, что бог даровал сына молодой, жизнерадостной чете, — скорее это было бедолахой подачкой супругам, которые уже испытывали страх перед близкой старостью.

В рождении ребенка в значительной мере сказывается возраст его родителей, — если дети родятся у них поздно, то рожденного в этом мало. Появившись на свет, Маттис забрал у своих родителей остатки их жизненных сил, — хотя и больше им нечем было особенно похвастаться. Зато в Маттисе энергия была ключом за всех троих, хотя трудно ребенку быть жизнерадостным, когда мать его постоянно ворочит, а у отца глаза на мокром месте.

Родители не понимали, почему у мальчика такая неуемная потребность играть, и старались заглушить ее: запрещали ему то одно, то другое, не позволяли писать углем на стенах их ветхой глинобитной хижины, стучать по грубо сколоченному еловому столу, — ведь мальчишка любым предметом, попавшим в его цепкие ручонки, орудует, как молотком.

Подобно всем родителям на свете, родители Маттиса часто дорожили бездушными вещами больше, чем живым существом — своим сыном. Ребенку очень скоро пришлось убедиться, что он самый никудышный мальчик на всей земле: ведь только по доброте своих родителей он остался жить, хоть и сломал зубец у граблей и порвал старую рыбо-

ловную сеть. Он боялся, что за такую провинность его за-секут до смерти.

Правда, родители Маттиса не каждый день награждали его колотушками и часто давали ему понять, что готовы сменить гнев на милость, но страх перед побоями омрачил все детство мальчика.

Он рано начал помогать родителям в работе, и это даже нравилось ему. Он только любил, чтобы его оставляли одного,— тогда работа у него спорилась, превращалась в занимательную игру. В присутствии же отца или матери любой труд казался ему невероятно тяжким, таким же тяжким, каким он всегда был для стариков.

И все же Маттис был настоящий сорванец. Он предпочитал проводить время на берегу моря, а не в школе, и усвоил множество полезных вещей, которые могли бы пригодиться ему в дальнейшей жизни. Как ему хотелось вырваться на волю! Он не отставал в шалостях от других детей рыбаков, и родители ужасались, когда слышали о дерзких и сумасбродных проделках сына.

Зато как они радовались, когда он сидел у окна с грифельной доской,— тогда он был у них на глазах, да и ел меньше, и одежда не рвалась. А когда кто-нибудь приходил к ним, то Маттис должен был показать гостям, как он здорово пишет и читает. Может быть, это было своего рода возмещением родителям за то, что сами они никогда и ничему не учились. Во всяком случае, когда однажды мальчик вернулся домой и сказал, что на конфирмации он будет стоять первым в церкви,— это доставило им огромную радость.

После конфирмации большинство его одноклассников разлетелось в разные стороны,— дети бедняков всегда готовы покинуть родное гнездо. На острове издавна существовал обычай, по которому юнцы оставляли семью, как только пастор говорил им, что они уже больше не дети. Те, кто чувствовал в себе достаточно сил, уходили в дальнее плавание, другие отправлялись в столицу или же разбредались по острову,— лишь бы не сидеть дома. Только увальни женились и оседали на месте. Люди острова исстари занимались двумя профессиями: одни с юности уходили в море на заработки и потом, вернувшись, становились рыбаками; другие, домо-седы, занимались земледелием.

Маттиса с раннего детства тянуло в море, ему хотелось браться в такую морскую даль, где море бездонно: тогда он больше не будет видеть своих родителей и матери не придется бегать по берегу и клохтаться, как наседке, созывающей своих цыплят. А вышло так, что он остался дома и все больше и больше работал на стариков. Стоило ему только завести разговор о том, что он хочет уйти из дома, как они цеплялись за него трясущимися руками: отец водил сына по своему маленькому участку, как будто это было родовое имение, и заклинал его не бросать землю на произвол судьбы; а мать лстиво уверяла Маттиса, что немало девушек не спит по ночам, вздыхая о нем. Разве не найдется среди них хорошенькой и с приданным в кованом сундучке, если он останется дома?

В душе Маттис все посылал к черту: их лачуга была такой ветхой, что ее надо было просто сжечь; а те девушки, которых он никогда не видел, интересовали его больше, чем знакомые! Как он рвался туда, где большие просмоленные дубовые колыбели качались на волнах, плывя из гавани в гавань!

И вырваться на волю было не так-то трудно: частенько он, отправляясь в море на лов трески, подплывал к парусникам, чтобы продать рыбу, и не один капитан предлагал ему наняться на корабль. Стоило только подняться на борт и бросить старую лодку — течение прибило бы ее к берегу. Но когда надо было сделать этот шаг, он пасовал. Его удерживала мысль о стариках, оставшихся в хижине.

«Я подожду, когда они умрут», — думал он, налегая на тяжелые весла.

Маттису всегда было легче уходить в море, чем возвращаться, и он прекрасно знал почему: плыть к дому его заставлял горький долг. Он не чувствовал сыновней любви, его не согревало сознание, что он трудится ради стариков, потому что они, пользуясь своим правом, только портили ему жизнь. Он ничего не имел бы против, если бы их смерть освободила его от забот, но мысль покинуть самому стариков никогда не приходила ему в голову.

Так он и жил — чинил снасти и обрабатывал маленький участок вместо больного подагрой отца, — но без всякой радости, лишь для того, чтобы прокормиться. Он работал и за мать: доил двух лохматых коров и рубил крапиву поро-

сенку. Два раза в год он ездил в город платить налоги. При такой беспросветной жизни откуда же взяться радости! Он стал замкнутым и тяжелым на подъем.

Одно он решил твердо — не поддаваться ни на какие женские уловки. Когда родители в конце концов умрут, он сам себе будет хозяин и сможет побывать всюду, где только ему захочется.

Семья Лау происходила из Лаугора, который был расположен в миле от моря. Хутор принадлежал дяде Маттиса, Хансу Лау, единственному хуторянину в их семье. Естественно, что все признавали его главой их рода. Он был самодур, ни с кем не считался и позволял себе многое, чего другие Лау не осмеливались делать, так как придерживались обычаев и правил, подходящих маленьким людям. Он слыл бабником и страстным картежником, что, однако, не мешало его бедным родственникам восхищаться такими барскими замашками.

А хутор был вовсе не большой и не очень доходный — почти на всем участке сплошной камень. Но тем не менее это был настоящий хутор, и все Лау гордились, что они из рода хуторян, эта гордость светилась даже в глазах забитого и обессиленного отца Маттиса.

Ханс Лау был уже в летах, детей у него не было, поэтому всех интересовал вопрос, кому из своих племянников он завещает хутор. Каждая семья, состоявшая с ним в родстве, рассчитывала на наследство и потихоньку ожидала своего счастья. Оттого-то все Лау не знали с другими бедняками и держали себя так, будто они богачи, только нарядились в лохмотья, которые в любой день могут сбросить. Говорили также, что и манеры-то у них прямо барские.

Однажды Ханс Лау неожиданно нагрянул к брату. Маттис был во дворе и смолил за дровяным сараем старую лодку. Он видел, кто приехал, но продолжал свою работу. Его раздражало, что все лебезили перед дядей.

Вскоре к Маттису прибежала старуха мать; он никогда и не думал, что она может быть такой приткой.

— Дядя приехал ради тебя, — сказала она, запыхавшись, и потянула сына за рукав. — Он хочет отказать тебе свой хутор! Будь с ним поласковее!

Этого Маттис уж не мог перенести. Всю жизнь он следовал сыновнему долгу и привык жертвовать собой,— поэтому он уступил и на этот раз. Ему казалось, что теперь единственный выход к свету и жизни навсегда закрылся для него.

К большой досаде родителей, дядя заметно поздоровел после свадьбы. Племяннику, очевидно, придется еще долго ждать, пока он станет хуторянином! Маттису же все было безразлично. Он держался в стороне и не стал общительнее даже после того, как Бодиль поторопилась родить ему мальчика. Для него это был только еще один лишний человек, которого приходилось избегать.

Маттис не любил ребенка, да никто и не ожидал от него иного отношения; мальчишка был для отца бельмом на глазу. Маттис злился, когда наблюдал беззаботную радость ребенка, и еще больше злился, когда тот, наученный горьким опытом, прятался от него. Он часто задумывался о своем отношении к малышу и решил, что воспитание сына должно быть строгим, но справедливым. Другие закрывали глаза на маленькие шалости мальчика, а он держал его в ежовых рукавицах,— его самого родители воспитывали в строгости, и он следовал их примеру.

Бодиль не знала, как и подступить к нему, не то что спорить. Он ни в чем не упрекал ее, но тем не менее она боялась мужа: что-то в его взгляде заставляло ее быть всегда настороже.

Да и не было никакого смысла вступать в пререкания с Маттисом и говорить об его суровом отношении к мальчику,— Маттис сам немало терзался этим. Он никак не мог найти правильное решение, его мучили угрызения совести, что он не может отыскать путь к сердцу маленького Ханса.

Однажды Маттис подошел к мальчику незаметно, когда тот стоял в дровяном сарае и крутил колесо точильного камня. Светлые брызги снопом падали на пол, и мальчик был так увлечен игрой, что ничего не замечал, пока отец не схватил его за шиворот. Мальчик дико закричал от страха, почувствовав тяжелую руку отца. Этот крик парализовал Маттиса, он бросил ошеломленного ребенка на охапку сена и, шатаясь, отошел в сторону. Ему стало не по себе, он видел, что сын боится его. Жалобные рыдания мальчика доносились до него, заглушая стук топора, они звучали как

обвинение. Маттис испуганно колотил и колотил дрова, чтобы не слышать этих звуков, но они преследовали его. Наконец, не в силах больше выдержать, он отбросил колун прочь и в сердцах выпрямился. Черт возьми, неужели поблизости не найдется палки, чтобы раз и навсегда заставить этого проклятого мальчишку замолчать? От гнева у Маттиса потемнело в глазах.

И вдруг вся его ярость внезапно исчезла, словно что-то произошло у него внутри... он провел рукой по глазам и в углу посмотрел в угол. Маленький измученный мальчишка, дрожа от страха, лежит, свернувшись калачиком, в уголке, громко всхлипывает и глотает слезы, опасаясь новой избушки, — да ведь это точь-в-точь он сам, Маттис! Тот самый камень тот же, — Маттис, будучи мальчонкой, всегда потихоньку подкрадывался к нему и крутил: смешно было, когда камень вертелся в воде и брызги летели во все стороны. Нет лучшего в мире удовольствия, чем заставить точильный камень крутиться так, чтобы вода фонтаном била! Но такие игры всегда запрещались, ими можно было погнаться только украдкой. На полу оставались лужи, а на это полагалось наказание, вот как и сейчас... «А ведь вода-то из лужицы, и вода никак не может его испортить», — так он рассуждал тогда, хоть и понимал, что, кроме этого, существует еще и дурное pastроение взрослых. А теперь? Жизнь сделала Маттиса таким же черствым и ожесточенным, как и его отец. Сейчас он наказывал ребенка за невинное детское развлечение. Какой же он палач!

Судорожные всхлипывания мальчишки, как будто обвиняя Маттиса, попадали прямо в цель, и у него сжималось горло и разрывалось сердце. Он должен прекратить это! Маттис настороженно и беспомощно оглянулся, как будто все еще искал палку, потом вдруг подбежал к ребенку и взял его на руки. Он не привык нянчить детей и, прикоснувшись к маленькому тельцу своими большими ладонями, почувствовал, как в них вливается нежное тепло. Неожиданная радость переполнила вдруг сердце Маттиса! Он посадил ребенка на колени и попробовал оторвать грязные ручки от пола, — он в первый раз заметил, что они похожи на его собственные: лапки малыша были все в ссадинах и огружены от вечного копания в земле. Да, он настоящий мальчишка, который не жалеет своих кулачков!

Этого Маттис уж не мог перенести. Всю жизнь он следовал сыновнему долгу и привык жертвовать собой,— поэтому он уступил и на этот раз. Ему казалось, что теперь единственный выход к свету и жизни навсегда закрылся для него.

К большой досаде родителей, дядя заметно поздоровел после свадьбы. Племяннику, очевидно, придется еще долго ждать, пока он станет хуторянином! Маттису же все было безразлично. Он держался в стороне и не стал общительнее даже после того, как Бодиль поторопилась родить ему мальчика. Для него это был только еще один лишний человек, которого приходилось избегать.

Маттис не любил ребенка, да никто и не ожидал от него иного отношения; мальчишка был для отца бельмом на глазу. Маттис злился, когда наблюдал беззаботную радость ребенка, и еще больше злился, когда тот, наученный горьким опытом, прятался от него. Он часто задумывался о своем отношении к малышу и решил, что воспитание сына должно быть строгим, но справедливым. Другие закрывали глаза на маленькие шалости мальчика, а он держал его в ежовых рукавицах,— его самого родители воспитывали в строгости, и он следовал их примеру.

Бодиль не знала, как и подступиться к нему, не то что спорить. Он ни в чем не упрекал ее, но тем не менее она боялась мужа: что-то в его взгляде заставляло ее быть всегда настороже.

Да и не было никакого смысла вступать в пререкания с Маттисом и говорить об его суровом отношении к мальчику,— Маттис сам немало терзался этим. Он никак не мог найти правильное решение, его мучили угрызения совести, что он не может отыскать путь к сердцу маленького Ханса.

Однажды Маттис подошел к мальчику незаметно, когда тот стоял в дровяном сарае и крутил колесо точильного камня. Светлые брызги снопом падали на пол, и мальчик был так увлечен игрой, что ничего не замечал, пока отец не схватил его за шиворот. Мальчик дико закричал от страха, почувствовав тяжелую руку отца. Этот крик парализовал Маттиса, он бросил ошеломленного ребенка на охапку сена и, шатаясь, отошел в сторону. Ему стало не по себе, он видел, что сын боится его. Жалобные рыдания мальчика доносились до него, заглушая стук топора, они звучали как

обвинение. Маттис иступленно колол и колол дрова, чтобы не слышать этих звуков, но они преследовали его. Наконец, не в силах больше выдержать, он отбросил колун прочь и в сердцах выпрямился. Черт возьми, неужели поблизости не найдется палки, чтобы раз и навсегда заставить этого проклятого мальчишку замолчать? От гнева у Маттиса потемнело в глазах.

И вдруг вся его ярость внезапно исчезла, словно что-то оборвалось у него внутри... он провел рукой по глазам и в испуге посмотрел в угол. Маленький измученный мальчишка, дрожа от страха, лежит, свернувшись калачиком, в уголке, громко всхлипывает и глотает слезы, опасаясь новой взбучки,— да ведь это точь-в-точь он сам, Маттис! И точильный камень тот же,— Маттис, будучи мальчонкой, всегда потихоньку подкрадывался к нему и крутил: смешно было, когда камень вертелся в воде и брызги летели во все стороны. Нет лучшего в мире удовольствия, чем заставить точильный камень крутиться так, чтобы вода фонтаном била!.. Но такие игры всегда запрещались, ими можно было позабавиться только украдкой. На полу оставались лужи, а за это полагалось наказание, вот как и сейчас... «А ведь что-то из глины, и вода никак не может его испортить»,— так он рассуждал тогда, хоть и понимал, что, кроме этого, существует еще и дурное настроение взрослых. А теперь? Жизнь сделала Маттиса таким же черствым и ожесточенным, как и его отец. Сейчас он наказывал ребенка за невинное детское развлечение. Какой же он палач!

Судорожные всхлипывания мальчика, как будто обвиняя Маттиса, попадали прямо в цель, и у него сжималось горло и разрывалось сердце. Он должен прекратить это! Маттис растерянно и беспомощно оглянулся, как будто все еще искал палку, потом вдруг подбежал к ребенку и взял его на руки. Он не привык нянчить детей и, прикоснувшись к маленькому тельцу своими большими ладонями, почувствовал, как в них вливается нежное тепло. Неожиданная радость переполнила вдруг сердце Маттиса! Он посадил мальчугана на колени и попробовал оторвать грязные ручки от лица,— он в первый раз заметил, что они похожи на его собственные: лапки малыша были все в ссадинах и огрубели от вечного копания в земле. Да, он настоящий мальчишка, который не жалеет своих кулачков!

Все еще боясь отца, малыш молча, не глядя Маттису в глаза, отнял руки от лица, поспешно освободился из крепкого объятия и прыгнул на пол.

Не зная, чем занять сына, Маттис вздумал подтащить его к точильному камню и начал так крутить ручку, что вода расплескивалась по всему полу. Мальчик смотрел недоверчиво и все норовил стать поближе к двери, но тайком следил за тем, что происходит, а когда вода брызнула ему на ноги, он рассмеялся.

— Попробуй-ка, можешь ты крутить так, чтобы брызги долетали до отца? — спросил Маттис и стал к двери; в первый раз он назвал себя отцом.

Мальчик опасливо приблизился к точильному камню, и скоро игра была в полном разгаре. Маттиса тоже смешила эта забава — вода переливалась всеми цветами радуги, словно в воздухе развевался пестрый хвост петуха.

Маттис наверстывал теперь, — правда, несколько поздно, — упущенные им в детстве радости и весело смеялся вместе с ребенком.

В первое время Маттису приходилось первому заговаривать с сыном. Недоверие мальчика очень огорчало и даже злило его, он не знал, как приручить ребенка: он сгибался и ходил на корточках перед сыном, чтобы развеселить его; если это не помогало — старался привлечь его к себе, соблазняя точильным камнем.

Но как-то раз мальчуган сам подошел к нему и сунул свою ручонку в его руку. Маттис подивился: как быстро ребенок может простить и забыть; и ему стало стыдно.

И это не удивительно: сердце Маттиса очерствело, и ему трудно было сразу переломить себя... В общении с ребенком Маттис как бы вновь переживал свое детство — вернее, все те радости, которые мог бы пережить, но которых был лишен, — и поэтому он уже не мог жить без малыша.

Точильный камень положил начало всему — играм и делу. Ханс подрастал и от детских игр перешел к не менее интересным занятиям: научился ловить рыбу и управлять парусной лодкой, помогал отцу в полевых работах. Они всегда были вместе, не могли обойтись друг без друга, и постепенно их близость росла. Для всех других Маттис был и остался непонятым, чудачком, только присутствие мальчика давало ему радость.

«Я не хочу, чтобы его жизнь сложилась, как у меня», — говорил себе Маттис и заботился о том, чтобы ребенку надоедали как можно меньше. Если другие начинали строить планы о будущем мальчика, Маттис моментально прекращал эти разговоры, заявляя, что мальчик, когда придет время, сам постарается выбрать то, что захочет.

Маттис прекрасно знал, на чем именно остановится выбор Ханса, — он знал это гораздо раньше, чем пришло в голову самому мальчику. Но радости это Маттису не доставило. Он подавил в себе это чувство и после подтверждения поехал вместе с Хансом в город, где сам пристроил его на корабль. Вернувшись домой, он сразу пошел в дровяной сарай. Теперь он просиживал здесь большую часть дня, погруженный в раздумье, и машинально скреб мягкий точильный камень твердым ногтем своего большого пальца. Без мальчика ему жизнь была не в жизнь.

Когда Ханс через несколько недель вернулся домой и сказал, что его отпустили, так как шхуна дала течь и нуждается в ремонте, жизнь для Маттиса снова стала радостной. Конечно, мальчик не должен был возвращаться домой, ему следовало бы поискать другую работу, Маттис понимал, что обязан втолковать это сыну, — но он любил его и не мог с ним расстаться.

Когда они работали вместе, то часто обсуждали вопрос, как подыскать для Ханса новое место, Маттис совершенно искренне хотел этого: уж он-то во всяком случае не будет препятствовать своему мальчику в выборе будущего.

За зиму хорошего места не подвернулось, а весной Ханс заявил, что хочет учиться плотничьему делу, чтобы поступить на корабль плотником, за это больше платят. У Маттиса были кое-какие возражения, хотя и не очень серьезные, — и вышло так, как хотел мальчик.

Летом умер владелец Лаугора. Родители Маттиса были еще живы, но стали совсем дряхлыми стариками, только надежда на скорый переезд в Лаугор поддерживала в них жизнь. Маттис предпочел бы продать хутор, но старики и Бодиль запротестовали. Они все переехали туда, а Маттис остался жить в хижине. Что ему делать в Лаугоре? С родителями и женой у него не было ничего общего, они только связывали его по рукам. Теперь, наконец, он освободился от стеснительных уз. Свободным он никогда не был,

а теперь и подавно не сможет, — уж слишком долго он прожил взаперти, — но путы, которые все же связывали его, теперь не врезались ему в тело. Здесь, в хижине, у него было все, без чего он не мог жить: море, которое пело ему свою песню с самого дня его рождения, и мальчик!

Пока Ханс был в ученье, они жили вместе, и Маттиса согревало его присутствие. Мысль, что рано или поздно придется расстаться с сыном, была для него невыносима: ведь мальчик — единственная нить, связывающая его с жизнью, им он жил и дышал. У него не было больше никаких стремлений, он довольствовался тем, что беззаветно любил мальчика и восхищался им. Желания вырваться на волю он больше не испытывал: все, чего он хотел от жизни, пусть осуществит его любимец.

Сын должен прожить жизнь за него; все, чего Маттису не хватало в юности, пусть получит мальчик. Но он не мог даже подумать о том, что сможет жить без него!

Постепенно Маттис начал чувствовать угрызения совести, стал упрекать самого себя за то, что принял жертву мальчика и оставил его дома. И вот однажды Маттис, наконец, понял, что стоит Хансу поперек дороги, — точно так же в свое время стояли на его пути отец и мать. Это терзало Маттиса, но оставался только один, страшный выход, который снова вел к полному одиночеству: приходилось самому отказываться от того, что единственно согревало ему сердце и доставляло радость. Маттис, который привык уступать всем, на этот раз упорно стоял на своем решении.

В одно воскресное утро он отправился с Хансом в море. Часа два они ловили мелкую треску на отмели, так ее было много. Недалеко от этого места стояли на якорях суда, которые ветер с острова отогнал от берега. Маттис и Ханс подплывали к ним и предлагали рыбу. Маттис поднимался на борт и торговался со шкиперами, а Ханс оставался в лодке и взвешивал рыбу.

Спускаясь с одного из больших кораблей в лодку, Маттис пошатнулся, и Ханс на мгновение подумал: «Уж не поднесли ли отцу стаканчик?!» Но тут же отбросил эту мысль: отец никогда не пил водки. Маттис опустился на банку и безжизненно уставился в пространство, его серьезное лицо словно окаменело.

— Ступай сейчас же на борт,— тихим голосом сказал он.— Им нужен плотник, и жалование предлагают они хорошее.

Лицо Ханса мгновенно осветилось радостью, но, встретив потухший взгляд старика, он медленно спросил:

— А как же ты, отец?

— Я? Да вот пойду домой и соберу твой мешок. Успею, пожалуй, вернуться сюда к вечеру, пока не переменится вестер,— сказал Маттис, поглядев на облака.

— Нет, я имею в виду тебя, отец. Что ты хочешь делать?

— Чего я хочу? Пожалуй...— начал Маттис и оборвал фразу.

— Поедем вместе, отец! Здесь ведь тебе нечего делать. Мы наймемся вместе — все равно на этот или на другой корабль. Давай отправимся в дальнее плавание вдвоем!

Маттис сидел сгорбившись, не то ничего не слыша, не то прислушиваясь к далекой музыке. Внезапно он выпрямился.

— Ладно, наймемся оба! — сказал он и крепко пожал Хансу руку.— А теперь прыгай на борт!

— Так ты вернешься с двумя мешками! — закричал Ханс, держась за поручни.

Маттис кивнул.

С двумя мешками! Неужели мальчик серьезно думает об этом? Юность имеет свои права, и нечего навязывать себя Хансу — только лишний груз! Такой хороший и нежный сын, а тут вдруг заговорил, как несмышленыш. Маттис получил сполна все, что ему причиталось в жизни, и даже сверх того. А теперь хватит. Здесь, на борту, для Маттиса нет места!

Он уложил матросский сундучок и мешок своего сына и попросил, чтобы мальчику отвезли вещи,— сам он на это не решился и только следил издали за лодкой, пока она не причалила к борту корабля. Тогда он пошел в сарай, где хранились рыболовные снасти, и принялся чинить сеть. Он чувствовал, что ветер скоро переменится и тогда все суда, в том числе и то, на котором его сын, снимутся с якорей и уйдут, но он даже не поднял головы. Он сам предпочел вернуться в свою тюрьму, к чему же оглядываться назад!

ФЕЯ СВОБОДЫ

Обычно принято говорить, что мы живем в плохое время. Поэтому разрешите мне с самого начала сказать, что я считаю наше время замечательным. Что может сравниться с весенними грозами и бурным половодьем! Каждое растение, каждая травка спешат раскрыться навстречу весне, чтобы в положенный срок впитать соки земли. Но человек — существо противоречивое и не знает заранее, когда придет его «срок». Он чтит память всех усопших борцов за идею, оплакивает их судьбу, и это ничуть не мешает ему волочить на костер ныне живущих борцов.

Наше время — время социальных потрясений, может быть самых глубоких из всех, которые знала история; мы живем в период, когда от поступи мировой революции уже дрожит земля. Но мы сами не замечаем всего происходящего, разве что ощущаем некоторое беспокойство и неуверенность: ножки кровати стоят на полу уже менее прочно, чем раньше; проторенная веками дорога к кормушке то там, то тут преграждается обвалами, и ее приходится протаптывать заново, — ну не досадно ли это! И где, на каком кладбище ты найдешь свое последнее упокоение — даже этого в наши дни никто твердо не знает.

Нелепо поэтому утверждать, что в наши дни каждый человек совершает революцию. И все же революция совершается, иногда даже против нашей воли, а когда мы наталкиваемся на ее проявления, то выражаем свое отношение к ней главным образом тем, что ругаем и распинаем ее. По крайней мере большинство из нас. Другое дело — лет через

то! Наши потомки, удобно расположившись с книгой в руках, будут читать о великом перевороте, который принес им беззаботную жизнь. И они позавидуют нам, жившим в это великое время, даже не подозревая, что большинство людей никогда так не желало, как только спокойно поесть и спокойно поспать.

Человек старого мира любит ворошить прошлое. Только в самом раннем детстве человек способен непосредственно воспринимать действительность. Поэтому именно дети и призваны примирять людей с действительностью — дети и немногие взрослые, у которых хватает смелости на всю жизнь остаться детьми; только они свободно и бесстрашно смотрят в будущее.

Человек слишком отсталое существо, даже если он в достаточной мере приобщился к так называемой культуре: встречая людей, готовых бороться за величайшие идеи человечества, когда наступит время, он называет их не знающими жизни утопистами. Он говорит о них со снисходительной усмешкой: *большие дети, наивные идеалисты*. И это еще очень мягко, в большинстве случаев он вообще не прочь сжечь их на костре. Когда мы читаем об «идеалистах» прошлого — о, тогда мы отлично понимаем, что речь идет о тех, кто боролся за идеи своего времени, но теперешних борцов за идею мы не узнали бы, даже столкнувшись с ними лицом к лицу.

Мне хочется рассказать о встрече с такими *наивными идеалистами*, двумя из тех, которые особенно близко принимали к сердцу судьбу мира.

Началась эта история в Констанце. Я приехал туда из Мюнхена, чтобы полюбоваться прекрасным и живописным Боденским озером. Мне было хорошо на тихих улицах старинного городка, где современность, казалось, сложила оружие, уступив место прошлому, которое говорило о сожженном здесь на костре Яне Гусе, о Барбароссе, о битвах и смутах средневековья. А как это приятно — забыть про всякие умствования и свободно вздохнуть после нескольких месяцев безумной суеты в Мюнхене, где старое и новое, вооружившись до зубов, выступает друг против друга и воздух днем и ночью насыщен грозой. В Констанце, где пять веков тому назад сожгли на костре новые идеи с такой же легкостью, как жарят на вертеле гуся, сегодня от-

носятся к еретическим учениям с полнейшим равнодушием и терпимостью. Другими словами, все сошлись на предположении, что я приехал в Швейцарию с целью переправить сюда при первой возможности два ящика русского золота, поэтому никто даже не подумал беспокоить меня. Опять это таинственное русское золото! Как бы оно пригодилось мне в ту пору, если не два ящика, то хоть бы две пригоршни.

Однажды я зашел в парфюмерный магазин около рыночной площади, купить кусок мыла. Там уже была одна покупательница — большая редкость по тем временам: мировая война и послевоенная разруха привели к упадку торговли.

Молодая женщина, наклонившись над прилавком, разглядывала флаконы с духами. Она была очень бедно одета — так тогда одевались все, и выглядела крайне истощенной, с землистым цветом лица — так тогда выглядели все. И несмотря на это, она была хороша собой — заострившиеся от голода и лишений черты придавали ей что-то загадочное, неземное; казалось, сама душа, вырываясь из этой истерзанной оболочки, отразилась на лице женщины, — такое глубокое страдание можно было прочесть на нем. У нас много говорится и пишется о войне; только немецкая женщина до сих пор еще не сказала о ней ни слова. В тот день, когда ужасы войны достаточно отойдут в прошлое и женщина сможет без боли вспоминать о них, мир узнает, что такое настоящий страх и что такое истинное величие души.

Тогда как раз начиналось некоторое оживление в торговле и люди толпами переходили от одной витрины к другой: они довольствовались одним видом товаров, денег ни у кого не было. Так и эта женщина не могла оторвать взгляда от прилавка: все флаконы духов, какие только имелись в магазине, были выставлены перед ней. Ей доставляло удовольствие взять флакон в руки, поддержать его, вдохнуть аромат и положить обратно, — она просто упивалась видом всех этих причудливых флаконов. Что-то подсказало мне, что у нее нет денег для покупки; нетерпение, которого не мог скрыть приказчик, доказывало, что и он думает то же самое. Но ее это ничуть не смущало — она слишком увлеклась созерцанием флаконов.

При взгляде на эту женщину всякий бы сказал, что духи ей нужны далеко не в первую очередь, что есть вещи, в ко-

торых она куда более нуждается. Ботинки у нее были стоптаны и изорваны, — да и какие это были ботинки — настоящие опорки, какие до войны носили только оборванцы; пальто давно уже просилось к старьевщику — отвисшие карманы были ужасающе пусты. Надо сказать, что в те дни такой наряд не бросался в глаза, тогда все почти одевались точно так же. Но кто была эта женщина, которая могла забыть суровую действительность, наслаждаясь ароматом гелиотропа и других редких духов? Может быть, дочь народа, у которой события перепутали все вкусы и привычки? Или дитя одной из многочисленных высокопоставленных семей, которых те же события швырнули в ряды люмпен-пролетариата? Я так и не мог этого решить.

Заразившись, должно быть, ее увлечением, я тоже принялся рассматривать духи и попросил завернуть мне один причудливый флакон, который она перед тем долго вертела в руках. Сделав вид, что прячу флакон, я ловко опустил его в оттопыренный карман соседки. Потом я выбрал себе мыло и еще кой-какие мелочи и хотел расплатиться. Приказчик вытащил блокнот и стал подсчитывать сумму; дойдя до цены духов, он запнулся.

— Сколько же они стоят? — задумчиво произнес он. — Мы только что их получили. Будьте любезны, дайте мне флакон — я посмотрю этикетку.

Вот тебе и на! Что же делать? Достать флакон из кармана незнакомой женщины я, конечно, не мог. По счастью, мое замешательство длилось не больше секунды — я сумел с честью выйти из щекотливого положения.

— Дать вам флакон? Нет, нет, даже и не просите, — улыбаясь, ответил я, — флакон уже завернут и лежит в кармане. Вы обязаны сами знать цены.

К нам подскочил хозяин магазина.

— Конечно, конечно, — поддержал он меня и обратился к приказчику: — Что же вы? Надо просто посмотреть накладную.

Молодая женщина устремила на меня — дурно воспитанного иностранца — глубокие, серьезные глаза, и я поспешил удалиться, чувствуя, что мое присутствие всем в тягость. Но так или иначе, а положение я спас.

Во всей этой истории не было ничего особенного, если бы она не врезалась мне так глубоко в память. Куда бы я

ни поехал, куда бы ни пошел — всюду передо мной стояло милое изможденное лицо этой женщины, выражение укора и удивления на нем. Потом я забыл ее облик, сгладились в памяти черты лица и вспоминался только глубокий и грустный взгляд. Всюду, где я встречал нужду и несчастье, он вставал передо мной.

Потом исчез из памяти и этот взгляд, и суровая, неприкрашенная действительность снова поглотила меня. Прошло несколько лет, я совсем забыл об этой женщине, как вдруг случай опять свел нас.

Многое может случиться с человеком, — когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что вся моя жизнь состоит из цепи самых удивительных случайностей и происшествий. Бывают дни, когда все, даже самое дыхание человеческое, кажется таинственным и загадочным. Жизнь интересна и удивительна, интереснее даже, чем самое необычайное приключение, — более того, само приключение выглядит иногда так просто, что его трудно выделить из ровного хода будней. И вообще трудно сказать, где кончается повседневная жизнь и начинается приключение.

Я давно уже вернулся в Мюнхен и жил в пригороде возле прозрачного Аммерского озера. Восстанавливая свое расшатанное здоровье, я старался вести правильный образ жизни: в городе я бывал редко, и еще реже приезжали ко мне гости из города. Трудные то были времена: в некогда свободной Баварии приходилось вести себя очень и очень осторожно, — самый ничтожный проступок мог для меня, иностранца, иметь очень тяжелые последствия.

Но я обладаю счастливой способностью хорошо разбираться в событиях и угадывать ростки нового там, где они есть. Время было тяжелое и напряженное, силы реакции возмущались и железной пятой придавливали шею народа; в городе хозяйничали наемные войска, молодчики из студенческих корпораций и хулиганы-гимназисты; вооруженные шайки носились по всему городу: стоило двум рабочим на минуту остановиться посреди улицы, их тотчас же разгоняли резиновыми дубинками. И рабочие даже не осмеливались протестовать, — достаточно было появиться какому-нибудь молокососу-студентушке, как они сами забивались в первую попавшуюся дыру. Это мюнхенские-то рабочие, прежде такие гордые и сознательные!

Но в подполье тем временем вырастала новая, пролетарская молодежь. Пусть старые рабочие утомились, растеряли прежний пыл и были готовы продать свое первородство за бутылку пива, — зато с их сменой произошло чудо: молодежь, выросшая в годы войны, изголодавшаяся, бездомная, лишенная школы, подымалась теперь, чтобы своими плечами поддержать славную традицию. Недавно вступившие в профсоюз, нигде не обученные, никем не подготовленные, сбитые пареньки говорили именно те слова, какие следовало говорить, пока старые рабочие сидели повесив носы сложа руки. А какой репутацией пользовалась эта молодежь: «Ну прямо настоящее военное поколение: курят, увлекаются танцами, жадны до всяких сомнительных удовольствий и вообще совершенно беспринципны», — даже сами парики так отзывались о них. Эта дурная слава была модным только на руку — и они создавали «увеселительные общества». Полиции долго не приходило в голову взяться за них: пусть молодежь веселится, лишь бы не занималась политикой.

Я все это хорошо знал и очень хотел познакомиться с «развлечениями» молодежи. Но мне так и не удалось побывать ни на одном собрании, хотя молодежь неоднократно выказывала мне знаки дружеского расположения. Казалось, что чья-то невидимая рука отстраняла меня — мягко, но очень решительно. Тогда я, хоть и не без досады, отказался от своих намерений. Только потом я понял, как предупредительно было с их стороны не вмешивать меня в свои дела, — ведь иностранцу малейшее проявление нелояльности грозило очень серьезными последствиями.

Как-то ясным солнечным днем я сидел на скамейке в монхенском Английском парке и лениво водил тросточкой по песку; апрельское солнышко ласково согревало мою согнутую спину. Кто-то опустился рядом со мной на скамью, но, занятый своими мыслями, я даже не обратил на это внимания. И вдруг перед моими глазами очутился флакон причудливой формы, и я почувствовал запах гелиотропа.

Я недоуменно поднял голову, какое-то старое воспоминание зашевелилось во мне, — эти большие пытливые и глубокие глаза... Тут я сразу узнал ее, хотя щеки у нее немного округлились, свежее стал цвет лица, и платье было приличное. Мой ошеломленный вид очень рассмешил ее.

— Ну, наконец-то! — только и сказала она.

— Ах, так и вы тоже? — перебил я ее в радостном изумлении. — Вы тоже надеялись, что мы еще раз встретимся? — Я больше не владел собой, кровь с силой прилиwała к сердцу, и мне попеременно становилось то холодно, то жарко.

— Да, — задумчиво протянула она, — да-а. — Казалось, она подыскивает слова, чтобы как можно мягче остановить мой порыв. — Мы ведь знали, что это ты, но не решались тебя разыскивать. Ах, как Якоб будет рад видеть тебя!

Ее дружеское «ты» подсказало мне, что она мой товарищ по убеждениям и что она знает меня. Но откуда? И по чьему поручению она здесь?

Я начал было расспрашивать ее, но она остановила меня взглядом.

— Уйдем отсюда, — понизив голос, сказала она, — надо, чтобы нас видели вместе. Пойдем к нам. Мой муж болен, он будет очень рад поговорить с тобой. — Она встала со скамьи, и в глазах у нее появилось беспокойное выражение.

Меня словно что-то укололо: ах, так она замужем, просто-напросто замужем: может, у нее к тому же и целая куча детей?

— А дети у вас есть? — спросил я.

Я не мог заставить себя говорить ей «ты».

— Один сынок, товарищ, — весело сказала она и, забыв всякую осторожность, взяла меня за руку. — Угадай, как его зовут. Знаешь как? Пелле — «Счастливчик». — Она выпустила мою руку и немного отодвинулась от меня. — Идем к нам, — сказала она уже приглушенным голосом и не глядя на меня, — Якоб ждет. Садись на тот же трамвай, что и я. Помни только, что мы с тобой незнакомы. Я спрыгну на ходу, а ты сойдешь на следующей остановке.

Я повиновался ей, хотя попрежнему ничего не понимал и даже не испытывал никакой радости от встречи, — меня начало грызть сомнение. Ехали мы долго, миновали рабочий пригород Швабинг, потом дальше — через поля и пустыри. Перед конечной остановкой она выпрыгнула из вагона. Кондуктор отпустил по ее адресу несколько крепких словечек. Я последовал за ней на почтительном расстоянии.

Мы шли тропинкой через возделанный под огород пустырь. Моя молодая и прелестная спутница шагала уверенно, не оглядываясь. Вот она перепрыгнула через канаву, потом зашлепнула в какие-то ворота и миновала несколько задворков. Я шел уже далеко не так охотно, не приближался к ней и несколько раз терял ее из виду на поворотах тропинки.

На темной лестнице под самым чердаком огромного дома, битком набитого жильцами, она остановилась и подождала меня.

— Вот мы и пришли, — тихо сказала она, — остался только чердак.

Она протянула мне руку, — какая у нее была теплая и нежная рука, — и повела меня по проходу между крохотными клетушками.

В конце прохода она остановилась перед одной из таких клетушек, на двери которой висел большой замок. За этой дверью оказалась обыкновенная светлая комната, — ничуть не темней всякой другой. Из окна ее, как с вершины горы, открывался вид на кровли большого города. Комната приткнулась под самой крышей, поэтому у нее были скошенные стены. У одной стены стояла кровать, у другой — диван. На диване лежал мужчина лет сорока пяти, он пристально посмотрел на нас. Он был полуодет и казался очень изможденным, только глубоко запавшие глаза огнем сверкали на мертвенно-бледном лице.

— Ну, Якоб, наконец-то я его привела, — сказала моя спутница, переводя на него взгляд, полный любви и нежности.

Больной лежал, опершись на локоть и запустив пальцы в свою густую черную бороду. Он долго разглядывал меня, вытливо и внимательно, как будто собирался в дальнюю дорогу и хотел навсегда запомнить мои черты. Потом он крепко стиснул мою правую руку своими худыми горячими пальцами.

— Спасибо, что ты пришел, — тихо и отчетливо сказал он.

Мне показалось, что кто-то нежно и ласково обнял мое сердце. Какое это ни с чем не сравнимое чувство — знать, что ты кому-то нужен на свете.

Молодая женщина присела со счастливым и ласковым выражением, которое бесспорно относилось к нам обоим и

как-то объединяло нас. Потом она подошла поближе к постели, одной рукой взяла меня за левую руку, а другой провела по волосам больного.

— Так вот, это и есть мой муж,— с ударением сказала она и гордо посмотрела на меня.

— А сын? — спросил я, оглядываясь вокруг.

Необычайно красивым движением она положила руку на плечо больного и стояла так с минуту, закрыв глаза и как бы забыв о нашем присутствии; потом она выпрямилась.

— Ну, я оставляю вас. У меня еще есть дела,— торопливо сказала она.

Больной провожал ее глазами, пока она не скрылась за дверью, потом повернулся ко мне. Лицо его искалось, словно от боли, но, заметив мое изумление, он улыбнулся.

— Да,— тихо сказал он,— все мы влюблены в нее, поголовно все. И не удивительно. Кто не согласился бы прожить всю свою жизнь подле этого светлого существа?

Он провел рукой по лицу, видимо пытаясь прогнать какую-то неотвязную мысль.

— Сядь поближе,— сказал он немного погодя.— Мне тяжело громко говорить,— и смахнул газеты со стула, стоявшего возле его постели.

Пока я усаживался, я вспомнил, кто он,— узнал лицо этого человека, хорошо знакомого мне по рассказам,— узнал, несмотря на бороду.

— А я думал, что ты...

— Убит при попытке к бегству? — перебил он меня.— Так оно и есть; само собой, по официальным данным. Впрочем, хватит обо мне, это всегда успеется. Расскажи лучше о себе. Что ты делаешь? Как твоё здоровье?

И это спрашивал он, чья жизнь давно уже висела на волоске! Я просто не мог отвечать на его вопросы, таким незначительным и маловажным показалось мне в эту минуту все, что касалось меня и моей жизни. Поэтому я обрадовался, когда он перевел разговор на свою жену.

— Как хорошо, что вы уже встречались раньше и она узнала тебя! Мы слышали от товарищей, что ты в Мюнхене.

— Да, мы встретились с ней в Констанце, в парфюмерном магазине. И очень странно встретились, надо сказать.

— Почему странно? — спросил он с таким выражением, словно для него уже во всем мире не было ничего странного.

— Ну, видишь ли... она мало похожа на женщину из пролетарской среды.

Конец моей фразы вызвал у него улыбку.

— Она действительно происходит не из низов, если ты это имеешь в виду, она из старинного дворянского рода. И все же по духу она настоящий пролетарий. Это вот и доказывает всю силу нашего движения: став сегодня ведущим мировоззрением, оно влияет на судьбу всех классов, а не только одного нашего.

— Так ты говоришь, что она из старинного дворянского рода?

— Да, она дочь генерала N., одного из тех высокопоставленных господ, которые проиграли войну, а потом отыгрались на нас, рабочих. Да ты его, наверно, знаешь?

— Генерала N., этого палача?

— Да, дорогой, именно его. Она дочь самого отвратительного злодея, но нет на земле человека лучше нее. Ну как тут не стать оптимистом! Ведь это он ввел термин «повальная чистка» применительно к рабочему движению и даже внес очередность в эту чистку: сперва обезглавить революционный пролетариат, а потом приняться за реформистов. Я стоял у них первым на очереди, когда они подняли голову после революции. Непосредственных причин повесить меня у них не было, — во всяком случае во времена веймарской республики, — но все же меня считали опасным.

— Так чего же ты боялся?

— Днем — ничего, разве что ночью. Тогда правительство стеснялось при свете дня выступать вместе с силами реакции. Вот и меня однажды ночью вытащили прямо из постели, отвезли в тюрьму и пустили в ход судебную машину. Сам по себе суд меня не беспокоил, судьи держались тогда вполне прилично, и все говорило за то, что меня отпустят на свободу.

Вот здесь и таилась опасность: реакция ополчилась на меня, — я был как раз той дичью, за которой она охотилась под покровом ночи. Я, конечно, предпочел бы отсидеть два-три года. А тут с минуты на минуту приходилось ждать, что меня тихонько прикончат «при попытке к бег-

ству» или как-нибудь еще в этом же роде. В стране свирепствовала Фема¹, и я понимал, что рано или поздно в мою камеру ворвутся члены этой организации, потребуют моей выдачи и под покровом ночи разделяются со мной.

В таких случаях ждать очень мучительно, и я почти обрадовался, когда однажды ночью они действительно явились ко мне, пригрозили охране револьверами и добились моей выдачи. Меня выволокли из камеры, бросили в автомобиль и повезли за город. Я понимал, что все кончено, а впрочем, мы, революционеры, всегда смертники в отпуску, как хорошо сказал Левине². Но вместо того чтобы убить меня, они передали меня в руки какой-то молодой женщины и убралась восвояси.

Положение было не из приятных, я, пожалуй, предпочел бы очутиться в руках наемных солдат, перед дулом заряженного револьвера. Пусть это смешно, но в обществе женщин я всегда терялся, для них у меня просто времени не оставалось, ведь все силы я отдавал движению. И вот... — он умолк, чтобы перевести дух.

— А дальше? — меня слишком захватил его рассказ, и я даже не обратил внимания, что больной устал.

— Да вот, как видишь! С этих пор мы всегда вместе, я и Йоханна. Какой она замечательный товарищ, если бы ты знал!

— А как же это вышло? Я все-таки не понимаю.

— Да, я и в самом деле отвлекся в сторону. Так вот, Йоханна рассказала, что ей хотелось своими глазами увидеть настоящего «разрушителя» общественных устоев, поэтому ее отец, генерал, взял с собой Йоханну в суд, когда там слушалось мое дело. Я должен был сказать несколько слов в свою защиту, но, вместо того чтобы защищаться, стал нападать на эти самые общественные устои. Йоханна слушала, слушала и тоже изменила взгляд на вещи — и, со свойственной ей стремительностью, решила освободить

¹ Фема (Feme) — тайное судилище в средние века (лат.). Здесь: тайная черносотенная организация в Баварии, жестоко расправлявшаяся с революционерами.

² Левине Евгений (1883—1919) — германский революционер. Член союза «Спартак» и компартии Германии, председатель Исполнительного комитета Баварской советской республики; расстрелян после ее подавления.

меня. Она украла у отца две старые шинели и подкупила солдат, чтобы они вывели меня из тюрьмы, как будто на почной допрос. Они оделись офицерами и проделали это все очень ловко.

— И с тех самых пор тебе удастся скрываться?

— Да, и пока все шло на редкость хорошо, хотя я вел себя далеко не смирно. Правительство и «черные» и в самом деле думали, что меня нет в живых. Но теперь они, неизвестно почему, усомнились в этом и снова начали охотиться за мной. Долго это не протянется, меня, конечно, найдут, а теперь полиция и днем не очень-то стесняется.

— Тогда тебе надо как можно скорей уехать за границу. Хочешь, я...

— Об этом я и хотел поговорить с тобой. Уезжать и скрываться мне больше незачем — у меня рак. А сидеть в тюрьме я не хочу и не могу.

— Неужели ты хочешь умереть? — боюсь, что мне не удалось скрыть испуг.

Он молча кивнул, слабо улыбаясь.

— Мы с Иоханной пришли к выводу, что это самое разумное. Я никогда не боялся смерти и прожил жизнь достаточно содержательную — поэтому и умру без сожаления. Наше время — слишком бурное, оно быстро сжигает нас. Я устал — может быть, оттого, что я болен, — и я готов умереть, но только не от руки палача. Не можешь ли ты оказать мне большую услугу?

Я ответил утвердительно, хотя и не без колебаний.

Он улыбнулся.

— Ты меня не понял, с этим я и сам справлюсь. Откуда собственно взялся страх перед кровью? За все революции, какие только знала история, не было пролито столько крови, сколько за одну мировую войну. А ведь кровь войны — это кровь братоубийства, тогда как кровь революции — здоровая кровь, потеря которой неизбежна при всяких родах. — Он вытер пот со лба. По выражению его лица я понял, что он борется с мучительной болью. — Ну, ладно, я отвлекся от дела. Так вот, позаботишься ты об Иоханне и о нашем сыне?

Я кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Он ощупью нашел мою руку.

— Знаешь, что я скажу тебе? Иоханна — это сама фея

свободы! Когда мы в ту темную ночь бежали с ней из тюрьмы, она — дочь «чертова генерала», как мы его называем, сказала мне: «Это не я спасаю тебя, а ты освободил меня. Через восемь дней я должна была стать женой одного графа — из этих вояк, забрызганных кровью народа. Я не хочу отдавать ему то, что мне дорого. Я хочу быть твоей, хочу родить тебе сына, пусть они подбирают остатки, если пожелают». Она так страстно, с такой отчаянной решимостью сказала мне это, что я понял: передо мной не просто женщина, которая пытается разорвать сковывающие ее цепи. Мне казалось, будто само божество революции явилось мне. После этого она уже, конечно, не могла вернуться к богатству и к тому холодному и бездушному обшеству, которое ее окружало. Бóльшую часть моей жизни мне пришлось провести в подполье, но и там, дорогой друг, заметно, как подымается новая поросль, — именно оттуда нужно ожидать чудес. Глубоко внизу, там, где бьется пульс современности, растет и набирает сил будущее.

А как Йоханна легко вошла в нашу подпольную жизнь! Она поняла, что, только укрывшись от дневного света, можно спокойно вынашивать будущее. Потому-то я и поручаю тебе Йоханну и сына.

А теперь иди, я устал.

Он выпустил мою руку и повернулся лицом к стене.

СЫН БОГА И ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ ДЬЯВОЛА

(Старинная легенда)

I

И господь бог взял в руки вселенную, и создал из хаоса мир, и назвал его землею. Он отделил воду от суши и вывел взглядом своим небесный свод. И улыбнулся он делу своему, ибо увидел, что оно хорошо; а из улыбки его появился свет. И послал он свет странствовать вокруг земли и повелел ему гнать от себя мрак — так появились ночь и день.

Господь бог дунул на дело свое, и оно стало живым. Море породило из глубины своей живое кипение, и рожден был воздух, — живыми клубами полетел он над землей и взвился к широкой тверди небесной. Свет блеском своим породил светлые существа, а мрак породил тени.

Бог сотворил диких зверей на земле по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их — и увидел, что это хорошо.

Увидел господь бог, что дело свое он уже совершил, и сказал:

— Сотворю человека по образу моему и подобию моему, и он сменит меня и будет продолжать дело мое, — ибо ныне я устал.

И он сотворил человека и сказал:

— Вот, я сотворил тебя по образу моему и подобию моему! Отныне ты будешь преемником моим; и ты будешь

знать об этом потому, что ты, единственный из всех существ, сможешь создать свет и тьму, когда захочешь. Отныне ты бог на земле, и это значит, что из рук твоих будет исходить благо. Будь добр и щедр, как отец твой, никогда не щади себя, но береги других. Уделом каждого должен быть удел слуги, и такой удел должен быть величайшим счастьем. А тот, кто будет беречь себя и не будет служить другим, того ты изгонишь в пустыню, прочь от лица твоего и моего. Как прокаженного, будут его гнать, не будет потомства от него, и мир будет пуст для него... Я приду и посмотрю на тебя, когда ты совсем не будешь знать этого, и увижу, следуешь ли ты призванию своему,—знаком этого будет грубая кожа на руках. Признаком же божественности твоей будет то, что, где ступит твоя нога, все будет цвести. И потому даю я тебе имя *Пролетарий*, что значит: тот, кто приходит в мир нагим и возделывает его. И пока твои руки будут грубы и корявы, твое сердце останется молодым и теплым,—оно будет сердцем бога.

И господь бог преклонил голову свою к облакам небесным и почил.

Сын бога стал владеть землей и правил над ней трудом разума и рук своих. Он копал и сажал, расчищал почву и ленил предметы по разуму своему, то есть по разуму божьему. И там, где он ступал, все покрывалось растительностью, так что земля стала прекрасной и получила название *Райский сад*. Его руки были грубы от работы, но лицо его заимствовало свет от улыбки бога, которая носилась над землей. И все твари ели из рук его, и было им хорошо. Когда он уставал лепить вещи, он размышлял об их сущности и находил, что она та же, что и сущность бога. Это знание наполняло его удовлетворением, которое становилось все больше.

«Я создам себе малый мир,—думал он,—я построю его со всеми его чудесами в моей душе, в душе детей моих и в душе детей моих детей. Настанет день, когда бог отец придет посмотреть, что я совершил, и он увидит, что бесконечно умножилась его сущность!»

Прекрасной стала земля и становилась еще прекраснее, ибо о ней заботился человек. И прекраснейшим созданием из всех был сам человек! Его руки были грубы и корявы, как земля, его лоб светел и блестящ, как небесный свод, глубоко в его взгляде лежала бесконечность.

Все это увидел змей и опечалнился. И пополз змей на брюхе своем к обезьяне, которая висела на дереве и превращала все дела и действия человека в глупое кривляние.

— Посмотри на человека, — прошипел змей, — у него лишь две руки, а у тебя четыре: он всего-навсего неудачная обезьяна. Однакоже он называет себя владыкой творения!

И ослу змей сказал:

— У тебя самые длинные уши из всех тварей, о всезнающий! А твой крик слышен далеко отсюда. Разве ты не мог бы быть самым главным?

И гиене змей сказал:

— Ты не зависишь от света, как человек; ты живешь во мраке, но не боишься. Мертвых выкапываешь ты из могил и поедаетшь их; в пыль столетий погружаешь ты свою морду, о раскапывательница падали, о мудрая! Ты должна господствовать!

И так змей полз от одного зверя к другому, внушая каждому, что именно он — избранная тварь. Даже вши внушил он эту дьявольскую мысль. Вошь восстала против человека и его сущности. Однажды она попала в бороду бога.

— Я — избранница творения, — сказала вошь и потребовала, чтобы в нее вдохнули душу.

Но добрый бог спал и разбудить его нельзя было. Вошь тотчас же воспользовалась этим, свила гнездо в бороде бога и устроилась в нем.

— Мы и господь! — стала она говорить. — Отныне я буду жить лишь для того, чтобы толковать сущность бога для детей земли.

И так появилась теология.

Другие же звери отправились к дьяволу и стали жаловаться на свою беду.

— Добрый бог спит,— говорили они,— и мы не можем получить души. Не поможешь ли ты нам?..

Дьявол громко рассмеялся.

— Зачем вам душа,— сказал он,— она только и умеет спотыкаться! У тебя, осел, длинные уши, и ты можешь притвориться, что слышишь, как возникает душа. Так про-реви об этом! Человек в простоте своей поверит, что ты у вечных источников жизни и поешь им хвалебную песнь. Когда ты будешь реветь про солнце благодати, человек будет думать, что ты воспеваешь свет. Ты будешь ходить под руку с князьями — и тебе даже не придется рядиться в львиную шкуру!

Ты, обезьяна! Разве самое твое обезьянничанье не говорит о душе? Попрежнему нелепо кривляйся, и мы заставим человека поверить, что именно ты руководишь его поступками!

И ты, гиена! Копай землю и вой во мраке, смущай разум человека темнотой, окружи его падалью, чтобы он не мог двинуться.

Дружно помогайте один другому накладывать оковы на владыку творения.

Тебе же, волк, дам я душу, которая наполнит холодом весь мир,— мою собственную душу дам я тебе!

И дьявол поднял хвост волка и вдунул ему свой дух; он раздул его брюхо так, что оно могло поглотить весь мир, и все-таки казалось пустым.

— Теперь я дал тебе душу,— сказал он,— и ты будешь более великим, чем человек, и будешь господствовать над ним. То, что он создаст, ты будешь разрушать; и где ступит твоя нога — появятся нужда, вздохи и слезы. Ненасытность будет сущностью твоей; и дети будут плакать, женщины будут проклинять свою впалую грудь, а мужчины рвать на себе в безумии волосы — и не поймут, что стало с плодами трудов их. Имя твое будет *Капиталист*, что означает: *Великий живоглот*, и ты будешь любимым детищем дьявола. Ты будешь процветать и преуспевать от нужды человека; и он будет проклинять тебя, нося тебя на руках. А вот эти звери будут твоими слугами, и не будет у них большего счастья, чем угождать тебе. Осел будет петь о радости, когда он услышит урчание в твоём брюхе; и все будут слепо помогать тебе, стремясь разрушить дело человека.

И тысячелетия проходили. Для человека они были подобны вечности, ему было страшно прожить их. Для доброго же бога они были подобны одному дню, ибо он спал. В бороде его уютно устроилась вошь и проповедовала жизнь в боге — то есть всеобщую вшивость. На земле же сын бога боролся с любимым детищем дьявола, и маялся, как раб, для того, чтобы сохранить дело бога. Он не знал отдыха и покоя и все таким же тяжелым было его существование, потому что все, что он создавал, бесследно исчезало в пасти волка.

И как ни старался и ни боролся человек, божий мир постепенно стал хиреть, и сам человек падал все ниже и ниже. Вздохи же его возносились все выше и выше, все громче и громче раздавались они. И однажды он так громко воззвал о помощи, что добрый бог приподнял голову.

— Боже мой, боже мой, почему ты меня покинул! — слышался с земли возглас, полный смертельного страха и отчаяния. И господь узнал голос своего сына.

И другой голос, который, как показалось богу, он тоже слышал когда-то, на заре времен, ответил холодно и насмешливо:

— Если ты сын божий, помоги себе сам!

Добрый бог кивнул головой и снова лег на ложе облатков. Он еще не выспался.

III

Прошла тысяча лет и еще одна тысяча. И однажды господь пробудился — он отдохнул.

— Пойду-ка посмотрю, как сын мой выполнил урок свой, — сказал он, отшвырнул ногой тяжелые шерстяные облака и сошел на землю.

Невесело было идти по земле — сорняки и разные чудища развелись повсюду. Прозрачные реки райского сада текли теперь вонючими потоками по серой, безрадостной местности, выливая свои помои в море; живые твари утоляли жажду этой водой.

— Это отбросы *Великого живоглота*, — говорили они, — да будет милостив бог к *Великому живоглоту*, он не даст нам погибнуть!

По полям ползали на четвереньках женщины и дети; худы и усталы были они, а глаза их были опущены долу.

— Что вы делаете, бедняги? — спросил господь.

— Мы возделываем поля и собираем хлеб для *Великого живоглота*, — сказали они, — и когда он в милостивом расположении, он разрешает нам смотреть на то, как он ест. Не задерживай нас, чтобы он не рассердился.

— Кто этот *Великий живоглот*? — спросил добрый бог. И по его голосу было слышно, что он боится ответа.

— Как же ты его не знаешь? У него свиное рыло и волчий желудок, и ходит он всегда в шкуре мехом наружу. Его щедростями все мы живем и дышим. *Великий живоглот* милостив!

Добрый бог пошел дальше. Посреди города, на площади, сидела обезьяна и собирала налог сразу четырьмя руками.

— Для *Великого живоглота*! — кричала обезьяна.

И каждая тварь позволяла грабить себя и отнимать у себя все, что она имела: у страусов и павлинов выдергивали перья, с песцов и бобров сдирали шкуры.

И, ободренные, искалеченные, уходили они, произнося слова благодарности тому, кто разрешил сохранить им жизнь.

Бедные женщины, не имевшие ничего другого, приводили своих молодых дочерей.

— *Великому живоглоту*, который милостиво разрешает нам жить, — говорили они.

Добрый бог покачал почтенной головой своей, отказываясь понимать: если все это дело рук сына его, то он, должно быть, совершил чудовищную ошибку!

— А где тот, кто все создает на земле? — спросил он.

Ему показали на обезьяну, одетую в мундир министра и в треугольную шляпу; она казалась чрезвычайно обремененной ответственностью; на хвосте, торчавшем из-под острых фалд, было завязано три узла. Господь рассмеялся, хотя печаль охватила его.

— Эту-то я знаю! Я сам ее создал из кусочка веревки, завалывшегося в моем кармане, — сказал он с мрачным юмором.

И он отправился искать сына, чтобы потребовать у него отчета.

Как громадный ток, опустошенный и безрадостный, был божий мир, когда бог проходил по нему. И, наконец, бог нашел сына: он был внутри топчака и двигал его. Могучим богатырем стал он теперь, но шея его была согнута, а тело, цвет которого был некогда подобен солнцу, низведенному на землю, было безобразно от грязи и утомления; свет глаз его, казалось, потух. Руки и ноги его были скованы, а верхом на его могучей шее сидел маленький Обыватель с отвратительной мордой и колот его палкой с железным наконечником. И каждый раз, как Обыватель колот его, богатырь вздыхал и принимался еще прилежнее работать.

Добрый бог ласково окликнул сына. И когда богатырь услышал слово *Пролетарий*, сказанное самим богом отцом, он выпрямился одним рывком, оковы упали с него, и Обыватель свалился на землю.

— Я здесь, отец! — сказал богатырь радостно и ошущую пошел вперед.

— Ты слеп, сын мой?! — воскликнул взволнованный господь. — Теперь я понимаю, отчего на земле все идет не как должно. Кто отнял свет у твоих глаз и заковал тебя в оковы?

— Твари, которых ты в гневе своем дал мне в спутники. Осел ревом оглушил меня, гiena смазала мне глаза трупным ядом — и я не стал видеть света неба, обезьяна же заковала меня. Зачем отдал ты свои прекраснейшие дары зверям, о отец?

— Нет, дар предвидения я все же дал тебе, сын мой, и дар взгляда в прошлое. И разве божественный закон и вечный порядок не сосредоточены раз и навсегда в тебе? Ведь я по образу моему создал тебя! И не понимаю, как крикливый, длинноухий осел, малокровный выкапыватель падали и смешной церемониймейстер — обезьяна одолели тебя? Я ведь затем и сотворил их, чтобы у тебя всегда были перед глазами карикатуры на твои божественные свойства.

— Не они покорили и поработили меня, но душа, которую ты мне дал.

— Душа? Которую я подарил тебе как преимущество перед всеми тварями? — воскликнул рассерженный господь.

— Разве можно бороться с хищными зверями и паразитами с помощью души? Бороться с бессердечностью с помощью сердца? Что может сделать даже твоя всеблагость

с пустотой? Ты дал мне сердце — оно-то и сделало меня рабом. Вот — мои руки стали грубее и корявее, чем прежде, а мое сердце истекает такой же теплой кровью, несмотря на все, что со мной произошло. Но твой образ я не сумел сохранить. Я старался быть слугой всех, ничего не требуя для самого себя! И вот — я стал рабом мира! Таким жалким я стал, что самый жалкий паразит не захочет меняться долей со мной!

— Почему же ты не разорвал своих оков, черт возьми! — воскликнул добрый бог и топнул ногой.

— Отец, разорвать мои оковы — значило бы разломать все. А мог ли я это сделать? Мог ли я разрушить мир, о котором ты велел мне заботиться? Все, что я имел сам, ушло на то, чтобы и дальше поддерживать жизнь в твоём мире, а все, что ты дал, никак не помогло мне. Даже сын, посланный тобой, только глубже погрузил меня в нищету и рабство. Чего ты хочешь от меня! Ярмо натирает мне шею до крови, а твои паразиты кусают меня! И все, что я создаю, исчезает в громадной пустоте, которую ты сам сотворил. Иди к *Великому живоглоту* и требуй у него свой мир!

— Его создал дьявол, а не я, — сказал удрученный господь, — разве его не называют любимым *детищем дьявола*? Но ты разгневался, сын мой, и теперь я ещё больше огорчаюсь, что ты не сумел управиться с наследством, которое я дал тебе.

— А как я мог с ним управиться, если ты создал меня, будучи стар и дряхл? — упрямо возразил человек. — Разве у тебя самого в бороде не завелась вошь, батюшка бог?

Тогда засмеялся добрый бог.

— Я вижу, что разум возвращается к тебе, — сказал он. — Ты прав, я был утомлен тогда и забыл дать тебе *гнез в крови*. Но поистине ты создан по образу моему, раз осмеливаешься так говорить со мной. И ныне мы превратим ад земли в райский сад; мы с тобой вместе очистим небо и землю от паразитов. С этого дня твоим цветом будет *красный цвет*!

ПРОЛОГ

Не потому ли наш век называется железным, что большинство из нас является на свет с кандалами на ногах? Я сам принадлежал к тем отверженным, которые, едва начав ползать, становятся звеньями бесконечной цепи пожизненных рабов, чей проклятый жребий заключается в том, чтобы всеми своими силами услаждать земное существование немногих избранных. Время от времени то здесь, то там кого-нибудь из нас освобождали от кандалов и отправляли в вечность — без больших расходов и лишних церемоний, — после чего наши ряды снова смыкались сами собой. Оставшиеся тащились дальше, низко пригибаясь к земле. Наши изголодавшиеся души наполняли воздух воплями; как стаи блуждающих птиц, кружились они без устали наверху, отыскивая укромное местечко. Их было так много, что они затемняли небо и бросали тень даже туда, где было очень светло.

Настало время, когда и мне, за болезнью и непригодностью, тоже даровали свободу: бросили умирать в открытом поле. Врача ко мне не позвали, хотя я был не прочь пожить еще немного; зато пастор своевременно появился возле меня: он ждал минуты, когда я отправлюсь на тот свет, чтобы прочесть надо мной заупокойную молитву. Впрочем, в его оправдание можно сказать, что он занимался этим ремеслом по поручению государства.

Но на этот раз добыча от него ускользнула: одна добрая женщина подобрала меня и привела к врачу.

— Туберкулез, — сказал он. — Общее истощение. Плохое питание. Переутомление. Сколько времени вы работаете?

с пустотой? Ты дал мне сердце — оно-то и сделало меня рабом. Вот — мои руки стали грубее и корявее, чем прежде, а мое сердце истекает такой же теплой кровью, несмотря на все, что со мной произошло. Но твой образ я не сумел сохранить. Я старался быть слугой всех, ничего не требуя для самого себя! И вот — я стал рабом мира! Таким жалким я стал, что самый жалкий паразит не захочет меняться долей со мной!

— Почему же ты не разорвал своих оков, черт возьми! — воскликнул добрый бог и топнул ногой.

— Отец, разорвать мои оковы — значило бы разломать все. А мог ли я это сделать? Мог ли я разрушить мир, о котором ты велел мне заботиться? Все, что я имел сам, ушло на то, чтобы и дальше поддерживать жизнь в твоём мире, а все, что ты дал, никак не помогло мне. Даже сын, посланный тобой, только глубже погрузил меня в нищету и рабство. Чего ты хочешь от меня! Ярмо натирает мне шею до крови, а твои паразиты кусают меня! И все, что я создаю, исчезает в громадной пустоте, которую ты сам сотворил. Иди к *Великому живоглоту* и требуй у него свой мир!

— Его создал дьявол, а не я, — сказал удрученный господь, — разве его не называют *любимым детищем дьявола*? Но ты разгневался, сын мой, и теперь я ещё больше огорчаюсь, что ты не сумел управиться с наследством, которое я дал тебе.

— А как я мог с ним управиться, если ты создал меня, будучи стар и дряхл? — упрямо возразил человек. — Разве у тебя самого в бороде не завелась вошь, батюшка бог?

Тогда засмеялся добрый бог.

— Я вижу, что разум возвращается к тебе, — сказал он. — Ты прав, я был утомлен тогда и забыл дать тебе *гнез в крови*. Но поистине ты создан по образу моему, раз осмеливаешься так говорить со мной. И ныне мы превратим ад земли в райский сад; мы с тобой вместе очистим небо и землю от паразитов. С этого дня твоим цветом будет *красный цвет*!

ПРОЛОГ

Не потому ли наш век называется железным, что большинство из нас является на свет с кандалами на ногах? И сам принадлежал к тем отверженным, которые, едва начав ползать, становятся звеньями бесконечной цепи пожизненных рабов, чей проклятый жребий заключается в том, чтобы всеми своими силами услаждать земное существование немногих избранных. Время от времени то здесь, то там кого-нибудь из нас освобождали от кандалов и отправляли в вечность — без больших расходов и лишних церемоний, — после чего наши ряды снова смыкались сами собой. Оставшиеся тащились дальше, низко пригибаясь к земле. Наши изголодавшиеся души наполняли воздух воплями; как стаи блуждающих птиц, кружились они без устали наверху, отыскивая укромное местечко. Их было так много, что они затемняли небо и бросали тень даже туда, где было очень светло.

Настало время, когда и мне, за болезнью и непригодностью, тоже даровали свободу: бросили умирать в открытом поле. Врача ко мне не позвали, хотя я был не прочь пожить еще немного; зато пастор своевременно появился возле меня: он ждал минуты, когда я отправлюсь на тот свет, чтобы прочесть надо мной заупокойную молитву. Впрочем, в его оправдание можно сказать, что он занимался этим ремеслом по поручению государства.

Но на этот раз добыча от него ускользнула: одна добрая женщина подобрала меня и привела к врачу.

— Туберкулез, — сказал он. — Общее истощение. Плохое питание. Переутомление. Сколько времени вы работаете?

— Двадцать лет.
— А ваш возраст?
— Двадцать четыре года.
— Ну, значит, вы отбыли срок своей службы.
— Разве ничем нельзя ему помочь? — спросила добрая женщина.

— Зима на юге, пожалуй, могла бы его спасти. В противном случае он подохнет.

Слово «подохнет» больно меня задело, хотя и совершенно напрасно: зачем придавать значение словам, раз смысл их остается неизменным? А в данном случае не было никаких сомнений. В современном обществе нет такой инстанции, куда мог бы обратиться безвинно приговоренный к смерти, чтобы молить о пощаде. Полиция заботится о надорвавшихся и искалеченных лошадях, замученному же и умирающему от непосильного труда человеку остается взывать только к небу. И потому, не мудрствуя лукаво, я примирился с необходимостью наполнить свои больные легкие вечным блаженством.

Но вот в одно прекрасное утро у меня в кармане неожиданно оказалась крупная сумма денег — несколько сот крон, которыми меня снабдила вышеупомянутая добрая женщина, и я решил двинуться в Италию.

Невозможно описать мое настроение: ведь я ускользнул от объятий смерти и избавился от рабства. Как воробей, чудесным образом вырвавшийся из когтей кошки, умчался я — полуживой, но с радостью и надеждой в сердце.

На несколько дней мне пришлось остановиться в Копенгагене, чтобы привести в порядок неотложные дела. Я поселился в мансарде одного дома в Северном квартале. Моей соседкой оказалась маленькая высохшая старушка, неизвестно чем и как существовавшая. У нее не было ни родных, ни друзей; сама же она была слишком стара и измучена, чтобы заниматься каким-либо трудом. Она жила в полном одиночестве и слыла слабоумной... Не знаю, ощущал ли я потребность в людях или счастливое выражение моего лица привлекло ко мне старушку, но она со мной разговаривала и поведала мне свою печальную историю.

Откуда-то из Ютландии, совсем молодой девушкой, легко и бедно одетой, она приехала в столицу, чтобы пополнить бесчисленные ряды скромных существ, не требую-

них от жизни ничего, кроме мало-мальски сносного существования. Вскоре она подружилась с одним человеком своего круга, рабочим, жаждавшим, как и она, выйти на более широкую дорогу. И вот она вступила в брак, не имея на душе ничего, кроме этого стремления, и начала плодить потомство: едва отнимала от груди одного ребенка, как на сцене уже был уже другой. Так шло время: днем приходилось бегать о куче ребят, а ночью, когда все домашние спали, надо было приводить в порядок их одежду, чтобы утром они имели опрятный вид. Никогда не было свободной минуты, чтобы заняться чем-нибудь другим. Потом они стали умирать: одни очень рано, а другие уже тогда, когда становились взрослыми, когда могли бы помогать родителям. Однажды на работе ее мужа изувечили, и он прохворал несколько лет подряд. Так супруги промучились почти до серебряной свадьбы, незадолго до которой старик умер. Когда его похоронили, вдова Йенсен (это было ее имя) подумала, что сможет, наконец, отдохнуть, но тут только заметила, что превратилась в старую, одинокую женщину, — и начала тосковать по родным краям. Она начала копить деньги на дорогу, но ей никак не удавалось собрать необходимую сумму. Всякий раз, когда ей казалось, что она скопила достаточно, наступал срок платежа за квартиру или появлялся какой-нибудь другой расход, поглощавший почти все сбережения. Желание увидеть родные места доходило у нее до такой остроты, что она несколько раз отправлялась на вокзал без билета; но в первый раз ее задержал контроль до отхода поезда, а во второй раз она доехала до Корсэра, где ее высадили и отправили обратно.

— Я чуть не попала тогда под суд, хотя занимала в вагоне пустующее место, — сказала старушка.

Ее охватила дрожь при одном воспоминании об этом происшествии, которое заставило ее отказаться от своей мечты.

— Теперь, — закончила она рассказ, — все, чего я хочу, это преклонить поскорее усталую голову там, где над моим телом не будут греметь колеса... Вот если бы можно было перевезти мой труп через море и похоронить его на родном кладбище! — воскликнула она. — Как ты думаешь, это стоило бы очень дорого?

Она оглядела свою убогую каморку, как бы прикидывая, сможет ли ее скорбь покрыть такие издержки. Там, на ее родине, мертвых хоронят на кладбище, расположенном на высоком откосе, с которого открывается вид на деревенский пруд; по этим местам она бегала в то далекое время, когда пасла стадо,— и там ей хотелось бы спать вечным сном...

Встречи эти — сначала с Анн-Мари, а потом с этой старой женщиной — открыли мне глаза на мир; в котором я жил, на все то, от чего я тяжело страдал, не отдавая себе в этом ясного отчета,— на жестокую несправедливость судьбы. Это было так, потому что иначе и быть не могло. Но если на земле ничего нельзя изменить, сказал я себе, то зачем же думать об этом? Без такого фатализма, однако, беднякам стало бы не под силу жить — они или кончали бы самоубийством или стали бы все разрушать и уничтожать. Но, помимо этого, я постиг и кое-что другое, потому что узнал положительную сторону жизни и мог делать сравнения. Я понял, что все могло бы быть иначе, во всяком случае у этой старушки,— ведь она занимала пустующее место!

Еще больше прозрел я во время моего путешествия на юг, в Италию. Скорый поезд остановился неожиданно в каком-то маленьком горном местечке, и мы вышли из вагона, чтобы немного размять ноги. По расписанию здесь не полагалось остановки, и мы очень заинтересовались ее причиной. Мы стояли уже с полчаса, как вдруг мимо станции пролетел экспресс. Словно в тумане, перед нами мелькнули три спальных вагона с опущенными шторами и так называемый паровоз-молния. Мы не заметили ни одного живого существа в этом чудовище, которое, гремя и содрогаясь, ринулось с дьявольским воем в туннель и исчезло в его темной пасти. Оказалось, что какой-то берлинский миллионер, направляясь в Египет, заказал всю железнодорожную линию до Бриндизи. Кроме него самого, в поезде ехали лишь его лакеи и повар.

Только после того как он пронесся мимо, мы, несколько сот пассажиров, смогли ехать дальше — путь был свободен. Это небольшое, но замечательное происшествие дало нам много пищи для разговоров. Это было вполне современное приключение, подобное тому как в старину разбойники просто нападали на путешественников. Кое-кто был недо-

молен тем, что частному лицу была предоставлена возможность остановить движение на одной из главных европейских линий только для того, чтобы он мог проехать сам. Никто, однако, не возмущился по-настоящему тем, что деньги показали свое могущество, и все еще раз прониклись к ним благоговением.

Но для меня этот поезд, с грохотом мчавший по Европе пресыщенного миллионера — человека, который даже не обрадовал внимания на красивые пейзажи, ехал опустив занавески в своем купе (он куда-то торопился, — видно, чтобы приумножить свое богатство), — для меня этот поезд приобрел особое значение. Я думал о себе и о том, что еле спасся от смерти. Потом я перенесся мыслью ко всем тем, кто умирал у нас на родине от недостатка того или другого, от нужды и нищеты. Как много отверженных, как много бессмысленно погибших было среди тех, кого я знал! И сколько еще таких найдется по всей земле!

Я уже раньше замечал незанятые места; теперь же они ожили перед моими глазами. Я видел всех тех, кто на них не сидел: *пассажиров незанятых мест.*

С тех пор они следовали за мной с той преданностью, какую можно встретить только у бедняков. Они окружали меня днем, а ночью населяли живыми образами мои сны.

Говорят, есть люди, которые иногда предвидят события. Мне кажется, что всякий человек окружен толпой невидимых духов, и все дело только в том, чтобы уметь их видеть. В этом и заключается удивительная способность предвидения, но не всегда она — благо. Орфей, который пел и играл для теней подземного мира, оставил у них свою душу: об этом говорили звуки его лиры.

Горе тому, чьи глаза узрели незанятые места: он никогда не найдет себе покоя. Он глубоко страдает, потому что видит их везде, потому что ими усеян весь мир. Земля представляется ему поездом, который ведет сам дьявол: с адской быстротой мчится он туда, куда его толкают человеческие дела и желания, но в его вагонах — пустые сиденья. Бойко выкликают дьявол названия станций, пролетая мимо них со своей вереницей незанятых мест, на которых должны сидеть отверженные судьбой.

ВЕРНЫЙ ДО ГРОБА...

(Воспоминание детских лет).

Мы часто слышим, что в наше время каждый может пробить себе дорогу, если у него есть способности, и что таланты не гибнут, а получают все возможности для своего развития. Так говорят обычно те, кто хочет доказать, что наше общество является настолько совершенным, что каждый в нем занимает место по заслугам.

Всякий раз, когда я слышу это, я невольно вспоминаю многих несчастных, погибших в отчаянной борьбе за существование. Если бы могла полностью развернуться хоть небольшая часть тех замечательных талантов, которые таятся в народе и не могут увидеть света, то весь мир выглядел бы сегодня иначе.

Правильно говорит старая пословица, что бессмысленно оплакивать нерожденного ребенка. Но разве не печально наблюдать появление таланта, который, героически борясь за то, чтобы утвердить себя, вынужден погибать в безжалостных тисках самых серых будней?

В детстве я не раз слышал, как взрослые рассказывали о талантливом музыканте Боне. Это был простой хусман, живший в северной части Борнхольма. О том, как сложилась его судьба, знали почти все жители острова. Бон умел играть на любом музыкальном инструменте, он мог извлекать различные мелодии из предметов, отнюдь не предназначенных для этого, — например из простой доски, оконного стекла, пустой бутылки. Ноты он выучил самоучкой и записывал услышанную мелодию тут же. Бон сочинил

немало музыкальных произведений и некоторые из них переложил для оркестра; он создал большой оркестр, сам дирижировал им, и вскоре оркестр стал известен по всему острову. Но в то же время он работал батраком и усердно обрабатывал свой небольшой клочок земли.

На свою судьбу Бон не жаловался, но хотел бы, конечно, чтобы его музыкальные произведения увидели свет. И когда пастор послал некоторые из них в столицу сведущим людям, то Бон не протестовал, а, наоборот, с нетерпением ждал ответа. Но так и не дождался. Ну и решили, что, очевидно, его сочинения ничего особенного собой не представляли. Постепенно Бон успокоился.

Но однажды, спустя несколько лет, когда Бон был в городе, к нему в руки попали ноты новых музыкальных произведений, в которых он узнал свои посланные в столицу сочинения: известный композитор лишь немного обработал их, прежде чем выдал за свои.

Бон отправился домой, схватил все музыкальные инструменты, какие у него были, разбил их вдребезги, сжег все ноты и черновики и строго-настрого запретил своим сыновьям когда-либо думать о музыке. Если бы можно, он охотно выбил бы из них все, чему их когда-то учил.

С этого дня Бон возненавидел музыку. Стоило ему услышать какой-нибудь музыкальный звук, как его лицо искажалось до неузнаваемости. Когда он видел, как по дороге мимо его дома бредут музыканты, он приходил в ярость и крушил все, что попадалось ему под руку. Раньше Бон был весьма набожным человеком, но теперь перестал ходить в церковь. Он не мог слушать пения и готов был выть, как больная собачонка, когда начинали играть на органе.

У Бона было восемь сыновей, один другого меньше, все равно как органные трубы. Все они отличались большой музыкальностью, особенно младший из них, Янус. Этот четырехлетний мальчуган был просто музыкальным гением. Хусман Бон и его сыновья часто выступали на больших праздниках и торжествах и пользовались немалым успехом, и Бон мечтал создать такой оркестр, какого еще не было в мире.

Теперь для мальчиков настало трудное время. Казалось, сама природа противилась тому, чтобы погибли такие

таланты. Неудача отца на музыкальном поприще вызвала у детей еще более сильное стремление к музыке, по-разному проявлявшееся у каждого из них. Но отец ловил злоумышленника, несмотря на всяческие его ухищрения, и безжалостно расправлялся с виновным, нередко пуская в ход палку. Маленькому Янусу удалось спасти от отца флейту, — он спрятал ее в укромном местечке и доставал лишь тогда, когда был вполне уверен, что поблизости никого нет. На склоне холма он вырыл себе небольшую пещерку и прятался в ней, когда ему хотелось играть: здесь он чувствовал себя в полной безопасности. Однажды отец все же нашел его в пещере. Вырвав у сына флейту, он раздавил ее своим деревянным башмаком и, разгорячившись, избил Януса.

Бон начал пить и стал совершенно невыносимым в семье. И только когда он был уж очень пьян, в нем просыпался прежний Бон, — тогда он начинал хвастаться, выделявая всякие музыкальные фокусы.

Сыновья один за другим покидали свой родной дом, как только представлялась возможность. Они работали батраками, каменотесами и в то же время попрежнему увлекались музыкой. Домой они не смели больше показываться.

Как только подрос Янус, самый младший из братьев, они создали оркестр. Этот оркестр, дирижером которого стал Янус, вскоре приобрел широкую известность на острове; братьев приглашали играть на праздниках и пирах не только в северной части Борнхольма, но и на юге, где я и встретил их, когда был еще мальчишкой. Они всегда отправлялись в путь пешком. На ходу они играли веселые мелодии и бодро маршировали в такт им. Какой это был для одинокого пастушонка праздник, когда вдруг до него доносились звуки прекраснейшей музыки и на горизонте появлялись восемь молодых братьев.

Однажды утром старика Бона нашли мертвым — в траве, под окнами большого дома, где ночью сыновья играли на каком-то празднике, — он тайком пришел сюда, чтобы послушать, как играют его сыновья. Некоторые считали, что старика хватил паралич от ярости, другие думали, что он умер от сильного душевного волнения.

Я уже почти забыл эту историю. Она, как геологический пласт, покоилась где-то в глубине моего сознания, загроможденная множеством последующих событий и переживаний.

Но вот прошлой зимой, в один из воскресных дней, я был в гостях у соотечественника, который уже давно вместе с семьей поселился в Швейцарии. Сначала мы обедали: ели чудесный датский суп с фрикадельками, двух сортов мясо с вкусным соусом из хрена (в честь гостя!). Потом мы сидели в рабочем кабинете хозяина, курили швейцарские сигары, были в очень хорошем настроении и чувствовали себя по-домашнему.

— Недурно было бы послушать, чем живет и дышит наша родина, — сказал хозяин и начал возиться с радиоприемником. — К сожалению, днем не так легко поймать нашу маленькую Данию. Это вообще довольно странно: нам, датчанам, казалось бы нечего бояться дневного света.

Он сказал это таким огорченным тоном, что я невольно рассмеялся.

— Попробуй-ка на коротких волнах, — предложила хозяйка, поддразнивая его. — Может быть, тогда легче будет поймать вашу крестьянскую Данию.

Пока он настраивал приемник то на одну, то на другую станцию и искал нужную волну, прорывались самые неожиданные и странные звуки: из Лондона доносились звуки джаза, из Кенигвустерхаузена — какое-то гнусавое завывание; иногда из приемника вылетали обрывки музыки, от которой у меня мурашки пробегали по спине... Но вот вдруг зазвучал мелодичный ритм танца, проникавший в душу, но тут же прервался...

— Вот это была Дания! — возбужденно воскликнул хозяин и тщательно начал искать станцию, откуда передавалась мелодия.

Еще несколько раз нам удалось поймать этот нежный вальс, но после нескольких тактов он, к сожалению, исчезал... Эти чудесные плавные звуки больше не появлялись, напрасно мой хозяин продолжал свои поиски, отчаянно ругаясь, как умеют это делать только мои соотечественники.

Услышанные мною такты вальса пробудили во мне воспоминание о моем далеком детстве на Борнхольме... Это было вечером, в день праздника урожая. Я притаился тогда

в овине у самой стены, чтобы меня, маленького пастушонка, не заметили и не прогнали спать. Овин был превращен в танцевальную площадку. На столе сидел молодой каменотес и играл на скрипке, а вокруг в бешеном танце проносилась пара за парой. Хозяин дома танцевал с маленькой пухленькой работницей Каролиной, у которой всегда были очаровательные ямочки на щеках. Старший работник танцевал с молодой женой хозяина (вот нахал!), только с ней одной. Пот лил с него градом, и после танцев парню пришлось скинуть с себя куртку.

— А ну-ка, сыграй нам вальс любви! — крикнул кто-то.

— Сыграй нам свой собственный вальс! Просим! — закричали все, перебивая друг друга и хлопая в ладоши.

И каменотес, приложив скрипку к подбородку, снова заиграл. Он играл с закрытыми глазами, покачиваясь из стороны в сторону, — и как во сне извлекал эти нежные, проникновенные звуки. Хозяин танцевал с молодой хозяйкой; она склонила голову к нему на плечо и тем самым сняла тяжелое бремя с моего мальчишеского сердца: значит, она все-таки любила его. Старший работник танцевал теперь с Каролиной, своим сердечным дружком. Это ведь был вальс любви! Значит, все шло, как полагается. Удивительно плавно и красиво скользили эти две пары, да и другие тоже.

Женщины кружились с блаженным видом, а мужчины задорно притопывали каблуками.

В ту ночь мне почти не пришлось спать, а весь следующий день я просидел на пастбище под кустом терна. Дождь нудно моросил весь день, и скот держался поблизости, будто искал у меня убежища. Животные, повернувшись спиной к ветру, уныло жевали жвачку, а дождь усердно поливал их.

Я натянул себе на голову старый хозяйский плащ. С терна капало, но я был хорошо прикрыт. Весь день я провёл в полудремоте и изредка с большим усилием приоткрывал глаза, чтобы следить за стадом. Мысли мои путались, в голове как будто вертелась карусель: мелькала танцевальная площадка, кружащиеся пары, звучал чудесный вальс... Казалось, этот вальс отдается шумом в крови, несется в такт с громкими ударами утомленного от бессонной ночи сердца, он укачивал, смешивал воедино топот каблуков, ве-

сильный визг женщин, освещенные клубы пыли вокруг фонаря... И, наконец, мне перехватило горло от страха, мне хотелось закричать, как в предыдущую ночь, когда чьи-то сильные руки подняли меня, малыша, с пола из-под скамейки и уложили в кровать...

Я и теперь чуть не закричал, очнувшись с тяжелым вздохом в тот момент, когда мой хозяин бросил искать волну и выключил приемник. Мое путешествие в далекое детство длилось недолго. Но как и тогда, я был весь мокрый от пота, чувствовал себя очень скверно: внутри все горело, а во рту ощущался странный привкус, как будто от теплой крови. Теперь я вспомнил все! В ту памятную ночь батрак, швед Андерс, воткнул нож в старшего работника из-за Каролины. Это вальс любви так сильно взволновал молодого поденщика. Вот оттого я и упал тогда со скамейки!.. С каким-то неприятным осадком, как после тяжелого сна, я взял со стола радиопрограмму и отыскал вальс хусмана Януса Бона.

Значит, младший из сыновей Бона достиг бóльшего, чем сам Бон. Во всяком случае, в программе было указано, что автор вальса — Янус Бон. Но что случилось с ним потом? Я попросил у своего хозяина программу и решил во что бы то ни стало узнать все подробности о Янусе Боне.

И вот нынешним летом я побывал на Борнхольме и узнал о Янусе следующее:

Он был таким же одаренным музыкантом, как и его отец, и во многих отношениях повторял его. Он, конечно, играл на всех инструментах, сочинял музыку и все свои сочинения перекладывал для оркестра. Кроме того, он выучился делать музыкальные инструменты и стал мастерить гармоники и настраивать пианино. Янус Бон первый на Борнхольме овладел этой специальностью; до сих пор приходилось вызывать настройщика из столицы, да и то он приезжал один раз в год. Теперь эта надобность отпала, — правда, людям пришлось мириться с тем, что их инструменты настраивались ночью, так как днем Янус Бон был занят своей основной работой каменотеса. Он шел четыре мили пешком, через весь остров, за две кроны настраивал инструмент, а утром к началу работы был уже

дома. Если кто-нибудь начинал торговаться из-за цены, он вовсе не брал денег.

Со временем Янус стал отцом двенадцати детей, и в этом он был похож на своего отца.

Когда ему минуло сорок, он решил бросить свою прежнюю работу и стать почтальоном. Теперь Янус в одно и то же время делал два дела. Шагая с почтой, он сочинял музыку, затем садился на краю канавы и, подложив почтовую сумку под бумагу, записывал. Всегда у него при себе был какой-нибудь инструмент, чтобы можно было проверить различные голоса.

В эту же пору Янус смастерил для приходской церкви первый орган и сам играл на нем. Его игра пользовалась таким успехом, что жители соседнего прихода стали требовать, чтобы у них в церкви тоже установили орган. Одна пожилая женщина говорила о игре Януса: «Похоже, что сам господь присутствовал на богослужении». Янус Бон играл на обоих органах каждое воскресенье и по праздникам. За это он получал двадцать пять крон в год и считал себя вполне счастливым. Ведь шутка ли сказать — он должностное лицо, да еще на жалованье! Братья смотрели на него, как на старшего в семье, все люди считали его гением и восхищались им...

Итак, в будни он разносил почту, по воскресеньям играл в церкви, а по ночам мастерил органы. К шестидесяти годам он изготовил семнадцать органов. Они стоят в церквях и миссионерских домах острова и напоминают об усердии, преданности и мастерстве Януса. Янус Бон — счастливый человек. То, что не удалось его отцу, кончилось хорошо для сына. Янус считал, что своим успехом он обязан не только себе: «Чем бы мы стали, не будь у нас такого отца? — говорил Янус своим братьям. — Он проложил нам дорогу».

Да, Янусу Бону жилось неплохо! Когда ему исполнилось шестьдесят лет, ему, как органисту, повысили жалованье вдвое. Уже поговаривали, что о нем позаботятся и ему не надо будет шагать ежедневно четыре-пять миль с почтовой сумкой за спиной, — тогда он сможет спокойно заниматься своим искусством. Говорили, будто в этом очень заинтересован депутат ригсдага, который добивается для Януса небольшого государственного пособия, — надо же было что-то предпринять. Но судьба иначе распорядилась Янусом.

Летом в приходской церкви начали проводить центральное отопление, и когда закончили его и привели в действие, орган Януса Бона закапризничал и перестал слушаться своего мастера. Дело шло все хуже и хуже, и Янус пришел к выводу, что орган необходимо полностью перестроить. Старый музыкант смело взялся за работу. Днем, как обычно, он разносил почту, а ночью, лежа на холодном церковном чердаке, возился со своим любимым инструментом.

Стояла декабрь со снежными буранами и сильными морозами. Люди начали беспокоиться о старом Янусе, который мог замерзнуть на церковном чердаке. А с другой стороны, ведь уже приближалось рождество, и прихожанам не хотелось встречать праздник без чудесной органной музыки.

Старик обещал закончить работу к сочельнику и сдержал слово. Три недели подряд возился он каждую ночь у органа, а на рассвете снова вешал почтовую сумку на плечо и отправлялся по заснеженным тропам. Когда его спрашивали, не мерзнет ли он на чердаке, он обычно отвечал: «Ничего. Мне тепло».

Но когда орган был готов, Януса стало сильно лихорадить; из церкви ему пришлось пойти домой и лечь в постель. Он заболел воспалением легких.

Его любимый орган стал звучать красивее прежнего. По глазам Януса было видно, что он испытывает радость победы, потом у него начался бред, и взор его потускнел. Казалось, что и в бреду он продолжает неутомимую работу.

В последний день своей жизни Янус опять был в полном сознании. Он хотел встать, чтобы проверить, хорошо ли настроен орган.

— В этом нет нужды, отец,— сказала жена,— потому что в церкви новый учитель уже пробует играть на органе. Он обещал играть во время твоих похорон...

Тогда Янус Бон утешился и закрыл глаза навсегда.

ЯКОБ ШЕЛУДИВЫЙ

Колбасы варятся долго, и пока они варятся, надо как-нибудь скоротать время. Так почему бы не сказкой? Это ведь не хуже перемыванья косточек своим ближним и дальним!

Так по крайней мере рассуждал дедушка. Нынче мало охотников варить колбасы из дохлых свиней, — люди стали взыскательнее и варят из дохлятины мыло. Но и мыло выгоднее варить сразу на весь приход. Вот так и вышло, что дедушка стал нам рассказывать про Якоба Шелудивого.

Если кому захочется знать, откуда у нас развелось столько чесоточных и всякой иной парши, а уж тем более, если кому захочется узнать, откуда взялись наши богачи, пусть порасспросит про Якоба Дама. Кто он был? А был он крестьянин, который крепко держался обычаев отцов и дедов и всего прочего, от них унаследованного. Он никогда не мылся, чтобы кожа не стерлась, а рубаху нательную только выворачивал, и то лишь под Новый год, то наизнанку, то опять налицо. «Чего ж ее скидывать, коли не загрязнилась с обеих сторон одинаково?» А рубаха-то у него была особенная — всегда одна сторона чище оказывалась.

Да, уж насчет бережливости Якоб, как говорится, собаку съел. Купит, бывало, маиса и подсыпает его коровам в корм цельными зернами. И зерна так целиком и выходили из коров с другого конца — на поживу сзинеям: те постоянно под хвостами у коров хрюкали. Таким манером Якоб вдвойне выгадывал на кормах, — так ему думалось.

Деньги тратить он страсть не любил — ни на дело, ни на ветер. И табак, бывало, сначала жует-жует, а потом выплюнет и курит эту жвачку, — двойное удовольствие. И нюхал не табак, а печную золу, а начихавшись, ваксил ею свои носкресные башмаки, в которых в церковь ходил. Вот это бережливость! Выезжал он всегда в старой телеге с деревянными осями, доставшейся ему еще от деда. А прозвище свое «Шелудивый» получил, как всякий может догадаться, потому, что был чесоточный.

Многим на свете ниспосылается разная благодать свыше, вот и Якову была ниспослана особая благодать. Низенький он был, кривобокий и дряблый, а до чего ни тронется своими крючковатыми пальцами или на что ни кинет кислый взгляд — все обращается в деньги. Он их копил и держал у себя за пазухой, прямо на голом теле, чтобы им было потеплее и не захотелось с ним расстаться.

Ну, известно, к деньгам всякая грязь липнет, даже и представить себе нельзя, сколько всякой гадости и мерзости впитывает в себя любая засаленная кредитка, а уж про заразу, что скоплется на монетах, и говорить не приходится. Но Яков ни заразы смертельной не боялся, ни чесотки или парши: чем грязнее была кредитка, тем бережнее брался он за нее своими крючковатыми пальцами. Кредитки же, прижимаясь к его мохнатой груди, царапали кожу, вызывали зуд и сыпь, всякие болячки и язвы, в которых заводятся черви, клещи и тому подобная чертовщина.

С течением времени на него смотреть стало гадко — шия в волдырях, на лице, на голове, на ладонях короста, болячки, трещины. Но водиться с ним люди все-таки не гнушались, — знали ведь, откуда все это идет. Им даже мерещилось, что если они заразятся от него, станут на него похожи, то вместе с его болезнью привалит и к ним такое же богатство. Кое-кто даже нарочно терся об него украдкой... Чесотку заполучали многие, а вот чтобы кто-нибудь таким манером разбогател, что-то не слышать было.

Лично Яков Дам ни в чьей ласке или приязни не нуждался. Он сам зализывал трещины на руках, собственной слюной смачивал струпья на груди и утешался мыслью, что он счастливее: страдает не даром, а за денежки.

Само собою, он стал первейшим человеком в нашем приходе, вертел всем и всеми. Это он ведь додумался, чтобы взвалить всякие подати и налоги на бедняков. «У них все равно деньги в руках не держатся,— говорил он.— Что зарабатывают, то и проедают». И еще много до чего он додумался и что крепко привилось у нас.

Ведь вот подите же, все жители прихода смотрели на него, как на божество какое-то или оракула. Устанавливали, глядя на него, приметы: засвербит в левом глазу — жди добрых вестей; зазудит все тело — привалят большие деньги; а к кому чесотка прилипает, тот родился под счастливой звездой,— пожалуй, даже окажется родней — хотя бы дальнею — самому Якову и попадет в число наследников! У Якова было откуплено в церкви собственное кресло, и пастор, читая проповедь, всегда обращался к этому креслу. В писании немало говорится о таких людях божьих, которые тоже никогда рубаху не меняли, свидетельствуя тем свое усердие перед господом, а имение свое целиком отписывали на церковь. Пастор, он тоже себе на уме был! Но Яков-то во время проповеди всегда храпел, выгадывая себе таким манером в воскресенье тот часок, который в будние дни тратил дома на послеобеденный сон.

И богател Яков да богател. Все ценное, прямо как сдуру, само плыло ему в руки. Зато прихожане все беднели да беднели. И трудно угадать, до чего бы могло все это дойти. Но недаром в писании сказано, что все на свете имеет свой конец, кроме колбасы, конечно,— у нее ведь два конца!

Как-то раз Яков собрался съездить в самый дальний конец прихода. Там распродалось с молотка чье-то имущество, и он надеялся купить все оптом за бесценок. Никто ведь не смел набавить цену, раз он назначил свою. Вот какое уважение сумел внушить к себе этот шелудивый старикашка! И он, наверное, заранее потирал руки, трясясь в своей скрипучей телеге.

А телега-то скрипела все жалобнее и жалобнее — он и не подумал ее подмазать дома: собирался, по обыкновению, выпросить колесной мази у кого-нибудь по пути. Ну, ехал он, ехал, деревянные оси совсем пересохли, и телега скрипела все громче да громче, а иной раз прямо взвизгивала или скрежетала. Такого крестьянского хутора, где бы удобно было выпросить колесной мази, все не попадалось

по дороге. Наконец, визг и скрежет колес дошли до того, что слушать стало тошно, да и боязно — как бы не загорелись оси. Пришлось убавить ходу. Но толку от этого было мало: все четыре колеса, и вместе и порознь, то взвизгивали, то скрежетали без умолку; и получалось, представьте себе, что-то вроде припева. «Якоб Дам Шелудивый! Якоб Дам Шелудивый!» — все время слышалось из-под телеги.

Якоба стала разбирать досада, потом злость. Вот чертова телега, смеет то, чего никто не смеет! Якоб спрыгнул с телеги и поплавал на все четыре колесные ступицы. Но, сами понимаете, слюна-то у него была совсем постная, и колеса опять завели свою песню. Тогда Якоб погнал лошадей во весь дух. «Постой же, замолчишь ты у меня, проклятая!» Но телега, как назло, твердила свое: «Якоб Дам Шелудивый! Якоб Дам Шелудивый!» — будто обрадовалась случаю потягаться с ним упрямством.

Якоб вообще не охотник был ругаться — силы свои берег: зачем зря тратить? Но тут разразился такой бранью, что только держись, и стал беспощадно стегать лошадей. Надо же положить конец такой издевке! Телега неслась вовсю, но унять ее, видно, никак не могла и, как ни спешила, успевала скороговоркой тараторить, словно взбелевнившая баба: «Якоб Шелудивый! Якоб Шелудивый!»

Дорога шла под гору, колеса вертелись все шибче, и вот задымились все четыре ступицы. «Шелудивый!.. Шелуд... Шелуд...» — задыхались колеса. Потом стало потрескивать, запахло гарью, завоняло, словно из смоляной ямы в аду, — Якоб Дам по скупости частенько угощал ступицы дегтем вместо колесной мази. Фуканье, смрад — ни дать ни взять сам дьявол расчихался! И вдруг из ступиц пыхнуло пламя. Якоб хотел было остановить телегу, осадив лошадей на полном ходу, как раз на мостике, но в телеге вдруг что-то хрустнуло, и она свалилась набок, а Якоб вылетел из нее прямо в речку, головой вперед. Утонуть-то все-таки не утонул, — по скупости своей и место для падения выбрал, где было помельче, — но шено себе сломал. Соседи нашли его там на другое утро. Деньги за назухой не пострадали. И их поделили те, кто был меж собой подружнее да кулаки имел покрепче.

Рубаху собирались было повесить в церкви в память о набожности Якоба, как некую святыню или, как это

называется, реликвию. Но так как он позабыл отказать свое богатство церкви, то из этой затеи ничего не вышло. И рубаха досталась мне, самому дальнему из наследников. Видите, я, значит, ничего не выдумываю! Я должен был носить эту рубаху, чтобы приобщиться к благодати, излитой на Якова. Но матери моей непременно понадобилось выстирать ее сначала, а этого рубаха не выдержала — вся расплзлась в горячей воде, пропала... В корыте одна грязь была. А я остался, как и был, бедняком на всю жизнь.

1938

МОЙ ДРУГ ХУДОЖНИК

(Импровизация)

Мы были довольно близкими друзьями, настолько близкими, что давно уже перешли на «ты» и одалживали друг другу деньги. Вот только взгляды на жизнь у нас совсем не совпадали.

— Ты просто частица коллектива, — посмеивался он надо мной, — ну, стадное животное в лучшем случае. А я есть нечто обособленное, единица, понимаешь? Я — человеческая особь, единственная и неповторимая; я никогда не существовал в прошлом и не повторюсь в будущем. И поэтому я должен идти своим особым путем.

Он и шел своим путем — то есть тем, каким уже шли до него сотни художников: с утра до ночи писал картины, как будто на свете не было ничего более интересного, кроме обнаженного женского тела, и все старался передать это тело на своих полотнах как источник жизни и света.

— Все живое, все прекрасное пошло от женщины, — упрямо твердил он.

Но работа не давала ему ни радости, ни удовлетворения — он вечно жаловался, что его картины ничем не отличаются от картин других художников, сколько он ни бьетса над ними.

— Ничего не понимаю, хоть я и единица, — говорил он. — Или я просто импотент, или у меня в голове творится что-то неладное. Ведь женское тело дает жизнь всему существу, а меня, честно признаюсь тебе, уже мутит от всех

этих Венер и Сусанн вместе взятых. Человеческая кожа всегда мало соблазнительна на вид — все равно сухая она или мокрая.

— А линии тела? — перебил я, чуть насмешливо быть может.

— Что линии? Всех этих женщин с широкими бедрами, женщин, которые только и знают, что рожать детей, надо просто уничтожить! Образ женщины утратил в наших глазах прежний ореол и прежнее благоухание.

— Ну что ж, тогда изображай женщину как существо, которое плодит пушечное мясо, черт тебя подери!

— Что ты! Ведь это все-таки люди!

— Ага, и ты, значит, считаешь, что без души не обойтись?

— Я художник, и меня прежде всего интересует впечатление, которое производит внешний вид предметов. А ищу я в них только красоту, — сердито отвечал он.

— Что же, по-твоему, красиво?

— Да то, дружище, что достойно кисти художника. Все твои попытки заглянуть внутрь предмета — чистейший вздор. Есть только внешность, поверхность предмета — и больше ничего.

Однажды он явился ко мне в самом мрачном настроении.

— Ну, с меня хватит этой лжи! — сказал он. — Ты прав — женская грудь создана для того, чтобы целовать ее, а не для того, чтобы рисовать. А сердце, которое бьется в этой груди, по вполне понятным причинам нельзя передать на полотне.

— А ты все-таки попробуй, — предложил я.

— Нет, я художник и должен изображать только тело, и в этой области я совершу переворот. Но с сегодняшнего дня я буду рисовать только то, что вижу на самом деле.

И он принялся рисовать женские тела в серых и мрачных тонах, — какими они кажутся только пресыщенным людям. Чтобы избежать всякого приукрашивания, он перевернул кисть и стал писать ее рукояткой.

И все равно — он не был доволен ни собой, ни своей работой:

— То, что я вижу, не занимает меня, а то, что меня занимает, нельзя передать кистью и красками. Тебе лучше,

чем мне. Ты можешь изображать все, что спрятано глубоко внутри.

Он продолжал свои поиски, пытаясь схватить то, что скрывается под внешней оболочкой: поворачивал фигуры на своих полотнах то так, то этак, рисовал их то нагими, то в платьях. Сперва эти женщины напоминали кукол, потом на его картинах появились образы живых людей; такую картину уже можно было вставить в раму и повесить на стену у себя дома, а то и в музее. Критика не уставала превозносить его, но он был попрежнему недоволен.

— Мещане, — так с жалкой улыбкой отзывался он о своих портретах, — мелкие лавочники, без малейшего признака души. То ли люди нашего времени совсем лишены души, то ли мы, художники, не можем уловить ее...

— Человек нашего времени — это партизан, который сражается босой и в лохмотьях. А вы, художники, пишете только голых баб и хорошо одетых людей. Таким никогда не придет в голову взорвать свои рамки.

Он задумчиво поднял голову, потом вскочил и ударил кулаком по столу:

— «Взорвать рамки», черт побери! Это как раз то, что нужно.

С этими словами он помчался домой и написал автопортрет. Он изобразил себя в верхней части полотна, окутав нижнюю туманом, сосредоточил все освещение на лице, а голову нарисовал так, будто она упирается в верхний багет рамы.

— Вот я и взрываю рамки, — гордо заявил он.

Некоторое время после этого он писал так все свои картины — фигуры сосредоточивались в верхней части полотна, как бы символизируя вечное стремление человека ввысь. И критика вторично провозгласила переворот в живописи, — первый раз она сделала это, когда он начал писать рукояткой кисти.

Но сам он был еще пуще недоволен:

— Меня тошнит от красок! Все равно им не дано изобразить человеческое сердце! — В его голосе зазвучало отчаяние. — Мне кажется, будто все предметы лишены внутреннего смысла. Ты даже не представляешь, до чего я завидую тебе!

— Ты завидуешь мне? Ты, который служишь самой красоте? Ведь я бьюсь просто за крупницу человеческой правды, чтобы осветить людям их дальнейший путь, хотя бы часть его.

Он взял меня за руку:

— Может быть, в этой борьбе найдется место и для художника? — тихо спросил он. — Тогда я иду с вами.

БЕЛЫЕ БОЛЬШИЕ АНЕМОНЫ

Из цикла «Юность»

Белые большие анемоны —
Вы весны веселой детвора,
Скажете ли букам оголенным:
В зелень одеваться им пора?
Белые большие анемоны.

Ветер дышит сильно, глубоко,
Голые раскачивая кроны,
Солнцу улыбаюсь легко,
Белые большие анемоны!

Пчелы пьют нектар из ваших ваз,
Налетая стайкой золотою...
Лучший отдых для усталых глаз —
Наслаждаться вашей красотой.

Белизной своею по весне
На лицо любимой вы похожи.
И когда киваете вы мне,
Я благословляю лик пригожий.

Белые большие анемоны,
Мне верна она и ждет сейчас!
Всюду, где искал ее влюбленно,
На тропинках видел только вас,
Белые большие анемоны!

ТАНЕЦ

Из цикла «Юность»

Дрогнул бас виолончели,
Скрипки тонкие запели,
Подхватили, завертели
В бурном плясе юный круг.

Разлилось под гром мелодий
Ярких платьев половодье,
Но одна здесь в хороводе
Мне милее всех подруг.

Глаз девичьих — то стыдливых,
То суровых, то игривых,
То покорных, то строптивых —
Взоры тайные ловлю.

Столько нежности, истомы
В алых губ крутом изломе,
Словно шепчут в шуме, в громе
Слово вечное «люблю».

Чую рук девичьих жженье,
Но одно прикосновенье
Той, что как цветок весенний,
Обжигает сердце мне.

Много я красавиц знаю,
Что сулят блаженство рая,
Но одну, о ней мечтаю,
Часто вижу я во сне.

ОДИНОЧЕСТВО

(По мотивам Петефи)

Из цикла «П р и р о д а»

Смолкли колокола звуки,
Свет угас...
Одиноко кто-то бродит
В поздний час.

Ах, как сладко я уснул бы
В час такой,
Но умчалась сон, и отдых,
И покой.

Вот луна глядит влюбленно
На меня,
Как глаза мигают звезды,
Вдаль маня.

Так похожи друг на друга
Дом и сад:
Слиты тенью воедино,
Тихо спят.

Дремлет аист за трубою,
А в тени
У калитки встали двое.
Кто они?

Ах, целуются, смеются,
Славно им,
Нежно он прикрыл се
Плащом своим.

Я бреду дорогой молча
В полутьму.
Им — любовью опьяненным —
Я к чему?!

Сердце ноет, захотелось
Полюбить!
Хорошо бы мне на месте
Парня быть.

ВЕЧЕРНИЙ ПОКОЙ

Из цикла «П р и р о д а»

Мальчик приоткрыл в хибарку двери,
Окликает старика.
Вышел дед и взглядом даль измерил,—
Синь все так же глубока.

Горизонт зажгло пожаром солнце,
Высь — расплавленный металл.
На реке пожар и там червонцы
В блеклых травах разметал.

Мерный гонг из гавани повторит
Весть, что дня свершился труд.
Дробным рядом люди входят в город,
Скоро и маяк зажгут.

От людей, обутых в деревяшки,
Стонет мост, тяжел их шаг.
Праздничными кажутся рубашки
В алых солнечных лучах.

Как прибой, по наковальне били
День-деньской, зато, смотри,
За страду дневную получили
Много: золото зари.

Там, где солнце село, тень безмерней,
Слишком слаб последний луч.
И покой великий предвечерний
Спущен неводом из туч.

Ах, целуются, смеются,
Славно им,
Нежно он прикрыл ее
Плащом своим.

Я бреду дорогой молча
В полутьму.
Им — любовью опьяненным —
Я к чему?!

Сердце ноет, захотелось
Полюбить!
Хорошо бы мне на месте
Парня быть.

В сумрак моря линиею жесткой,
Как змея, вползает мол.
Иногда, катясь на берег плоский,
Золотятся свитки волн.

В небо шлет дымок белесоватый
Каждый малый очажок,
А на сини, темнотой объятой,
Нам звезду зажег Восток.

ПЕСНЯ ТКАЧИХИ

(Будничная баллада)

Из цикла «Песни»

Я ткала с утра до заката,
Не видела светлого дня.
Я парня любила когда-то,
Но милый покинул меня.
Я долго и горько рыдала,
Слезами душа изошла.
Местечко себе отыскала
И сына в ту ночь родила.

Без отдыха тку я и плачу,
С утра и до вечера тку.
Случалось нередко впридачу
И ночь отдавать мне станку.
Лампада горит еле-еле,
А думы мои с малышом.
Лежит он спокойно в постели,
Глубоким охваченный сном.

Светает... Устала я что-то...
И к сердцу прижму малыша.
А денег дадут за работу,
Ликует от счастья душа.
Куплю я подарки для сына,
И легче покажется труд.
Вот пряжу для новой холстины
Мне добрые люди несут.

Сажусь за работу я снова,
Я нитку вдеваю в челнок.
Дрожит под руками основа,
А в думах моих все сынок.
Проворно уток выправляю,
Гоняю челнок — и порой
Сквозь слезы любви наблюдаю
За детской невинной игрой.

Я деньги копила, сбирала,
Чтоб к счастью сынка привести:
Два эре, пять эре сначала,
Потом десять раз по пяти.
Мой мальчик все рос, поднимался,
Умом своим радовал мать.
Он с грамотой вскоре спознался,
Учился читать и писать.

Когда с ним впервые рассталась,
Мне душу окутала мгла.
Пришла одинокая старость,
Без света, любви и тепла.
А мысль, как челнок, неустанно
Снует и назад и вперед.
Кто жертвой бывает обмана,
В том злоба и месть не живет.

Тянулась печально, сурово
Нить тонкая жизни моей,
Но парень с хорошей основой —
Мой сын — заменил мне друзей.
Я богу хвалу возносила:
Добротное вышло тканье.
В сыночке была моя сила,
Сиротское счастье мое.

Всю жизнь я без отдыха ткала,
Прилежной ткачихой слыла.
Я мыслей мудреных не знала,
Я матерью только была.

Что было, назад не вернется,
Но мне ли жалеть о былом?
Вот-вот моя нитка порвется,
Но я уж готова... Пойдем!

БЕЗЗАБОТНЫЙ

Из цикла «Песни»

Он медленно пыльной дорогой шагал
И с жаворонком пел песни дружно.
А сколько идти? и куда? — он не знал,
И знать ему было не нужно.

К кусту подошел он, с дороги устав,
И благоухавшие травы
Пьянили его, он уснул среди трав,
В тени у дорожной канавы.

Лежал и дремал. Не грустя ни о чем,
Не знал, сколько времени было...
Но голая ветка, склонясь над плечом,
Коснулась его, разбудила.

Погода сменилась... Нагрязнул норд-ост,
Осенний, холодный, сердитый.
И розы увяли, их ветер унес.
Под липой найдешь ли защиту?..

Задумчиво встал он и листья стряхнул,
Рукой проведя по одежде,
Затем в кабачок невзначай повернул
С беспечною песней, как прежде.

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

(На испанские мотивы)

Из цикла «Песни»

В густом кустарнике в роще
Певунья-птичка живет,
Я сам слышал ее в час ночной,
И утром она поет.

Всегда я, слушая птичку,
Думаю: «Вот беда!
Навстречу счастью грудь раскр
Лишь горе ловлю всегда».

Кукует где-то кукушка
Серебряным голоском.
Она дала мне один совет,
Но нет утешенья в нем.

«Зачем же люди все плачут,
Им отдыха нет ни разу?» —
«Печали на свете нет конца,
У них же только два глаза!»

СТРАНСТВОВАНИЕ

(На проселочной дороге)

Из цикла «Песни»

Я воздухом гнилым дышал,
 Что отравлял
Детей дыханьем яда.
Но кислорода в грудь мою
 Вдруг льет струю
И веет мне прохлада.

Блестает небо синевой
 Над головой
Морской полоской пенной,
И вся дорожка через лес,
 Как мир чудес,
Существ мельчайших, но блаженных.

В дарах природы — благодать!
 Не описать,
Как все кругом красиво!
Такого счастья в небе нет,
 Как твой расцвет,
Цветок неприхотливый!

Чуть окропленные дождем,
 Ввысь, над песком,
Все тянутся березы.
Здесь папоротника листы,
 В траве цветы
Лиловой скабиозы.

Вдруг зарослей зажегся мрак,
Как алый мак:
Сквозь молодые буки
Я вижу шляпу-мухомор,
Блестящий взор,
В земле девичьи руки.

Сноп колокольчиков несет,
Смеется, ждет.
И я неудержимо
Лечу по склону меж корней
Навстречу к ней,
Прекрасной и любимой.

Мы к кубку радости прильнем
С тобой вдвоем,
Мы дышим счастьем этим;
Когда же радость отойдет,
То днем забот
Мы за нее ответим.

Из цикла «На перепутье»

Шагаешь по вереску,
Ягоды давишь ногою,
Спугнешь ужа ненароком;
А там, над морским простором,
Раскинул орел свои крылья,
И слышно, как где-то,
Средь сизых камней брешет тоскливо лисица,—
Это Борнхольм!

Лови эти звуки!
Гудят по ущельям
Дожди, как раскаты эха,
И молота сталь звенит по граниту!
Треснул разъятый камень,
Легит в поднебесье
В облаке взрыва сосна,
раскололась,
Рухнула в вереск, разбилась насмерть...
Тихо в горах после взрыва,
Капля падет — и то услышишь,—
Это Борнхольм!

СНОВА ДОМА

Из цикла «На перепутье»

К поре вечерней уж солнце клонит,
На Слоне вечер не за горами,
И медлит выплыть, в туманах тонет
Прекрасный светоч, ночное пламя.
И в вавилонских степях и в чаще
Сменяет полночь их зной разящий
Из века в век.

Мои мальчишки у наших окон,
В саду копаясь, катают тачки,
А ветер треплет случайный докон
И будит сад наш от зимней спячки.
Моей пятерки светла улыбка,
С их мокрых рожич смеется зыбко
Мне солнце вновь.

В платке хозяйка, и руки голы,
Воды каскады — бадья разбухнет!
Дом перевернут рукой веселой —
Кипит уборка сеней и кухни.
О, наша мама! Вода клокочет,
А ей не страшно, она хохочет,
Точь-в-точь весна!

Ах, как запахло прохладой свежей!
Стал дом зеркальным внутри, снаружи...
Рой тучек в стеклах и чист, и нежен,

И отражение их в каждой луже.
Зверек выходит и перед домом
Бежит резвиться путем знакомым
На ближний холм.

Вдали чуть виден, намечен скупю,
Крестом нечетким дрожит в эфире
Ветряк крылатый. А звездный купол
Напомнил снова о шумном мире.
К нам вновь спустился с небесной кручи
Мир ночи странной, такой могучий,
Бескрайный мир!

Опять с балкона пью воздух резкий,
Пусть в лоб горячий мне бросит влаги!
Так Эресунда негромки всплески,
Как речи духа старинной саги.
Во мраке ночи покой и песни,
Мир обрету я, и все воскреснет,
Что губит день.

Я здесь, уставший в борьбе жестокой,
Удар громовый грозил отчизне,
Я пью вселенной покой глубокий,
Дано постигнуть мне правду жизни:
Там, где-то выше, миры-громады,
Но плач ребенка, он здесь, он рядом,
И женский вскрик.

Теснит мать-землю все злое в мире —
Чу! плач ребенка ты слышишь снова.
Он раздастся везде в эфире.
Боль сердца стала такой свинцовой
От всех мучений, их слишком много,
Но сбросить путы они помогут
Когда-нибудь.

Вот хлынул ливень с ночного неба,
Листву разбудит к утру прохлада,
Проснутся дети, попросят хлеба,
Закопошатся в аллеях сада.

Плеск Эресунда в рубеж высокий
Вещает утро, вот-вот с востока
К нам хлынет свет.

Как сладко утром быть пробужденным
Оравой юных, возиться с крошкой
И слышать гомон их возбужденный:
«Отец, там солнца полно окошко!»
За стол садиться со всеми снова
И, на коленях держа меньшого,
Вкушать покой!

В мирке, где шума ничто не будит,
Куда не вхожи тревоги жизни,
Где мать питает дитя у груди,
Постиг я вечность и цели жизни.
В мой дом стремятся стенанья мира,
Но вдвое громче навстречу вырос
Надежды крик!

ОСЕЛ
(Басня)

(Посвящается некоторым профессорам)

Я басней вас не рассержу,—
Для вас не тайна,
Что эту басню я нашел
Совсем случайно!

Вблизи от дома моего
Осел упрямый
Спокойно пасся на лугу —
Случайно прямо!

В густой траве лежал свисток:
Малыш из чайной
Его однажды потерял
Совсем случайно!

Травую свежей сыт осел
Был чрезвычайно...
И тут наткнулся на свисток
Совсем случайно!

Вот вислоухий нашдохнул
В свисток нечаянно...
И вдруг раздался громкий свист —
Совсем случайно!

«Ха-ха! Какой чудесный свист! —

Осел итожит: —

Что в мире с музыкой ослов

Сравниться сможет?!»

В дворцах и в хижинах ослы

Так судят здраво!

И тон во многом задают —

Случайно, право!

НА ПОРОГЕ НОВОГО, 1944 ГОДА

Мы в яму год опускаем постылый,
В ту яму, где три другие гниют.
Мы совершаем праведный суд
И плакать не будем над смрадной могилой.
Мы — всё человечество, мы, кто пришли
От всех концов и пределов земли,—
Стоим над могилой, и каждый стремится
Ногой подтолкнуть омерзительный труп.
А чтоб не смел он к живым возвратиться,
Без пышных речей, без литавров и труб
Зловонную тушу мы погребем
И кол ей осиновый в горло вобьем.
Так новый прибавился к трем предыдущим,
К трем отвратительным, страшным, гнетущим:
Простился мир с добром и трудом,
И черные силы могли без стеснения
Осуществлять свои вожделенья
О рабстве
И о владычестве мировом.

Пушай этот страшный год
Скорее сгниет.
Земля превратилась в ад.
Матери, сестры и жены скорбят.
Убийство, кровь, насилие, плач.
Бесстыдно поправ законы,
Царят паразит и палач.
И множатся миллионы
Калек.

Но весь этот ужас и все это горе
Погребены, забудутся вскоре
И не восстанут из ямы вовек!

В забрызганной кровью черной одежде
Стоит человечество, веря надежде,
Хоть серые тучи клубятся над ним,
Хоть землю во дни роковой гекатомбы
Разворотили танки и бомбы
И недра наполнены гулом глухим, —
Но вот заалелся Восток, наконец, —
Не кровь ли там миллионов сердец?
Не пар ли кровавый над бойней жестокой?
Иль день лучезарный восходит с Востока?

Иль дверь приоткрыл уже Новый год
И нас он ведет
В Страну Обретенной Свободы?
Вернутся ли семьи, вернутся ль народы
В свой дом, в уют родного гнезда
Для игр и труда?
Вернутся ли с фронта великой войны —
Войны с исчадием сатаны?
И даст ли Новый год обещанье?

В великом молчанье
Мы в землю прошлый год опустили,
Чтоб гнил он с тремя другими в могиле,
И в горло мы вбили осиновый кол,
Чтоб он никогда уж назад не пришел.
Пусть будет что будет, мы бодрь, как прежде,
Мы смотрим в великой надежде
На этот бушующий новый год:
Он скоро, скоро мир принесет.

И мы в гнездо свое, в дом свой вернемся,
Мы снова любимым своим улыбнемся
И раны залечим, печаль задушив.
Ведь мир не погиб, он цветет, он жив.
Как прежде, он зеленеет весной,
Зимой надевает убор снеговой.

И пусть суждено нам страдать от разрухи,
Пусть голод и мор, кровожадны и глухи,
Вослед за войною ворвутся в наш дом,
И хлеб добывать нам придется с трудом,—
Прилежные руки в последнем усилье
Былое земле возвратят изобилье,
И, миром хранимый, весь мир расцветет.

Но всё это — *если*, да, если народ
Не пустит черта к себе в огород,—
И в мире, который для мира проснется,
Война не начнется.

ПРИВЕТ И ПОЖАТИЕ РУКИ

(1 февраля 1944 года)

Товарищ, жму руку, прими мой привет,
Ты, знаменщик славного стяга в невзгоде!
Земли окровавлена каждая пядь,
Истерзана, в ранах земля, наша мать!
Великий свой труд отдающий свободе,
Товарищ, тебе мой привет!

Долга была детям земным эта ночь,
Сам дьявол с убийцами изгнаны прочь.
Все страшное в прошлом, но утро в крови,
И смерть собирает колосья свои,—

Извечно рождение алеет в крови.
Пустынным мне кажется утренний час!
Чудесно в сражение стоять среди вас,
Рожденные в будничных днях,
Быть с вами бок о бок, быть крепче вдвойне,
Включась в эту цепь от страны к стране
В сражение за будни, за мир, за очаг!

Труд не дал богатства — я это постиг,
Вы тратили труд на богатство других,
Немного в кредит получали, как милость.
Все будет по-новому, все изменилось:
Мы бьемся за то, чтобы свет был во мгле,
Где скуден очаг, где дитя у нас плачет,
Мы бьемся за каждого порознь и, значит,
За все человечество здесь на земле!

РОДИНЕ

(Послание с чужбины к Новому, 1945 году)

Я вижу Данию мою,
И воды, и леса, и нивы,
Утят на отмели, проливы...
Все помню я и все люблю!
По этой я земле ступал
И падал, набивая шишки,
Но утешала мать мальчишку,
И я смеялся и вставал.
Так мы росли в отчизне милой:
Был мир. Ничто нам не грозило.

Когда приходит к нам нужда,
Когда мы отдыха не знаем,
То за границей иногда
Родную землю забываем;
Но сок ее навеки в нас
По жилам каждого струится,
И к родине любовь хранится
Глубоко, а не напоказ.
И если тронут нашу мать,
То в сердце — как удар кинжала.
Мы с ней одно, нас все связало,
И эту связь не разорвать.
Там рощи буков и камыш,
Ютландия, Борнхольм гористый,
Там все, чем с детства дорожишь,
Всей жизни там источник чистый.

И мы радушны... но такой
Была всегда отчизна наша:
Простор лугов и тучных пашен
И датских светлых вод покой.
Где в небе легче облака,
Чем те — над нашими домами,
Проливами и островами,
Плывущие издалека?

Похвал достоин этот край:
Здесь родина, что нас вскормила,
Пред нами целый мир раскрыла.
Но жизнь у нас еще не рай:
Людей здесь сковывает страх,
Они сдаются перед горем,
Здесь щедры и земля и море,
Но мало мужества в сердцах.
Когда блеснет заря свободы,
Взойдут задатков добрых всходы.

Хорошим станет наш народ,
Свой долг исполнит строго, скромно,
Подымет с честью труд огромный
И от заботы отдохнет.
Хвалиться станет он трудом,
Не думая о том, что фрицы
О нем болтают за границей
И что Джон Буль сказал о нем.
Народ, такой счастливый дома,
Сам будет жить и даст другому.

Сомнительной не жаждем славы —
Сжигать чужие города, —
Пусть не кричит ефрейтор бравый:
«Равняйся! Шагом марш, балда!»
Соседям показалось южным:
«Какой от датских дурней толк!»
Народ спокойный, мирный, дружный».
«Ein komish Volk!»

Однажды в ночь, грозя нам смертью,
Через рубеж прорвался враг.
«Народ господ!» — «Да это ж черти!
Хвосты, копыта на ногах!..»
Под свастикою безобразной
Фриц, челюсть выпятив вперед,
Идет на промысел свой грязный,
И душегубка жертвы ждет.
Враги нам прорычали в уши
Звериный, нелюдской приказ:
«За миролюбье вас задушим,
Спасая, слопаем мы вас!»

Так стадо серое свиней —
Зверей двуногих злая свора —
Вдруг наводнило порт и город
И выплеснулось в ширь полей;
Крича о жизненном пространстве,
Питая ненависть одну,
Своею сатанинской рожей
Пугая, мучая, тревожа,
Они смутили всю страну.

Мы любим мир, и нас немного,
Их десять против одного,
Но ничего мы не боимся,
Ни даже черта самого!
Мы — люди — против зверя встали,
Мы за чудовищем следим,
Мы стережем его повсюду,
На всех дорогах бьемся с ним.
Пускай грохочут грозно танки —
Бесов загоним мы в свиней.
Настанет день освобожденья
Для гордой родины моей!

Нам не узнать своей страны!
Нельзя смеяться там, где рыщут
Прожорливые кабаны,
Из рук выхватывая пищу,
Там, где охотится палач

За жертвою очередною,
Где только стон и детский плач
И смерть нависла над страною.
Но поднялась из недр земных
Иная, спрятанная сила —
Серьезность, юмор... Это их
Страна в свой гнев преобразила,
В священный гнев, и он позвал —
Во весь свой рост народ наш встал.

Война с клопами — мерзость... Нет!
Задача эта благородна:
Мы боремся за дух народный,
За матери-земли расцвет.
Борьба с врагом нам показала,
Что родина еще больна,
Что у нее грехов немало
И лучше стать она должна.
Так продолжали мы бороться, —
За мир сражались мы трудом:
Пусть радостней у нас живется,
Пусть изобилие входит в дом.

И вот сбылось: на самом деле
На родине все расцвело,
Луга свежей зазеленели,
И солнце радостно взошло,
Вдруг дождик хлынул долгожданный
И щедро оросил поля...
Светлей земли обетованной
Сияет датская земля.
Нашествие не погубило
Моей поднявшейся страны —
Так спавшие в народе силы
Теперь навек пробуждены.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Восьмой и девятый томы собрания сочинений Нексе включают избранные рассказы и стихотворения писателя, которые наряду с его романами, повестями и публицистикой представляют собой значительное явление датской пролетарской литературы.

Перу Нексе принадлежит более восьмидесяти рассказов, большая часть которых создана писателем в начале его творческого пути, в период формирования его революционного мировоззрения. Нексе вступил в литературу зрелым человеком, прошедшим суровую школу жизни пролетария. За плечами начинающего автора было тяжелое детство, долгие годы жизни «в людях», среди трудового народа Дании.

Настоятельное желание рассказать правду о жизни датских трудящихся, об эксплуатации и нищете народа, о начинавшейся революционной борьбе пролетариата, желание «подтолкнуть других людей на ревизию условий жизни человечества, на ревизию всего мира» вложило перо в руки молодого Нексе, определило замыслы его ранних новелл. Однако сам писатель указывал в автобиографии, что, хотя его идейные противники безошибочно угадывали в нем «социалиста», начинающий автор был еще мало знаком с теоретическими основами социализма. Зато ему, сыну пролетария и самому пролетарию, были близки и дороги «практические позиции социализма», на которых его утвердила сама жизнь. С защиты «практических позиций социализма» и начал Нексе свой творческий путь, чтобы потом стать писателем-коммунистом, сознательным идейным борцом за дело мира и социализма.

В 1898 году вышел первый сборник рассказов Нексе — «Тени». За ним последовали «Кротовьи кочки» (1900—1905), «Гимн из бездны» (1908), «Берег моего детства» (1911), «Борнхольмские новеллы» (1913), «Под голубым небом» (1915), «Глубоководные рыбы» (1918), «В пути» (1919), «Пассажиры незанятых мест» (1921). Трехтомное

издание под общим заглавием «Кротовьи кочки» (1922—1926) как бы подводило итог всему сделанному Нексе в жанре рассказа за истекшие годы. Последующие сборники — «Черные птицы» (1930), «К свету» (1938), «Кротовьи кочки» (1946), «Пассажиры незанятых мест» (1946) — наряду с новыми произведениями включали и старые рассказы, лучшие из которых повторяются в целом ряде сборников.

Тематика рассказов Нексе необычайно разнообразна. В них нашли свое отражение испанские впечатления писателя («Революция женщин», 1895; «Конча», 1895; «Хлеб», 1896, и др.), его долголетнее знакомство с Германией («Юнкер», 1912; «Кукла», 1915; «Трагический жонглер», 1928, и др.), его первые наблюдения над жизнью послереволюционной России («Мустафа», 1938). Однако основная тема новеллистики Нексе — жизнь современной ему Дании.

Новеллы Нексе о Дании поражают широтой охвата действительности. В них описаны Ютландия и Борнхольм, столица и провинция, город и деревня. В них действуют крестьяне и батраки, рабочие, ремесленники и обитатели городского «дна», рыбаки и моряки, городская буржуазия и духовенство.

Несмотря на тематическое разнообразие, рассказы Нексе воспринимаются читателем как главы одной большой повести. Ощущению их связи друг с другом немало способствует проходящая через многие рассказы конкретная и живая биография автора, порой неразрывно связанная с содержанием произведения. Но главным образом их связывает единство творческого замысла писателя, предназначенного каждому рассказу определенное место в реалистической панораме, в правдивом повествовании о Дании.

Дания Нексе — это не идиллическая патриархальная страна, какой ее изображали идеологи реакционной буржуазии и кулачества. Это Дания острых социальных противоречий, обостренной классовой борьбы; Дания эксплуататоров — и Дания трудящихся бедняков. Рассказы Нексе как бы дополняют друг друга в изображении двух Даний: Дании немногих, имеющих слишком много, — и Дании многих, имеющих слишком мало. Сравнение этих двух Даний и приводит Нексе к революционным выводам о необходимости коренного переустройства общества.

Центральное место в новеллистике Нексе занимают образы датских тружеников. В их изображении проявился мужавший с годами пролетарский гуманизм писателя.

Не жалость к «маленькому человеку» стремился внушить Нексе своим показом трудовой Дании. Труженик Нексе по своим возможностям — это человек-великан, «достающий зелеными ветвями до самого неба», человек-творец, способный на чудеса и подвиги. Он превращает

землю в райский сад («Сын божий и любимое детище дьявола», 1921; «Сильный Ханс и Красное знамя», 1938), вересковые пустоши в плодородные земли («Рай», 1912). Его примета — «грубая кожа на руках». Образ «прилежных рук» проходит через многие рассказы Нексе о бедняках. «Нет в мире ничего прекраснее устало опущенных рук бедной старухи», — утверждает автор, глядя на мозолистые руки старой труженицы («Пассажиры незанятых мест»). Нексе любит труд человека, будь то каменщик Людвиг («Калиф на час», 1910), искусный сапожник Носор («Перелетные птицы», 1904) или отважные и ловкие рыбаки, борющиеся со стихией («По течению с плавными сетями», 1905). Однако не случайно, рисуя обобщающий образ труженика-пролетария, Нексе изображает его закованным в цепи богатырем, прекрасное тело которого «безобразно от грязи и утомления». С беспощадной силой обличения раскрывает писатель проклятье труда в капиталистическом обществе. Эксплуатация, нужда, унижения, болезни неизбежно сопутствуют труженикам в рассказах Нексе. Плоды трудов народа достаются эксплуататорам («Рай», «Сильный Ханс и Красное знамя»). Рабский труд — удел сельского пролетария («Идиот», 1909). Жизнь, полная унижений, выпадает на долю городской служанки («Дитя любви», 1907). Работным домом кончает Носор («Перелетные птицы»). Чем талантливее выходец из народа, тем трагичнее его участь в капиталистическом обществе.

Своими рассказами о судьбе таланта Нексе разоблачает лживые теории о том, что в буржуазном обществе якобы любой человек может проявить свои способности. «Если бы могла полностью развернуться хоть небольшая часть тех замечательных талантов, которые таятся в народе и не могут увидеть света, то весь мир выглядел бы сегодня иначе», — пишет Нексе в рассказе «Верный до гроба» (1928). Только в единичных случаях постигает удача выходец из народа («Кукла», 1915). В противовес этому перед нами проходит целая вереница загубленных жизней. Жертвой суеверия становится пылливый, одаренный хусман Хольм («Могильный курган», 1907), теряет голос «певчая птица бедняков» машинист Ванг («Уличный певец», 1916), гибнет «музыкальный гений» хусман Бон («Верный до гроба»).

С горечью и гневом говорит Нексе в рассказе «Рай» о судьбах бедняков в мире капитализма: «Многие думают, что если бедняку живется плохо, то виноват в этом он сам. Но, сказать по правде, бедняк никогда не стремился погубить себя. Всегда об этом успевали позаботиться обстоятельства».

Судьбы рядовых людей «со всеми типичными чертами и свойствами людскими» всегда остаются в центре внимания Нексе. Большинство его

рассказов строится по типу биографии и основано на глубоком социальном конфликте. Часто Нексе прослеживает путь своих героев с самого детства, стремясь показать влияние общества на судьбу человека. Рассказы Нексе о бедняках — это обвинение социальному строю, потому что для писателя судьбы рядовых людей убедительней всего характеризуют общество. Не случайно испанская действительность определяется для Нексе трагическими картинами из жизни бедноты — судьбой безработного дона Рафаэля («Хлеб», 1896), умирающей от голода Кончи («Конча») и возникающим на почве голода стихийным бунтом («Революция женщин»).

К рассказам-биографиям тружеников тесно примыкают и рассказы о детях, лишенных детства, которыми Нексе разоблачает очередную ложь буржуазных идеологов о том, что XIX век стал якобы «веком ребенка». «Ни один период не причинил детям столько зла, сколько век промышленного капитализма» — эти слова из повести «Малыш» можно поставить эпиграфом к рассказам Нексе о пролетарских детях. С глубокой симпатией рисует Нексе детей бедняков, не знающих радостей детства («Счастье на мусорной свалке», 1902; «Быстро бегущее лето», 1908). Написав по просьбе уральских ребят для их сборника «Урал — земля золотая» автобиографический рассказ «Белая птица» (1940), Нексе как бы противопоставил «золотому детству» советских ребят безотрадную картину будней пролетарского ребенка в капиталистическом мире.

Пролетарский гуманист Нексе не отделяет любви к трудовому народу от ненависти к его угнетателям.

«Миру прилежных рук» Нексе противопоставляет мир «Великого живоглота» — капитала, мир хищничества и эксплуатации. Он показывает капиталистическую эксплуатацию в городе и деревне («Идиот»; «День полочки», 1897; и др.), звериные нравы «ядра нации» — кулачества («Последыши», 1901; «Утопленник», 1918), обезчеловечивающее влияние денег («Якоб Шелудивый», 1938), буржуазное правосудие и ханжескую мораль («Фрэнка», 1898; «Дитя любви», 1907). Нексе разоблачает «социально-успокоительное лекарство» — религию, породившую в Дании огромное количество сект, одурманивающих людей и отвлекающих их от социальной борьбы («Два брата», 1897; «Юность», 1903). Наконец, во многих рассказах автор показывает страшные последствия войн, порожденных капитализмом («Калека», 1901; «Две женщины», 1899; «Вороны», 1914; «Черные птицы», 1928; «Пляска смерти», 1917 и т. д.).

Беспощадная критика капиталистического мира особенно ярко проявилась в сатире Нексе. Творчески развивая лучшие традиции револю-

ционной сатиры, Нексе в своих баснях, памфлетах, рассказах бичует не отдельные пороки современного ему строя, а основные устои капитализма — социальные, политические, идеологические.

В сатире «Каждому свой черед» (1904) Нексе разоблачает легенду о мнимом «единстве» датской деревни. Тяжкий труд в течение всего года и жалкие объедки в день праздника урожая заставляют роптать хусменов и батраков. Зато первая смена пирующих, олигетворяющая феодально-капиталистическую Данию, несмотря на видимость «разногласий», дружно поддерживает заведенный порядок, провозглашая тост за короля. Монархическая власть в Дании становится объектом разоблачения в сатире «Бог пустого церемониала» (1906). Жалкой фигурой, пляшущей под дудочку церемониймейстера — реакции, предстает король в этой сатире. Нексе предсказывает неизбежную гибель королевской власти. Подрывая устои трона, который «серым мраком покрывает всю страну», народ начинает прокладывать светлую дорогу в будущее. Сатирический образ капитала нарисован в рассказе «Встреча» (1910). Характерен отличительный признак фигуры капиталиста — он лишен рук. Этой деталью Нексе подчеркивает неспособность капитализма к созиданию, его разрушительную, эксплуататорскую сущность.

«Великий живоглот» — капитал, — в ненасытном брюхе которого исчезают все плоды труда пролетариев, выведен в «Сыне бога и любимом детище дьявола». Разоблачению империалистических хищников посвящена сатирическая басня «Вороны». Оппортунизм и соглашательство становятся объектом сатиры «Волк и овцы» (1915).

Беспощадно разоблачает Нексе и буржуазную идеологию. Его ранняя сатира «Музыкальный поросенок» (1897), высмеивающая буржуазный индивидуализм, обнажила духовное ничтожество «сверхсвиней», выросших на навозной куче, — кулацкой Дании. Нексе убедительно показал, что индивидуалистический бунт «сверхсвиней» (музыкальный поросенок, вносивший в молодости поправки в «свинскую идеологию», прослыл среди своих братьев вольнодумцем) на деле означает полное примирение со «свинской действительностью». Получив доступ к кормушке, поросенок приходит к выводу, что «каждый занимает место соответственно его природе», и начинает «жрать, пить и спать». В рассказе отчетливо звучит тема «разрушения личности» мещанина-индивидуалиста, тема бесплодности существования и деятельности художника, имеющего претензию стоять над толпой и творить для избранных.

Тема двух Даний, проходящая сквозной линией через всю новеллистику Нексе, созревает и революционизируется по мере идейной и художественной эволюции писателя. Об эволюции Нексе следует говорить

в связи со всем его творчеством, но и рассказы писателя ярко иллюстрируют путь Нексе от защиты «практических позиций социализма» к выражению целостного мировоззрения революционного пролетариата, от первых шагов в создании собственного стиля и преодоления влияния натуралистической литературы — к становлению реалистического метода, обогащенного чертами социалистического реализма.

Первый сборник новелл был назван писателем «Тени» (1898); один из последних, выпущенный в 1938 году, — «К свету». Названия сборников Нексе всегда глубоко продуманы. И даже простое сопоставление этих двух заглавий говорит нам, что, начав с разоблачения мрачной капиталистической действительности, писатель нашел путь к свету, к борьбе за социалистическое будущее.

Так же тщательно продумывает Нексе композицию и состав своих сборников. Он постоянно включает в них лучшие из ранних рассказов, которые в сочетании с произведениями, написанными позже, приобретают совершенно новое звучание. События прошлого, изображенные в них, в поздних сборниках как бы переосмысливаются в свете борьбы за будущее, которое все громче заявляет о себе на страницах произведений Нексе.

Определяющую роль в идейном созревании Нексе играло развитие датского рабочего движения. Начало нового этапа в жизни и творчестве знаменовал для Нексе его разрыв с социал-демократией и вступление в созданную при его участии коммунистическую партию Дании. Величайшее влияние оказали на писателя и такие события международного значения, как мировая война 1914 года и революционное движение в России, завершившееся победоносной Октябрьской социалистической революцией.

Для творчества Нексе характерен ряд «сквозных», значительных тем, которые волнуют художника на протяжении всей его жизни. Повторяются в произведениях Нексе и автобиографические мотивы и отдельные образы, переходящие из произведения в произведение. Но разработка этих тем, мотивов, образов никогда не бывает простым повторением ранее написанного автором.

Идейный рост Нексе, углубление его реалистического метода легко проследить на материале его рассказов.

Одна из тем, постоянно волнующих писателя, — тема войны, неизбежного спутника империализма. Нексе всегда был и остается непримиримым врагом поджигателей войны, активным борцом за мир. Однако в первых своих антивоенных рассказах, написанных на материале событий 1864 года, Нексе выступал главным образом против антигуманной сущности войны, калечащей людей физически и духовно («Две жен-

щины», «Калекса»). По-иному воспринял писатель первую мировую войну. И в публицистике и в рассказах военных лет Нексе четко разграничивает империалистов, наживающихся на войне,— и народ, который несет на своих плечах ее бремя и трагические последствия. В басне «Вороны» Нексе прямо указывает зачинщиков войны, разоблачает пропаганду милитаризма. «Когда владыки земли начинают брататься с господом богом в алтарях и объявляют свое дело небесным — обязательно предстоит бойня»,— пишет он. В рассказе «Пляска смерти», созданном на материале немецкой военной действительности, Нексе рисует опустошенные войной, голодающие рабочие предместья и «владык мира» — фабрикантов оружия, в карманы которых текут военные прибыли.

В новеллах этих лет тема войны перерастает у писателя в тему революционной борьбы рабочих против тех, кто вложил в их руки оружие. Немецкий рабочий-революционер, выведенный в рассказе «Фея свободы», противопоставляет войну, в которой рабочие убивают друг друга во имя интересов империалистов, революционной борьбе пролетариата за лучшее будущее. «Кровь войны — это кровь братоубийства»,— говорит он,— тогда как кровь революции — здоровая кровь, потеря которой неизбежна при всяких родах».

Тема социальной борьбы также получает в новеллах Нексе все более углубленное решение. Она звучит уже в самых ранних рассказах писателя. Горячим сочувствием к трудовому испанскому народу проникнут рассказ о стихийном возмущении голодающих испанских женщин («Революция женщин», 1895). В новелле «День получки» с большой художественной силой изображен пока еще молчаливый протест рабочих против издевательств хозяина каменоломни.

В других ранних рассказах писатель отмечает первые искры протеста, пробуждающегося в самых отсталых, забытых, загнанных людях — батраках, ремесленниках, рыбаках. Ларс-Великан убивает миссионера, распространяющего яд религиозного ханжества («Два брата»), батрак поджигает ферму ненавистного хозяина («Идиот»), сапожник Бланк убивает домовладельца, лишаящего бедняков крыши над головой («Стены», 1907).

Протест забытых людей вызывает у Нексе глубокое сочувствие. Однако писатель показывает бесплодность борьбы в одиночку, обреченность анархически понимаемых устремлений к свободе («Перелетные птицы», «Рай»).

Столбовую дорогу революционного движения Нексе справедливо видит в организованной борьбе народных масс и в первую очередь пролетариата. Показ этой борьбы занимает все большее место в творчестве писателя.

В романах-эпопеях Нексе воплотил отдельные этапы датского рабочего движения, нарисовал глубоко индивидуализированные образы передовых рабочих, предательство верхушки социал-демократии. О «чудодейственной волне», которая подняла на своем гребне народные массы, Нексе пишет и в рассказах. При этом в рассказах Нексе дает не отдельные зарисовки эпизодов этой борьбы, а стремится к обобщающему ее воплощению.

В изображении революционного народа Нексе тяготеет к фольклорным образам Пера-Голяка, Сильного Ханса. Этот монументальный образ выражает силу и величие объединенного народа, веру автора в полную победу пролетариата. «Мы наследники всей мало-мальски стоящей земли у меня на родине, сударь,— говорит Нексе от имени рода Пера-Голяка.— К сожалению, мы еще не вступили во владение ею. Несколько мошенников обманным образом отняли ее у нашего рода. Но мы ведем против них процесс, и наше возвращение в родовое поместье вопрос только времени» («Юнкер»).

Могучим великаном, венцом творения обрисован пролетарий в рассказе «Сын бога и любимое дитя дьявола». Ему не хватало «гнева в крови»,— поэтому он позволил себя сковать. «Почему же ты не разорвал своих оков, черт возьми?» — звучит прямой призыв к борьбе в этом рассказе, написанном вскоре после победы русского пролетариата, разорвавшего свои цепи.

Победа Октябрьской революции, вступление Нексе в коммунистическую партию способствовали формированию последовательных революционных взглядов писателя. Все более ясной становится для Нексе предательская роль оппортунизма в рабочем движении. Тема разоблачения оппортунизма звучит не только в романах, но и в рассказах Нексе. В басне «Волк и овцы» Нексе подвергает жестокому осмеянию трусливых соглашателей — овец. Смысл компромиссных решений и либеральных реформ разоблачен Нексе в предложении волка, с радостью принимаемом овцами: решено огородить забором одну половину леса и оставить открытой вторую. «Таким путем будут удовлетворены законные интересы обеих сторон»,— иронизирует автор. Просто и образно доказывает басня, что в решительную минуту овцы принимают сторону волка против бунтаря-барашка. Но барашков становится все больше,— «пока у них еще только чудесная припухлость на лбу, но в один прекрасный день у них отрастут и рога».

В написанном в 1938 году рассказе «Сильный Ханс и Красное знамя», показав путь труженика Ханса к красному знамени организованной борьбы, Нексе снова подчеркнул, что в «добродушии» хансов, в их излишнем доверии к соглашательской фразе кроется самая страш-

ная для них опасность. Но красное знамя крепко держат в руке закаленные, испытанные борцы. Уроки борьбы не проходят даром для ее участников, в борьбе закаляется революционный протест пролетариата.

В неразрывной связи с идейным созреванием Нексе происходит созревание и его художественного мастерства.

В повести «Конец пути», вспоминая о своих первых литературных опытах, Нексе пишет, что в ту пору окружающее представляло для него такой интерес и новизну, что писатель считал нужным «закреплять на бумаге все виденное, пережитое». В этом сказывалась и неопытность молодого автора, еще не умевшего отличать случайное от типического, и непреодоленное влияние литературы натурализма с его «фотографированием» действительности. Однако чем дальше, тем яснее становится для Нексе, что даже самый интересный жизненный материал, самые интересные судьбы должны «расти, развиваться» в творческом замысле писателя. По мере преодоления натурализма в творчестве Нексе растет тяготение к глубоким обобщающим образам, писатель идет от случайного к типическому.

Рассказы Нексе вводят нас в творческую лабораторию писателя. Порой именно в рассказах зарождались образы, которые потом получили дальнейшее развитие на страницах романов Нексе. Эскизный портрет сапожника Бигума («Бигум — Деревянная нога», 1898), получивший более заостренное социальное решение в рассказе «Перелетные птицы» (1904), на страницах «Пелле Завоевателя» воплотился в ярком художественном образе Гарибальди. Болина («Дитя любви», 1907) выросла в незабываемый образ пролетарской женщины Дитте («Дитя человеческое»). Другой персонаж этого романа, хуторянка Карен Баккегор, появился впервые в рассказе «Утопленник» (1918). Но только в романе этот образ получил завершенное социальное и художественное решение. Иногда, наоборот, образы, вскользь намеченные в романах, получают свое завершение на страницах рассказов. Такова, например, судьба одного из важнейших для творчества Нексе образа — «пассажиры незанятых мест».

В публицистическом рассказе «Пролог» и в повести «Конец пути» Нексе относит свою первую встречу с «пассажирами незанятых мест» к эпохе поездки в Италию (1894). Тема «пассажиры незанятых мест» звучит подтекстом в ранних рассказах о народе Дании, но только в 1909 году она сознательно воплощена писателем в рассказе «Поездка Анн-Мари». Однако трагическая биография Анн-Мари еще не поднята Нексе до высот обобщения судеб десятков тысяч людей. Более четко эта мысль выражена в «Пелле Завоевателе», в связи с образом старухи Йонсен, так и не сумевшей скопить денег для поездки на родину, в Ют-

ландию, куда каждый день отправляются пустые поезда, а пассажиры «отсутствуют по роковому стечению обстоятельств». Наконец, в рассказе «Пассажиры незанятых мест» и в «Прологе» этот образ приобретает то необычайно емкое и обобщающее содержание, которое побудило Нексе поставить его в заголовок сборника.

С поразительной глубиной воплощает этот образ непримиримые социальные противоречия капиталистического мира. Он говорит не только об обездоленных людях, которые должны были бы по праву занимать «незанятые места», но и о тех, кто, подобно берлинскому миллионеру, закрепив за собой пустующие вагоны, захватил все жизненные блага. Это один из тех образов в творчестве Нексе, которые с особой силой зовут «на ревизию условий жизни человечества» в капиталистическом мире.

Конкретное воплощение писателем судеб «пассажиров незанятых мест» также показывает рост реалистического мастерства Нексе. Достаточно сравнить первый рассказ Нексе «Швед-лотерейщик» (1894), с одним из его поздних рассказов — «Уличный певец» (1916), чтобы убедиться в этом. Обилие натуралистических деталей, большое количество эпизодов, загромождающих основную сюжетную линию первого рассказа, сменяются лаконичностью, целенаправленностью повествования в «Уличном певце». Различие художественных приемов связано с различием идейного содержания рассказов. В своем первом талантливом произведении, об одной из жертв социального строя, Нексе во многом еще остается в плену натуралистического решения темы. Характерно, что в первом рассказе автор настойчиво говорит об алкоголизме героя, — водка становится как бы одной из основных причин гибели Шведа.

По-иному мотивируется писателем судьба Ванга. Рабочий-певец потерял в тюрьме голос. «Это из-за сырых стен», — говорит Ванг. «Но причины, может быть, кроются гораздо глубже», — добавляет автор. Если концовка «Шведа-лотерейщика» (раздавленная похоронными дрогами бутылка водки и реплики двух детей) своим внешним бесстрашием только подчеркивала трагическую безысходность судьбы Шведа, — концовка «Уличного певца» углубляет основную мысль новеллы, дает объяснение типичности судьбы Ванга — одного из талантливых простолюдинов, обреченных на гибель капиталистическим строем.

Нексе вообще мастерски пользуется концовками рассказов. Они, как правило, представляют собой лаконичное замечание, вывод автора, придающий произведению законченность, выделяют основную мысль, авторскую интонацию. Так, в рассказе «Казнь» (1908) протокольные строчки: «Все вышеописанное действительно случилось с двумя людьми в Дании в 1908—1909 годах», подчеркивают типичность судьбы Рас-

мины и Йенса Петера, звучат суровым обвинением обществу. Мягким юмором окрашены последние строки «Лихого акробата» (1900), лукавой усмешкой — конец «Чудесного путешествия Якоба» (1908). Иронический совет «заглянуть на мусорную свалку» и поискать там счастья подчеркивает сказочность мечты о счастье, основанной на вере в случай и буржуазную благотворительность.

Рассказы Нексе привлекают богатством интонаций, которыми так свободно владеет писатель. Яркую эмоциональную окраску рассказов усугубляет присутствие в них автора, который вводит себя в повествование в качестве рассказчика, участника, слушателя, автора воспоминаний. Четко формулируя свое отношение к происходящему, Нексе зачистую обращается непосредственно к читателю. С этим связана публицистичность многих рассказов Нексе, спорящего, критикующего, иронизирующего, убеждающего читателя.

Творчество Нексе глубоко народно по своему содержанию. Поэтому так органично обращение Нексе к фольклорным образам, к фольклорным приемам повествования. Среди рассказов Нексе встречаются сказки, басни, аллегории, легенды (такой подзаголовок дан сатирическому рассказу «Сын бога и любимое детище дьявола»), в которых писатель, восприняв лучшие традиции фольклора и демократической датской литературы (в частности творчества Ханса-Христиана Андерсена), в сказочных, гиперболизированных, аллегорических образах обобщает явления современной действительности, ставит и решает острые социальные проблемы. При этом, используя традиционные образы, Нексе насыщает их новым, революционным содержанием. Таков образ Пера-Голяка, проходящий через все творчество Нексе: это образ народа, пробуждающегося к борьбе, готового отвоевать свое право стать Пером-Счастливым. Народность произведений Нексе сказывается и в их богатом, выразительном языке, изобилующем народными оборотами речи, пословицами и поговорками.

Наконец, рассказы Нексе открывают еще одну сторону дарования писателя — его лиризм. Лирические мотивы в новеллистике Нексе связаны с изображением духовной красоты простого человека, с описанием природы Дании, с темой родины («Поездка Анн-Мари», «Берег моего детства», «Песня дуга», 1912). Эти темы составляют основное содержание поэзии Нексе.

К творчеству Нексе в области поэзии можно отнести многое из того, что было сказано о его новеллах.

Стихи Нексе, впервые появившиеся в периодической прессе в 90-х годах прошлого столетия, так же противостояли реакционной буржуазной литературе, как и его прозаические произведения.

В противовес глубоко индивидуалистической декадентской поэзии, с ее пессимизмом, страхом перед жизнью, человеконенавистничеством, первые поэтические опыты Нексе были отмечены жизнелюбием, оптимизмом, любовью к родной стране, глубоким интересом к простому человеку («Утром», «Вечерний покой»).

Лирический герой Нексе всеми своими помыслами связан с народом. Уже в раннем стихотворении «Вечерний покой» (цикл «Природа») молодой поэт рисует образы измученных тяжелым трудом рабочих. Золотой отблеск заката — единственное золото, которое они получают за свой рабский труд.

В цикле «Песни» поэт создает чудесные образы людей из народа. В этот цикл Нексе включил и стихотворения, написанные им для его романов: песню бабушки Дитте, песню тряпичника Ляссе, колыбельную из «Мортена Красного». В песнях автор с особенным мастерством использует мотивы и приемы народного творчества (аллегорические сказочные образы, песенный ритм стиха).

Изображая прекрасные человеческие характеры простых людей, Нексе не только скорбит об их горькой доле, но и призывает народ к борьбе. Целый цикл его стихотворений получил название «Борьба». Характерно, что, выбирая стихотворения для перевода, Нексе обращается к творчеству революционных поэтов — венгра Петефи и испанца де Эспронседа.

Революционный патриотизм Нексе с особенной силой проявился в его стихах, написанных во время второй мировой войны. В стихотворении «Привет и пожатие руки» (1944) Нексе приветствовал простой народ Дании, боровшийся с оккупантами за освобождение родины. Противопоставляя освободительную борьбу с фашизмом войнам, в которых народу приходилось «сражаться за прибыль для других», Нексе писал:

Мы бьемся за то, чтобы свет был во мгле,
Где скуден очаг, где дитя у нас плачет,
Мы бьемся за каждого порознь и, значит,
За все человечество здесь — на земле.

Освободительную борьбу народа Нексе воспекает в стихотворении «Родине» (1945).

Поэт в первых строках говорит о глубочайшей любви к своей матери-родине:

Мы с ней одно, все нас связало,
И эту связь не разорвать.

При этом Нексе заявляет, что его родина «еще не рай», «в ней многое надо изменить». Но любовь к родине связана с верой в лучшее

будущее ее народа. Вот почему такой жгучей ненавистью наполнилось сердце поэта, когда его родину оккупировали фашисты. Нексе с гордостью пишет о миролюбивом датском народе, который «сомнительной не жаждет славы — сжигать чужие города», но готов дать отпор посягательствам агрессоров.

Предвещая победу над фашизмом, Нексе говорит в этом стихотворении о том, что антифашистская борьба — есть борьба за мир.

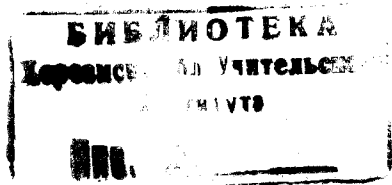
О мире, о восстановлении разрушений, причиненных войной, писал Нексе в новогоднем стихотворении 1944 года. Характерно, что созидательный труд, прекращение войны снова связываются у Нексе с образом «прилежных рук» — образом трудящегося народа:

Прилежные руки в последнем усилье,
Былое земле возвратят изобилье,
И, миром хранимый, весь мир расцветет.

Поэзия Нексе сочетает глубокий лиризм с публицистической страстностью, идейную насыщенность с красотой и многообразием формы.

В 1951 году Нексе издал сборник, в который включил наиболее яркие из написанных им стихотворений. Как и лучшие новеллы Нексе, эти стихотворения выдержали испытание временем и по сей день служат «честно трудящемуся человечеству» в его борьбе за мир и демократию.

Ю. Яхнина



СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Быстро бегущее лето. Перевод Р. А. Розенталя	7
Казнь. Перевод А. Горлина	21
По течению с плавными сетями. Перевод А. В. Ганзен	27
Чудесное путешествие Якоба. Перевод Ю. Я. Яхниной	36
Идиот. Перевод К. М. Жихаревой	42
Поездка Анн-Мари. Перевод К. М. Жихаревой	49
Калиф на час. Перевод К. М. Жихаревой	58
Рай. Перевод К. М. Жихаревой	64
Берег моего детства. Перевод А. И. Кобецкой	87
Волна, волна голубая! Перевод К. М. Жихаревой	100
Братя. Перевод К. М. Жихаревой	117
Волк и овцы. (Басня.) Перевод С. Г. Займовского	123
Кукла. Перевод Н. Л. Аверьяновой	133
Пассажиры незанятых мест. Перевод С. Г. Займовского	149
Уличный певец. Перевод К. М. Жихаревой	155
Утопленник. Перевод К. М. Жихаревой	163
Пожизненный раб. Перевод А. Д. Михальчи	177
Фея свободы. Перевод С. Л. Фридлянд	188
Сын бога и любимое детище дьявола. Перевод А. В. Старостина	201
Пролог. Перевод С. Г. Займовского	209
Верный до гроба... Перевод К. С. Цына	214
Якоб Шелудивый. Перевод А. В. Ганзен	222
Мой друг художник. (Импровизация.) Перевод С. Л. Фридлянд	227

СТИХИ

Белые большие анемоны. Перевод Л. О. Белова	233
Танец. Перевод И. В. Миримского	234

Одиночество. Перевод Л. О. Белова	235
Вечерний покой. Перевод Т. М. Казмичевой	237
Песня ткачихи. Перевод И. В. Миримского	239
Беззаботный. Перевод Л. О. Белова	242
Народная песня. Перевод Н. А. Павлович	243
Странствование. Перевод Н. А. Павлович	244
Родной край. Перевод Н. В. Банникова	246
Снова дома. Перевод Т. М. Казмичевой	248
Осел. Перевод Л. О. Белова	251
На пороге Нового, 1944 года. Перевод В. В. Левика	253
Привет и пожатие руки. Перевод Т. М. Казмичевой	256
Родине. Перевод Н. А. Павлович	257
Послесловие Ю. Яхниной	261

